РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ПО ОБЩЕМУ И СРАВНИТЕЛЬНОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

3

МАЙ—ИЮНЬ

«НАУКА»

МОСКВА — 1993

Главный редактор· Т В ГАМКРЕЛИДЗЕ

Заместители главного редактора:

Ю С СТЕПАНОВ Н И ТОЛСТОЙ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

АБАЕВ В И
БАНЕР В (ФРГ)
БЕРНШТЕЙН С Б
БИРНБАУМ Х (США)
БОГОЛЮБОВ М Н
БУДАГОВ Р А
ВАРДУЛЬ И Ф
ВАХЕК Й (Чехия)
ВИНТЕР В (ФРГ)
ГРИНБЕРГ Дж (США)
ДЖАУКЯН Г Б (Армения)
ДОМАШНЕВ А И
ДРЕССЛЕР В (Австрия)
ДУРИДАНОВ И (Болгария)
ЗИНДЕР Л Р
ИВИЧ П (Югославия)
КЁРНЕР К (Канада)
КОМРИ Б (США)
КОСЕРИУ Э (ФРГ)
ЛЕМАН У (США)
МАЖЮЛИС В П (Литва)
МАЙРХОФЕР М (Австрия)
МАРТИНЕ А (Франция)
МЕЛЬНИЧУК А С (Украина)
НЕРОЗНАК В П
ПИЛЬХ Г (ФРГ)
ПОЛОМЕ Э (США)
РАСТОРГУЕВА В С
РОБИНС Р (Великобритания)
СЕМЕРЕНЬИ О (ФРГ)
СЛЮСАРЕВА Н А
ТЕНИШЕВ Э Р
ТРУБАЧЕВ О Н
УОТКИНС К (США)
ФИШЬЯК Я (Польша)
ХАТТОРИ СИРО (Япония)
ХЕМП Э (США)
ШВЕДОВА Н Ю
ШМАЛЬСТИГ В (США)
ШМЕЛЕВ Д Н
ШМИДТ К Х (ФРГ)
ШМИТТ Р (ФРГ)
ЯРЦЕВА В Н

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

АЛПАТОВ В М
АПРЕСЯН Ю Д
БАСКАКОВ А Н
БОНДАРКО А В
ВАРБОТ Ж Ж
ВИНОГРАДОВ В А
ГРЕЙНБЕРГ Л Г
ГАК В Г
ДЫБО В А
ЖУРАВЛЕВ В К
ЗАЛИЗНЯК А А
ЗЕМСКАЯ Е А
ИВАНОВ ВЯЧ ВС
КАРАУЛОВ Ю Н
КИБРИК А Е
КИМОВ Г А (отв секретарь)
КОДЗАСОВ С В
ЛЕОНТЬЕВ А А
МАКОВСКИЙ М М
НЕДЯЛКОВ В П
НИКОЛАЕВА Т М
ОГКУПЩИКОВ Ю В
СОБОЛЕВА И В
СОЛНЦЕВ В М
СТАРОСТИН С А
ТОПОРОВ В Н
УСПЕНСКИЙ Б А
ХЕЛИМСКИЙ Е А
ХРАКОВСКИЙ В С
ШАРБАТОВ Г Ш
ШВЕЙЦЕР А Д
ШИРОКОВ О С
ЩЕРБАК А М

Адрес редакции 121019 Москва, Г-19, ул Волхонка 18/2 Институт русского языка

редакция журнала «Вопросы языкознания» Тел 201 74-42

Зав редакцией Ганнус Н В

СОДЕРЖАНИЕ

Хегер К (Гейдельберг) От стеммы к актантной модели 5
Алпатов В М (Москва) Об антропоцентричном и системоцентричном подходах к языку 15
Апресян В Ю Апресян Ю Д (Москва) Метафорическое представление эмоций
Юрченко В С (Саратов) Реально время и структура языка (К философии языкознания) 36
Шмидт К Х (Бонн) Картвельский и армянский 48
Калакуцкая Л П (Москва) Имена собственные в Орфографическом словаре русского языка и других лингвистических словарях 59
Шатуновский И Б (Ташкент) Семантическая структура предложения связка и нереферентные слова 76
Матвеев А К (Екатеринбург) Субстрат и заимствование в топонимии 86
Тарланов З К (Петрозаводск) Тенденции в динамике глагольных наклонений в восточнолезгинских языках 96
К семидесятилетию академика Н И Толстого 106

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Татаринов В А (Москва) Из истории отечественного терминоведения Эрнест Карлович Дрезен 113

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Алинеи М (Флоренция) Лингвистический атлас Европы первые двадцать два года 120

Рецензии

Гак В Г (Москва) *Баранов А Н Караулов Ю Н* Русская политическая метафора (материалы к словарю) 136
Портнов А Н (Иваново) Genesis of language 141
Потапов В В (Москва) *Ladefoged P* Representing phonetic structure 143
Нарумов Б П (Москва) Hispanica Posnaniensia 147
Насилов Д М (С.-Петербург) *Козинцева Н А* Временная локализованность действия и ее связь с аспектуальными, модальными и таксисными значениями 149
Николаева Т М (Москва) Новые издания 153

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Пиотровский Р Г (С Петербург) Конференции посвященные компьютерной (инженерной) лингвистике 156

© Российская Академия наук
Отделение литературы и языка РАН 1993 г

CONTENTS

Heger K. (Heidelberg). From the stemma to the actant model. Alpatov V.M. (Moscow) On the anthropocentric and systemcentric approaches to language. Apresjan V.Ju., Apresjan Ju.D. (Moscow). The role of the metaphor in the semantic representation of emotions; Jurčenko V.S. (Saratov). Real time and the structure of language (on the philosophy of linguistics); Schmidt K.H. (Bonn). Kartvelian and Armenian; Kalakuckaja L.P. (Moscow). Proper names in the Orthographic dictionary of the Russian language and other linguistic dictionaries; Šatunovskij I.B. (Tashkent). Semantic structure of the sentence, "the copula" and non-referential words; Matveev A.K. (Ekaterinburg). Substrat and loans in toponymics; Tarlanov Z.K. (Petrozavodsk). Trends in the dynamics of verbal moods in East Lezgian languages; To the seventieth birthday of Academician N.I. Tolstoy; **From the history of science:** Tatarinov V.A. (Moscow). From the history of Russian science of terminology: Ernest Karlovič Drezen; **Reviews:** Alinei M. (Florence). The Linguistic Atlas of Europe: the first twenty-two years; Gak V.G. (Moscow). *Baranov A.N., Karaulov Ju.N.* Russian political metaphor (materials to the Dictionary). Portnov A.N. (Ivanovo). Genesis of language; Potapov V.V. (Moscow). *Ladefoged P.* Representing phonetic structure; Narumov B.P. (Moscow). Hispanica Posnaniensia; Nasilov D.M. (St.-Petersburg). *Kozinceva N.A.* The temporal localisation of the action and its links to aspectual, modal and taxis meanings; Nikolaeva T.M. (Moscow). New editions; **Scientific life:** Piotrovskij (St.-Petersburg). Conferences devoted to computer (engineering) linguistics.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1993

© 1993 г. ХЕГЕР К.

ОТ СТЕММЫ К АКТАНТНОЙ МОДЕЛИ

0. Введение.

Эта статья основывается на сделанном мной в предыдущей публикации в этом журнале замечании об "аналогиях", которые актантная модель обнаруживает со стеммами Л. Теньера", восходящими к его книге 1959 г. [1, § 3.2.2, с. 17], и представляет собой попытку показать, каким именно образом актантная модель связана с идеями Теньера. Статья представляет собой в значительной степени содержание доклада под тем же названием, представленного на секции "Зависимость и валентность в романских языках" Конгресса немецких романистов в 1989 г. (Аахен), а также в сокращенном виде излагает мою статью "Размышления о противопоставлении актанта и сирконстанта", публикуемую в сборнике в честь Р. Энглера.

В начале пути, который привел меня от стемм Теньера к актантной модели, были опубликованные мной в 1966 г. рассуждения о валентности, залоге и падеже, начинавшиеся следующими словами: «Предпринятая мной попытка дать более точную, чем прежде, трактовку названных в заглавии явлений обязана своим появлением работе над "Основами структурного синтаксиса" Люсьена Теньера. Речь идет при этом не только о заимствовании у этого ученого новых подходов, как, например, взятого из химии понятия валентности, а также роли, которую играет при ее объяснении каузативность. В еще большей степени это относится к тем случаям, когда отправной точкой размышления послужило критическое осмысление тех или иных проблем, затронутых Теньером. К ним относятся в первую очередь такие вопросы, следует ли понимать валентность как (конкретно-языковую) формальную категорию или же как понятийную (= не связанную с конкретным языком, ноэматическую) категорию; где проходит важная для ее понимания граница между актантом и сирконстантом? В этих и подобных случаях предлагаемые рассуждения представляют собой своего рода диалог с опубликованным посмертно основным трудом Люсьена Теньера» [2, с. 139]. Под этими словами я готов подписаться и сегодня, внеся лишь уточняющие изменения терминов "формальная" на "конкретно-языковая формальная" и "понятийная" на "не связанная с конкретным языком, ноэматическая".

Новые формулировки опубликованных в моей статье 1966 г. рассуждений оказались значимыми для всех последующих остановок на пути, который привел к актантной модели как решающему средству представления перехода от лексических к пропозициональным рангам (подробную характеристику иерархии сигнемных рангов см. [1, с. 12—22]); в этом можно убедиться, обратившись к целому ряду публикаций [3, с. 2; 4, с. 2; 5, с.11; 6]. Несмотря на изменение формулировок и появлявшиеся в течение последних 25 лет уточнения, как и прежде, я могу подтвердить, что

— с одной стороны, оба вопроса, а именно о конкретно-языковом или не связанном с конкретным языком характере валентности и других категорий, а также о границе между актантом и сирконстантом заставляют меня по-прежнему, как и четверть века назад, принципиально отойти от стемм Теньера;

— с другой стороны, я и сейчас готов с благодарностью признать, что очень многие компоненты актантной модели возникли под непосредственным или опосредственным влиянием основополагающего труда Л. Теньера, — который, в

свою очередь, создавался в условиях плодотворных контактов с пражской и французской школами европейского структурализма, — труда, тридцать лет назад решающим образом повлиявшего на меня.

1. Зависимость или независимость от конкретного языка.

Вопрос о том, что репрезентируют стеммы Теньера, конкретно-языковые или не зависимые от конкретного языка категории, вовсе не привнесен извне и не игнорирует отправную точку, внутреннюю логику концепции Теньера на основе поверхностной критики. Напротив, этот вопрос обусловлен как той задачей, которую ставил перед собой Теньер, — внести вклад в "будущее здание структурного синтаксиса" (а вклад этот гораздо больше, нежели "скромный кирпичик") [7, § 278, 15], — так и использованием стемм для описания различных языков, не только в "Основах структурного синтаксиса", но и в завершающем разделе опубликованной за 25 лет до того "Краткой русской грамматики" [8] — "Динамическом синтаксисе". Если стеммы предназначены для отражения фактов отдельных языков, то результат их применения должен служить для того, чтобы выступать в качестве tertium comparationis при сравнении языков; однако в этом случае встает вопрос не только о правомерности использования стемм в этом качестве, но и о распространении соответствующей методики на те области, где она еще не применялась.

Такой недостаток, как мне казалось и продолжает казаться, обнаруживается там, где стеммы и результат их применения слишком ясно зависят от одного или нескольких конкретных языков. То, что и сам Теньер вряд ли стал бы возражать против такого наблюдения, со всей ясностью показывает заключительная глава "Основ структурного синтаксиса". Тем самым моя попытка определить отображаемое и подлежащее отображению посредством стемм как исключительно ноэматические, т.е. как не зависимые от конкретного языка категории, соответствовала не только задаче включения стемм в иерархию сигнемных рангов, которую я строил, но и отвечала, как мне кажется, устремлениям самого Теньера.

Момент, в котором особенно ясно проявляется не только необоснованность использования стемм в качестве tertium comparationis при сравнении языков, но и невозможность такую методику обосновать, — это, на мой взгляд, их соотнесенность с так называемыми классами слов. В этом вопросе верный путь также был указан уже самим Теньером, сократившим традиционный набор из десяти или более частей речи до четырех — существительное (субстантив, substantif), прилагательное (adjectif), глагол (verbe) и наречие (adverbe) [9, § 32—33]. Поскольку в качестве объяснений он при этом пользуется примерами главным образом из языков, для которых традиционно предполагается существование по крайней мере этих четырех частей речи, противоречий или сомнений не возникало. И тем не менее вряд ли можно оспорить то, что и эти четыре части речи в конце концов являются реликтом греко-римской грамматической традиции. Сам Теньер неоднократно отмечал, что для многих языков не удается провести разумной границы между глаголом и прилагательным; даже применительно к немецкому языку можно поставить вопрос, не лучше ли заменить деление на прилагательные и наречия делением на атрибутивные и предикативные прилагательные, исключив тем самым наречие как часть речи вообще.

Поэтому мне казалось вполне разумным при независимом от конкретного языка определении, представляемым стеммами или разработанной на их основе актантной моделью, отказаться от какого бы то ни было соотнесения с частями речи (при любой их трактовке) и заменить его соотнесенностью с противопоставленными друг другу идентифицируемыми носителями свойств (= актантами) и специфицируемыми свойствами (= реляторами) (ср. [1, с. 16—17]; а также ниже, § 2.1). Отказ от выделения на ноэматической основе классов слов отнюдь не

означает отказа от использования присущих конкретному языку классов слов; более того, нельзя отказываться от возможности поставить вопрос, можно ли с пользой перенести наблюдаемые в одном конкретном языке и четко определенные классы слов на описание другого языка; это, как мне кажется, я достаточно ясно показал (ср. [6], особ. § 3.5.1).

2. Сходства.

Собранные в этом разделе примеры, демонстрирующие сходство между стеммами Теньера и моими актантными моделями, были выбраны по двум критериям: с одной стороны, они должны были быть достаточно репрезентативными, с другой стороны — как можно полнее представлять основные положения концепции Л. Теньера.

2.1. Связь.

Основополагающее сходство между стеммой и актантной моделью является данное Теньером [11, § 1.5] определение простейшего предложения как состоящего не из двух, а из трех элементов: деление, предложенное на основе французского примера *Alfred parle*, на актант "Alfred", глагольный узел "parle" и связь, благодаря которой два предыдущих элемена и становятся предложением, было введено в ноэматическую дефиницию актантной модели в форме ее трех основных компонентов — актанта (A), релятора (R) и предикатора (P) (ср. [1, § 3.2.2]; а также выше § 1, дальнейшие подробности в [7, § 2.2]). В этой форме отождествление двух триад может представиться достаточно абстрактным, однако оно станет очевидным, как только на актантную модель будут спроецированы соответствующие конкретно-языковые данные; так, модели, использованные в [6, § 2.6.1] для иллюстрации, каким образом отображаются семемы немецких личных глагольных форм, делают очевидными параллели, существующие

— между актантами и/или сирконстантами Теньера и актантами (A) актантной модели,

— между семантическим наполнением глагольных узлов Теньера и содержащимся (содержащимися) в семеме глагольной формы релятором (реляторами) актантной модели (R) и

— между связью у Теньера, определяющей подчиняющее положение глагольного узла, и содержащимся (содержащимися) в семеме глагольной формы предикатором (предикаторами) (P) актантной модели и/или выведенными из него (них) функтором (функторами), который (которые) к тому же определяет (определяют) актантные функции соответствующих актантов.

К прочим видам связи, таким, как отношения между глагольным узлом и наречием, а также всех неглагольных узлов мы вернемся в связи с трансляцией (см. ниже, § 2.4).

2.2. Каузативность.

Не случайно в процитированных в начале статьи словах уже 25 лет назад особое место отводилось тем импульсам, которые я получил от рассуждений Теньера о каузативной диатезе [9, § 107—110]. Хотя сейчас я пользуюсь исключительно улучшенной благодаря уточнениям К. Мудерсбаха трактовкой [5, § 2.6.4] и не скрываю слабых сторон своих предыдущих высказываний по проблематике каузативности и финальности, однако нельзя не отметить, что с самого начала именно Теньер побудил меня продолжить работу над намеченным им анализом. Важное место при этом принадлежало высказанному впервые в [2, § 1.2.2] соображению, согласно которому если введение актанта, участвующего в неспецифицированной причине процесса V (Vorgang), настолько важно, как это продемонстрировал в указанном месте Л. Теньер, то имело бы смысл поставить и вопрос

о полезности введения актанта, участвующего в неспецифицированном результате процесса V. Тем самым плодотворность влияния идей Теньера сказалась на всем, что было получено в результате поиска ответов на эти вопросы, — от противопоставления каузальных и финальных функций и параллельно этому инструментальной и целевой (Telos-Funktion) до связанной с первой функцией возможности определить деление "переходных" глаголов на каузативные и давно известные verba sentiendi sive possessionis и применить это деление при широком сравнении языков [10], а также на других результатах

2.3. Юнкция.

Тот факт, что введенная Теньером [9, § 134—150] в стемму юнкция (jonction) вошла в актантную модель (ср. [4, § 4.2.9; 5, § 2.3]), настолько очевиден из терминологии и особенностей нотации, что не нуждается в особом рассмотрении. Разумеется, привлечение всех шестнадцати юнкторов открывает некоторые дополнительные возможности, выходящие за рамки того, что содержится в указанных главах "Основ структурного синтаксиса"; однако и здесь речь идет лишь о дальнейшем продвижении по пути, намеченному Л. Теньером.

2.4. Трансляция.

Что касается понятия трансляции, о которой уже говорилось в заключение § 2.1, то на нем следует остановиться значительно подробнее, чем на юнкции. Для Л. Теньера трансляция первой ступени изменяет принадлежащие определенным классам слов элементы таким образом, что они могут входить в стемму в иной функции, чем та, что свойственна их собственному классу; трансляция второй ступени выполняет ту же задачу для вхождения самого глагольного узла в иерархически более высокую стемму. Поскольку эта проблематика связана со спецификой классов слов, то на основании сказанного в § 1 можно было бы спросить, не является ли аналог трансляции Теньера лишним в актантной модели.

Однако достаточно ясно, что на этот вопрос последует отрицательный ответ, поскольку хотя способ, каким решаются некоторые проблемы на основе понятия трансляции, определяется особенностями классов слов, однако сами проблемы, которые рассматривает в рамках трансляции Теньер, никак с ними не связаны. Разумеется, такие термины, как "инфинитив" (infinitif [9, § 180]), "причастие"(participe [9, № 198]) или "герундий" (gérondif [9, § 206]), могут вызвать впечатление, будто и здесь речь идет о давних трудностях, обусловленных гетерогенностью оснований выделения частей речи. Однако уже при виде термина "субординация" [9, § 164 и 239] становится ясно, что речь идет о гораздо более существенных инновациях и что обсуждаемые Теньером в рамках этих понятий проблемы должны быть каким-либо способом включены в актантную модель.

На первый взгляд сложный вопрос — "каким именно образом можно воспользоваться образцом Теньера для иных целей?" — не так уж и сложен: поскольку Теньер не случайно создал своего рода иерархию более простой трансляции первой ступени и более сложной трансляции второй ступени, нужно было только пройти намеченный им путь в обратном направлении, чтобы получить необходимый результат. В начале моего пути должны были, следовательно, находиться выделенные Теньером три вида трансляции второй ступени:

— Во-первых, трансляция второй ступени, переводящая глагольный узел в функцию существительного и создающая актантное придаточное предложение, которое в свою очередь соответствует подлежащному и дополнительному придаточному предложениям традиционной грамматики [9, § 241.6—12]. Ее эквивалентом в актантной модели является леворекурсивное включение предикатора или содержащего его функтора (ср. [5, § 2.2.1 и 2.2.3]).

— Во-вторых, трансляция второй ступени, переводящая глагольный узел в функцию прилагательного и создающая адъективное придаточное предложение, которое в свою очередь соответствует относительному придаточному предложению традиционной грамматики [11, § 245—246]. Ее эквивалентом в актантной модели является праворекурсивное включение предикатора или содержащего его функтора (ср. [5, §§ 2.2.1 и 2.4]).

— В-третьих, трансляция второй ступени, переводящая глагольный узел в функцию обстоятельства и создающая сирконстантное придаточное предложение, в свою очередь соответствующее обстоятельственному придаточному традиционной грамматики [9, § 254]. Поскольку сирконстантное придаточное предложение относится к актантному придаточному так же, как актант к сирконстанту [9, § 241.13], то в соответствии с изложенным ниже (§ 3) нет никаких оснований отражать ее в актантной модели иначе, нежели через предусмотренное для трансляции второй ступени, создающей актантное придаточное предложение, леворекурсивное включение предикатора или содержащего его функтора.

Возможности, открываемые приемами леворекурсивного и праворекурсивного включений предикатора или содержащего его функтора, обеспечивают для актантной модели те же средства репрезентации, какие создает для соответствующих явлений трансляция второй ступени Теньера. Однако благодаря тому обстоятельству, что трансляция первой ступени и еще в большей степени до сих пор не включенные в рассмотрение (ср. выше, § 2.1) связи (connexions) между глагольным узлом и обстоятельством, а также между существительным и прилагательным в любой момент могут быть переведены в более сложную нотацию актантного придаточного, адъективного придаточного и сирконстантного придаточного предложения, они являются одновременно эквивалентными средствами репрезентации для явлений, которые Теньер описывал с помощью этих стемм. Неизменно связанная с таким переводом в более сложную нотацию потеря экономичности, разумеется, была бы недостатком для модели, стремящейся к возможно более точному отражению структуры конкретного языка; однако для ноэматической актантной модели эта потеря экономичности не только не представляет собой серьезного недостатка, но и, напротив, благодаря связанной с ней большей эксплицитностью оказывается даже достоинством, которое трудно переоценить.

Как должны выглядеть эти эксплицитные репрезентации в конкретных случаях, детально объяснить здесь не представляется возможным; проанализированные в [6, §§ 3.2—3.4] примеры соответствуют большинству случаев, которые Теньер рассматривает как трансляции первой ступени.

3. Актант и сирконстант.

Второй вопрос в процитированном в начале статьи отрывке из публикации 1966 г., касавшийся границы между актантом и сирконстантом, поднимался со времени публикации "Основ структурного синтаксиса" столь часто и получал столь противоречивую трактовку, что обращение к нему можно было бы и не сопровождать новой мотивировкой, если бы тройка актантов у Теньера не обладала примечательным грамматико-историческим нюансом. Легко заметить, что эта тройка не совсем свободна от воспоминаний о знакомом из латинской грамматики различении субъекта, прямого и косвенного дополнений. Но если уж ориентироваться на латинский язык, то почему бы не ввести четвертый актант, который соответствовал бы — скажем, как "обозначение деятеля в пассиве", — латинскому аблативу? Скорее всего только потому, что латинская грамматика, о влиянии которой так много говорилось, в действительности является по своему происхождению вовсе не латинской, а греческой, которая была навязана латинскому языку, а в греческом языке нет аблатива.

В то время как в прежних работах (см. особенно [3, с. 129—132; 8, с. 88—92]) я ограничивался скорее попутно возникшим наблюдением, что противопоставление актанта и сирконстанта является "разграничением, обусловленным в каждом случае данными конкретного языка" [4, с. 129], и, следовательно, нерелевантно для ноэматической актантной модели, в настоящее время я полагаю, что в дополнение к этому можно доказать, что это обусловленное данными конкретного языка противопоставление носит скорее характер градуального перехода, чем бинарной оппозиции. Исходным пунктом рассуждения, согласно которому сирконстант разнится от актанта тем, что "способ его обозначения в конкретном языке в отличие от актанта не зависит от валентности глагольной вокабулы-семемы" [6, с. 88], является гипотеза, согласно которой актантная функция того или иного актанта, определяемая в соответствии с отношением, которое существует в рамках актантной модели между этим актантом и релятором, т.е. ближайшим соотносимым элементом [4, с. 111—114], обнаруживается только тогда, когда соответствующий актант обладает статусом актанта в смысле Теньера. Она

— во-первых, обусловлена открытыми для присоединения позициями (т.е. "валентностью") вокабулы-семемы (в нормальном случае — глагольной), содержащей необходимый для соотнесения релятор, и

— во-вторых, отмечена определенным падежом — безразлично, каким способом: аффиксально, адпозиционально, тактематически; при этом падеж должен находиться в комбинаторной зависимости от диатезы (понимаемой как обозначение определенной перспективы, ср. [11, с. 113—115]), безразлично, выражена ли она граммемой или лексемой.

3.1. Примеры.

В принципе следовало бы с учетом этих двух условий для каждого конкретного языка и для каждой — в нормальном случае глагольной — вокабулы-семемы выявить связанные с ней актантные функции и их возможные обозначения; разумеется, обычно приходится обходиться отдельными примерами, что относится и к следующим ниже немецким предложениям, которых, однако, достаточно, чтобы наглядно продемонстрировать верность общих положений. Исключительно для большей понятности, а никак не по причине какой бы то ни было внутренней связи для некоторых актантных функций в этих примерах помимо введенных ранее [4, с. 113] обозначений используются также названия более или менее соответствующих им "глубинных падежей".

3.1.1. Менее всего проблематичными кажутся на первый взгляд случаи предикативной функции (≅ объективу), каузальной функции (≅ агентиву) и финальной функции (≅ бенефактиву), представленные в предложении типа

(1) *Der Hans liefert dem Karl den Wein* "Ганс снабжает Карла вином". Независимо от возможных залоговых конструкций и обусловленных ими падежных вариантов — *Der Hans liefert an den Karl den Wein; Der Hans beliefert den Karl mit dem Wein; Von dem Hans wird dem Karl der Wein geliefert; Von dem Hans wird an den Karl der Wein geliefert; Von dem Hans bekommt der Karl den Wein geliefert; Von dem Hans wird der Karl mit dem Wein beliefert* — во всех случаях в отношении содержащегося в вокабуле-семеме *liefern* релятора "обладание" *Hans* выступает в каузальной функции, *Karl* — в финальной, а *Wein* — в предикативной функции. Поскольку по крайней мере в изначальной формулировке *Der Hans liefert dem Karl den Wein* отмечается совпадение этих актантных функций с тремя выделенными Теньером актантами, этот пример представляется подтверждением предусмотренной первоначальной гипотезой определимости статуса актанта (в смысле, предложенном Теньером).

3.1.2. Уже давно известно, что в случае локальной функции (≅ локативу) и темпоральной функции (≅ темпоралису) различение статуса актанта и сирконстанта оказывается довольно проблематичным. С одной стороны, существуют случаи типа

(2) *In dem Dorf X wohnen 500 Menschen* "В деревне X живут 500 человек". В этом предложении можно говорить о существовании локального актанта в смысле Теньера, поскольку, во-первых, по отношению к вокабуле-семеме следует предположить возможность присоединения актанта с локальной функцией (*Dorf X*) и, во-вторых, применительно к этому предложению возможно изменение залоговых отношений и, следовательно, падежных отношений: *Das Dorf X bewohnen 500 Menschen* "Деревню X населяют 500 человек" и *Das Dorf X wird von 500 Menschen bewohnt* "Деревня X населена пятью сотнями человек". С другой стороны, предложения типа

(3) *Es regnet* "Идет дождь" не только содержат в глагольной вокабуле-семеме *regnen* инкорпорированный актант (в смысле актантной модели) в предикативной функции, но и имплицитно еще один актант с локальной функцией, поскольку как предложение, противопоставленное, например, предложению *Es regnet am Bodensee* "На Боденском озере идет дождь", автоматически приобретает значение *Es regnet hier* "Здесь идет дождь" (ср. [12, с. 374—376; 6, с. 91—92]), этот локальный актант, по крайней мере согласно критерию облигаторности (впрочем, чрезвычайно сомнительному), должен быть признан актантом в смысле Теньера.

Представляется, что от таких примеров совершенно недвусмысленно отличаются те случаи, в которых сирконстантный статус актантов актантной модели с локальной и временной функциями кажется неоспоримым, ср., например, следующее расширение примера (1):

(4) *Der Hans hat dem Karl den Wein am 5. Mai nach Köln geliefert* "Ганс поставил Карлу вино 5 мая в Кёльн". В данном случае вокабула-семема *liefern* не содержит специфических возможностей подключения актантов в локальной функции (в данном случае — локально-целевой, направительной — *Köln*) или во временной функции (в данном случае 5. Mai), отсутствует и возможность залоговых вариаций, которые могли бы изменить падежные характеристики этих актантов. Как бы ни были верны эти наблюдения, они, однако, не могут опровергнуть тот факт, что хотя специфическая вокабула-семема *liefern* и не проявляет соответствующих свойств, однако в принципе любая глагольная вокабула-семема не только немецкого языка несет в себе возможность локализации соответствующего состояния или процесса в пространстве и времени и в связи с этим обладает свойством присоединения актантов с локальной и временной функцией. Этому компоненту, который и создает возможность того, что временная спецификация, в особенности если она носит дейктический характер, может обозначаться с помощью грамматически выраженных глагольных времен, в нотации актантной модели соответствует временной функтор [5, с. 42—46].

3.1.3. Третья группа примеров содержит по одному актанту в инструментальной функции:

(5) *Der Hans hat den Karl erdolcht* "Ганс зарезал Карла".

(6) *Der Hans hat den Karl mit einem Messer erdolcht* "Ганс зарезал Карла ножом".

(7) *Der Hans hat den Karl mit einem Dolch getötet* "Ганс убил Карла кинжалом".

(8) *Der Karl hat den Hans durch das Öffnen der Tür geweckt* "Карл разбудил Ганса, открыв дверь".

(9) *Der Hans ist wegen des Öffnens der Tür durch den Karl aufgewacht* "Ганс проснулся из-за того, что Карл открыл дверь".

Наиболее ясно выражены отношения в предложении (5), которое здесь следует трактовать как синонимичное предложению (7) в смысле инструментальной (а не в смысле также возможной модальной) спецификации совершения убийства: глагольная вокабула-семема *erdolchen* не только открывает наряду с возможностью подключения предикативного (*Karl*) и каузативного (*Hans*) актантов также возможность присоединения актанта с инструментальной функцией (*Dolch*), но и содержит этот актант в себе как уже занятую ("инкорпорированную") актантную позицию. В отличие от этого инструментальный актант (*Messer*) в предложении (6)

определен лишь в отношении своей классификаторной спецификации (ср. [5, с. 85]) и тем самым в смысле селективного ограничения: *Messer* "нож" выступает здесь в качестве вида по отношению к родовому понятию *Dolch* "кинжал, холодное оружие".

В отличие от предложений (5) и (6) в предложениях с (7) по (9) не может быть речи об открытой возможности присоединения к соответствующим вокабулам-семемам (*töten, wecken, aufwachen*) актанта в инструментальной функции. Однако пример (7) отличается от примеров (8) и (9) и занимает явно промежуточное положение между примерами (5) и (6), с одной стороны, и (8) и (9), с другой, благодаря тому, что в нем инструментальная функция актанта *Dolch* определяется относительно содержащегося в вокабуле-семеме *töten* релятора "убить".

Наконец, предложения (8) и (9) содержат в форме субстантивированного инфинитива *öffnen* скрытое подчинение (ср. выше, § 2.4.), т.е. факультативные добавки к актантной модели, представляющей соответствующую вокабулу-семему (*wecken* или *aufwachen*), хотя этим дополнениям в целом — аналогично элементу *Dolch* в примере (7) — можно было бы приписать инструментальную функцию, однако актантные функции действительно обозначенных актантов определяются в пределах этих дополнительных элементов в соотнесении с содержащимся в вокабуле-семеме *öffnen* релятором "открыть" (предикативная функция для *Tür* и каузальная функция для *Karl*), а не в соотнесении с содержащимся в вокабулах-семемах *wecken* и *aufwachen* релятором "будить". Между собой предложения (8) и (9) различаются тем, что в примере (8) факультативное дополнение подчинено компоненту актантной модели, представляющей вокабулу-семему *wecken*, — поэтому *Karl* в нем оказывается в каузальной функции, относительно содержащейся как в вокабуле-семеме *öffnen* релятора "открывать", так и в вокабуле-семеме *wecken* релятора "будить", в то время как в примере (9) факультативное дополнение параллельно актантной модели, представляющей вокабулу-семему *aufwachen* (и *Karl* проявляется здесь в каузальной функции только относительно содержащегося в вокабуле-семеме *öffnen* релятора "открывать").

3.2. Выводы.

Из рассмотренных в § 3.1 примеров и их интерпретации можно сделать следующие выводы, благодаря которым противопоставление актанта и сирконстанта в смысле Теньера оказывается в значительной степени относительным.

3.2.1. Бинарная оппозиция или последовательный переход?

Уже тех немногих примеров, которые были приведены в § 3.1, достаточно, чтобы продемонстрировать, что тогда, когда в качестве решающего критерия выбирают установление актантной функции актанта, противопоставление актантного статуса сирконстантному (в смысле Теньера) распадается на множество явно различных случаев. В зависимости от содержащегося в соответствующей вокабуле-семеме релятора можно выделить семь подобных случаев:

а) актанты, определенные как относительно их актантной функции, так и относительно их заполнения, — примеры (3) и (5) (≅ "инкорпорированные" актанты);

б) актанты, определенные как относительно их актантной функции, так и относительно классификаторной спецификации их заполнения, — пример (6) (≅ классификаторно "инкорпорированные" актанты);

в) актанты, актантные функции которых определены открытыми позициями соответствующей глагольной вокабулы-семемы, — примеры (1) и (2) (актанты, обладающие статусом актанта, по Теньеру);

г) актанты, актантная функция которых задана в родовом отношении содержащимися в соответствующей вокабуле-семеме временны́ми функторами (функтором) и должна быть специфицирована независимым от залоговой характеристики падежным оформлением, — пример (4);

д) актанты, входящие в факультативные добавки (Zusatz) к соответствующей глагольной вокабуле-семеме, но по своей актантной функции определяемые все же посредством содержащегося в этой вокабуле-семеме релятора, — пример (7);

е) актанты, актантная функция которых определяется их положением в факультативной добавке, подчиненной одному из компонентов актантной модели, репрезентирующей соответствующую глагольную вокабулу-семему, — пример (8); и

ж) актанты, актантная функция которых определяется их положением в факультативной добавке, параллельной актантной модели, репрезентирующей соответствующую глагольную вокабулу-семему, — пример (9).

Эта последовательность типов — ни в коей мере не претендующая на исчерпывающую полноту — характеризуется последовательным ослаблением зависимости от соответствующей принадлежащей конкретному языку вокабулы-семемы. Бинарная оппозиция статуса актанта и сирконстанта (в интерпретации Теньера) превращается тем самым в последовательную шкалу ослабления зависимости от соответствующей вокабулы-семемы.

3.2.2. Облигаторность или факультативность?

Одновременно становится также ясно, почему противопоставление актанта и сирконстанта могло смешиваться с противопоставлением облигаторных и факультативных актантов: если отвлечься от особого случая перехода от типа б) к типу в), вероятность существования облигаторных актантов уменьшается по мере уменьшения зависимости от соответствующей вокабулы-семемы; начиная с типа д) эта вероятность приближается к нулю. Однако и в случае актантов, обладающих статусом актанта в смысле Теньера и относящихся к типу в), речь идет скорее о большей или меньшей вероятности, а не облигаторности актантов, которая может быть обнаружена лишь в случае "инкорпорированных" актантов типа а) — пусть и тривиальным образом; примером того, что, с другой стороны, и в типе г) еще встречаются облигаторные актанты, сирконстантный статус которых (в смысле Теньера) оказывается сомнительным, служит обсуждавшееся в § 3.1.2 предложение (3).

3.2.3. Независимая от залога вариация падежей?

Даже критерий комбинаторной зависимости выбора маркирующего актантную функцию падежа от соответствующего залога оказался лишь частично применимым, поскольку согласно этому критерию тип в) объединяет примеры (1) и (2) и тем самым в предложении (2) актант с локальной функцией (*Dorf X*) получает статус актанта (по Теньеру), хотя как раз в стеммах Теньера он такой статус получать не должен. Как ни ценен этот критерий в семасиологическом анализе данных отдельных языков, столь же неприемлемым представляется он мне в ноэматическом tertium comparationis. Поэтому в ходе своих дальнейших изысканий в этой области я по-прежнему предпочитаю говорить без различия только об актантах, оставляя возможность дальнейшего разделения их на обладающие статусом актанта и сирконстанта на усмотрение исследователей отдельных языков, которые должны решать этот вопрос в зависимости от полезности такого деления для решения соответствующих исследовательских задач.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Хегер К.* Ноэма как tertium comparationis при сравнении языков // ВЯ. 1990. № 1.
2. *Heger K.* Valenz, Diathese und Kasus // Zrom Ph. 1966. Bd. 82.
3. *Heger K.* Monem, Wort und Satz. Tübingen, 1971.
4. *Heger K.* Monem, Wort, Satz und Text. 2., verbes. Aufl. Tübingen, 1976.
5. *Heger K., Mudersbach K.* Aktantenmodelle — Aufgabenstellungen und Aufbauregeln. Heidelberg, 1984

6. *Heger K.* Flexionsformen, Vokabeln und Wortarten. Heidelberg, 1985.
7. *Tesnière L.* Eléments de syntaxe structurale. P., 1959.
8. *Tesnière L.* Petite grammaire russe. P., 1934.
9. *Теньер Л.* Основы структурного синтаксиса. М., 1988.
10. *Heger K.* Akkusativische, ergativische und aktivische Bezeichnung von Aktantenfunktionen // Arbeiten des Kölner Universalien-Projekts. 1983. № 54 (репринт: Relational typology. B., 1985).
11. *Daneš F.* Semantische Struktur des Verbs und das indirekte Passiv im Tschechischen und Deutschen // Satzstruktur und Genus verbi. B., 1976.
12. *Bühler K.* Sprachtheorie. Jena, 1934 (2. Aufl. Stuttgart, 1965).

Перевел с немецкого *Ромашко С.А.*

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1993

© 1993 г. АЛПАТОВ В.М.

ОБ АНТРОПОЦЕНТРИЧНОМ И СИСТЕМОЦЕНТРИЧНОМ ПОДХОДАХ К ЯЗЫКУ

Более 10 лет назад мы в статье [1] писали о различии словоцентрического и несловоцентрического подходов к языку. Как отмечалось в этой работе, в лингвистике могут быть выделены два подхода к описанию грамматических единиц. Первый из них, исторически более ранний и более традиционный, базируется на том, что главной и исходной единицей такого описания является слово; другой подход рассматривает слово в ряду других языковых единиц, предпочитает последовательно анализировать ярусы языковой системы, а не начинать анализ с исследования слов и нередко вместо единого слова рассматривает несколько единиц с разными свойствами. В статье подчеркивалось, что несловоцентрические подходы связаны с применением собственно лингвистических критериев, а словоцентрический подход служит целям построения психологически адекватных моделей языка: по-видимому, нормой хранения языковых единиц в человеческом мозгу является именно слово.

Однако, как нам сейчас представляется, сами словоцентризм и несловоцентризм — лишь частный случай более фундаментального различия двух подходов исследователя языка к своему объекту и в какой-то степени различия самих объектов. Эти два подхода мы первоначально предлагали называть "интуитивным" и "исследовательским" [2], но более удачными нам представляются термины "антропоцентричный" и "системоцентричный" подходы, как это было недавно предложено в статье Е.В. Рахилиной [3], чья точка зрения представляется близкой к излагаемой здесь.

Данные подходы в той или иной степени проявляются в самых различных лингвистических концепциях. Мы ограничим наше рассмотрение лишь концепциями, связанными с синхронным анализом языка, отвлекаясь как от диахронных, так и от синтетических (порождающих) исследований.

Антропоцентричный подход исторически первичен и представлен в различных национальных лингвистических традициях: европейской, индийской, арабской, китайской, японской. Идеи европейской традиции продолжали служить базой для синхронных описаний языка вплоть до начала XX в. Позднее этот подход потерял всеобщность, но продолжал сохраняться, безусловно господствуя в практической сфере (учебная литература, практическая лексикография), а в последнее время в какой-то мере расширил свои позиции, особенно в семантических исследованиях (см. [3, с. 51]).

Все традиции формировались на основе наблюдений над каким-то одним языком. Это не всегда был родной язык авторов описаний, на ранних этапах развития традиций это обычно был язык культуры соответствующего ареала: классическая латынь, классический арабский, санскрит, вэньянь в Китае, бунго в Японии. Однако всегда этот язык был хорошо известен и практически нужен исследователю, выступавшему и в качестве его носителя, пусть даже он пользовался этим языком лишь на письме. Задача исследователя в таком случае — осмысление и описание своих представлений носителя языка, часто именуемых лингвистической интуицией. Именно эти представления — исходный пункт анализа, тогда как тексты любого рода играли лишь подчиненную роль,

используясь как источник подтверждающих примеров (прежде всего подтверждающих соответствие авторской интуиции языковым нормам[1]).

В таком случае перед исследователем не стоит задача открытия языковой системы, он изначально ею владеет. Например, лингвист — носитель русского языка еще до начала своего исследования знает, что в предложении *Учитель несет большой портфель* четыре слова, а не три или пять, что слова *учитель* и *портфель* относятся к одному и тому же классу слов, несмотря на явные различия в значении, а слова *учитель, несет* и *большой* — к трем разным классам, что *ключ* от замка и *ключ* "родник" — разные слова, а *дом* как здание и *дом* как место жительства семьи — одно слово, хотя и в разных значениях, и т.д.[2]. Процедуры членения текста на слова, распределения слов по частям речи, разграничения омонимии и полисемии и т.д. в общем виде при антропоцентричном подходе не нужны, недаром их не было в лингвистике до появления структурализма. Они появлялись лишь в сравнительно периферийных спорных случаях, когда вставал, например, вопрос о том, в каких случаях считать отдельным словом отрицание *не*, к какой части речи отнести слово *надо* или считать ли омонимами птицу *журавля* и колодезный *журавль*. В таких случаях сама лингвистическая интуиция явно не дает четкого ответа, поэтому и лингвисты здесь могут придумывать разные критерии, дающие разный результат. А.И. Смирницкий, рассматривая вопрос о членении текста на слова, предлагал на первом этапе считать словами последовательности, словесный характер который очевиден, и лишь после этого применять к неясным случаям критерий остаточной выделимости [4].

В центре внимания исследователя при антропоцентричном подходе находится другая проблема: какие свойства имеют те или иные единицы языка. Уже зная, что в слове *чашка* пять звуков, причем второй и пятый одинаковы, а все остальные разные, исследователь начинает выяснять, по каким признакам *а, к, ч, ш* и т.д. отличаются друг от друга, поэтому еще в античности научились делить звуки на гласные и согласные, позднее появились понятия гласного верхнего подъема, взрывного согласного и т.д. Умея пользоваться некоторым словом, составитель словаря выясняет основные характеристики его значения, отличия от близких по смыслу, но не тождественных слов. Аналогичным образом описывались свойства частей речи, отношения между значениями многозначного слова и т.д.

Такого рода описания кажутся вполне естественными, и их практическая полезность несомненна. В то же время не раз отмечалось, что многое в них не соответствует установившимся к началу XX в. критериям научности. Например, в большом количестве традиционных исследований дается определение слова, однако лингвисты, особенно исходящие из системоцентричного подхода, легко убеждаются, что их нельзя назвать определениями в строгом смысле слова, поскольку "в них не указан такой набор допускающих практическую проверку свойств, по которому мы могли бы однозначно относить тот или иной встретившийся нам объект к классу слов или неслов" [5, с. 15]. Но, как сказано выше, этот набор при антропоцентричном подходе указывать и не нужно, а с авторами всем хорошо известных попыток описаний свойств слова мы не согласны лишь в том, что они иногда называют такие описания "определениями" слова.

Критики традиционного антропоцентричного подхода отмечают и нередкое несоответствие между привычно выделяемыми свойствами единиц и языковой

---

[1] Мы несколько идеализируем исследовательскую процедуру. Реально на нее, конечно, помимо собственных представлений исследователя влияет уже существующая традиция.

[2] Конечно, реальный исследователь пользуется в таких случаях не только интуицией, но и знанием лингвистической традиции, полученным в школе и вузе, причем именно это знание как более эксплицированное может казаться основным. Но психолингвистические опыты показывают, что представления о слове, частях речи и пр. есть и у неграмотных.

реальностью. Например, антропоцентричные "определения" частей речи целиком семантичны, либо хотя бы включают семантический компонент. Любой ученый до эпохи формирования структурализма (может быть, за единственным исключением Варрона, жившего в I в. до н.э.) обязательно находил определяющим для существительного предметное, для прилагательного качественное значение и т.д. Тем не менее достаточно ясно, что не всякое существительное обозначает предмет, что нет четкой семантической грани между качествами и состояниями и т.д. По этому поводу правильно писала Н.Д. Арутюнова: "Традиционная грамматика, верно отражая языковое чутье носителей языка, часто давала ему одностороннее (семантическое) использование. Но из этого не вытекает, что сами принципы систематизации материала были также односторонне семантическими" [6]. Однако такой разнобой естествен, поскольку попытка объяснения того, что интуитивно ясно, может и не совпадать с природой вещей. Для носителей языка грамматика почти не осознается и используется автоматически, тогда как семантика гораздо более осознаваема, что проявляется и в отношении частей речи [7].

Но главная трудность антропоцентричного подхода проявилась, когда круг исследуемых языков в новое время начал быстро расширяться. Пока круг учитываемых языков состоял из типологически близких и генетически родственных языков Европы[3], выработанный им понятийный аппарат был вполне приемлем. Но описания далеких от европейских по строю "экзотических" языков были слишком явно субъективны и неадекватны. Период так называемых миссионерских грамматик длился около четырех столетий, но значительный прогресс на этом пути так и не был достигнут. Расширение языковой базы и возврат к синхронной лингвистике на грани XIX и XX вв. потребовали иного подхода.

Системоцентричный подход к языковым явлениям сформировался в это время в трудах И.А. Бодуэна де Куртенэ, Ф. де Соссюра и др. (ср., например, типично процедурный подход к слову в работе [8]); впрочем, в одной специфической области — экспериментальной фонетике — системоцентризм развился на несколько десятилетий раньше. Позднее он получил развитие в различных направлениях европейского и американского структурализма.

Этот подход "в отличие от антропоцентричного подхода, приближающего лингвистику к психологии и философии, ...пытается сблизить ее с естественными науками в их современном понимании. Согласно этому подходу, язык есть некоторая почти независимо от нас функционирующая система. Лингвист изучает ее законы, носитель языка им подчиняется" [3, с. 50]. Исходный пункт анализа в этом случае — множество устных или письменных текстов. Основным способом исследования становится сопоставление текстового материала, выявление сходств и различий тех или иных отрезков текста, позиционных характеристик, сочетаемости и т.д. В отличие от антропоцентричного подхода здесь важную роль играет строгая формулировка процедур исследования (ср. подробное обсуждение этой проблемы в дескриптивизме и глоссематике при определенных различиях в ее понимании). Дескриптивизм, во многом развившийся в связи с изучением "экзотических", особенно индейских языков, разработал эти процедуры очень тщательно и довел принципы системоцентричного подхода до большой последовательности (о связи дескриптивистских концепций с отказом от наблюдений над собственной психикой см. [9]). Крайнее выражение данные принципы нашли в так называемом дешифровочном подходе, при котором для исследователя не существует ничего, кроме текстов и исследовательских процедур. Дешифровочный подход высветил трудности системоцентризма, о которых мы поговорим ниже.

---

[3] См. набор языков, учитываемых в грамматике Пор-Рояля: активно используется материал романских языков, лишь фрагментарно — древнегреческого и германских и только в отдельных местах упоминаются древнееврейский язык и еще какие-то неназванные "восточные".

Как мы уже отмечали, антропоцентризм и системоцентризм различаются прежде всего разным отношением к двум точкам зрения на язык: точке зрения носителя языка и точке зрения исследователя. Любопытно привести мнения на этот счет двух лингвистов, почти современников, но принадлежавших к разным школам и традициям.

А.М. Пешковский в статье [10] разграничивал научную (объективную) и обиходную (нормативную) точки зрения на язык, подчеркивая, что научная точка зрения "диаметрально противоположна обычной, житейско-школьной точке зрения", что научная "точка зрения, для современного лингвиста сама собой подразумевающаяся, столь чужда широкой публике". Японский ученый, основоположник известной школы "языкового существования" Токизда Мотоки писал в 1941 г. о двух позициях по отношению к языку: позиции субъекта и позиции наблюдателя. Позиции субъекта "придерживаются те, кто воспринимает язык как средство выражения мысли и осуществляет свою деятельность в виде формирования идей, произнесения звуков, написания письменных знаков или же, находясь в позиции слушающего, пользуется языком как посредником для понимания идей собеседника, читает письменные знаки, слышит звуки, понимает смысл... Этой платформы мы придерживаемся и тогда, когда выбираем выражения, подходящие для данного собеседника..., отличаем удачные выражения от неудачных, различаем литературный язык и диалекты... Существует и другая, отличная от предыдущей точка зрения, согласно которой язык рассматривается как объект: его наблюдают, анализируют, описывают... Находясь на этой платформе, наблюдатель языка... попадает в положение постороннего, обозревающего языковую деятельность" [11, с. 91—92]. Оба лингвиста отмечают нормативность, оценочность точки зрения носителя языка и объективность точки зрения исследователя.

Токизда ставил и вопрос о соотношении двух точек зрения. По его мнению, "точка зрения наблюдателя возможна только тогда, когда имеет своей предпосылкой точку зрения субъекта" [11, с. 95]. Токизда считал, что единственным научным методом является субъективное переживание языка (родного или чужого), а затем наблюдение (интроспекция) над этим переживанием [11, с. 95—97], т.е. совершенно осознанно (в отличие от большинства европейских традиционалистов) отстаивал антропоцентричный подход, вполне справедливо отмечавшийся им в японской лингвистической традиции до ее европеизации. Вся книга Токизда полемична по отношению к идеям Ф. де Соссюра и Ш. Балли, в которых он также справедливо увидел стремление разграничить точки зрения субъекта и наблюдателя; из этого делался, однако, неверный вывод о том, что соссюровскую концепцию следует отвергнуть.

Антропоцентричный и системоцентричный подходы всегда влияли друг на друга, и не всегда их легко отграничить. С одной стороны, как мы уже отмечали, и при антропоцентричном подходе оказываются нужными исследовательские процедуры для периферийных неясных случаев. С другой стороны, весьма значительно не всегда осознаваемое влияние антропоцентричного подхода на системоцентричный. Это влияние проявляется по-разному.

Наиболее очевидный случай составляет сохранение многих традиционных подходов и решений, особенно тогда, когда речь идет о хорошо описанных языках, и прежде всего о родном языке исследователя. Например, известное определение Л. Блумфилдом слова как минимальной свободной формы требует пересмотреть и традиционное представление об английском слове: артикли и большинство предлогов — явно не свободные формы. Однако везде, где в книге [12] приводится конкретный английский материал, принимается традиционное членение на слова. На это противоречие уже обращал внимание Дж. Гринберг [13].

Однако зависимость от наследия антропоцентричного подхода была гораздо более фундаментальной. Тенденция пользоваться лишь четко определенными понятиями и выделять лишь соответствующие этим определениям единицы и

классы единиц, наблюдавшаяся у некоторых дескриптивистов, не стала преобладающей. Это хорошо видно на примере понятия слова. Даже дескриптивисты несмотря на теоретические декларации обычно не отказывались от выделения этой единицы в описаниях конкретных языков и уделяли много внимания выработке критериев членения текста на слова; еще большее место понятие слова занимало в европейском структурализме. При этом, однако, многочисленные определения слова в рамках системоцентричного подхода имели одно свойство, которое Ю.Д. Апресян в упоминавшейся выше работе характеризовал так: "они не соответствуют по объему тому множеству объектов, которые фактически называются данным термином" [5, с. 15] (примеры несовпадения разных определений слова с традиционными представлениями об этой единице см. [5, с. 12—15]).

Ю.Д. Апресян, в 60-е годы безусловно стоявший на позициях системоцентризма, считал такие определения столь же неточными, как и традиционные "определения" слова, не позволяющие его выделить. Однако, в отличие от традиционных, такие определения могут быть вполне точны и однозначны сами по себе; сомнение вызывает лишь то, насколько их правомерно считать определениями именно слова, а не какой-то другой единицы (тем более что разные определения нередко дают применительно к конкретным языкам разные результаты). Ю.Д. Апресян считал, что работающее и в то же время вполне соответствующее традиции определение слова может быть получено, если только не пытаться его получить на семантической основе. Однако за прошедшие с тех пор четверть века лингвистика явно не приблизилась к решению этой задачи.

Аналогичным образом Ю.Д. Апресян рассуждал в книге 1966 г. и в отношении частей речи. Неконструктивности традиционных "определений" он противопоставлял последовательно морфологический подход, идущий в отечественной науке от Ф.Ф. Фортунатова [5, с. 16—18][4]. Однако при всей значимости морфологического фактора для обычной системы частей речи последовательно морфологическая классификация лексем даже в русском языке заметно отличается от традиционной, что показал еще Г.О. Винокур [14].

И так оказывается не только с понятиями слова и части речи, но и с фонемой, лексемой, полисемией и многими другими традиционными понятиями[5]. Например, насколько нам известно, не существует универсальной лингвистической процедуры сегментации текста на фонемы (акустические процедуры сегментации речевого потока существуют, но их результаты далеко не всегда совпадают с принятым членением на фонемы). Реально исследователь в основном исходит из представлений о фонемных границах в своем родном языке и отождествляет с ними сегменты исследуемого языка; только в наиболее спорных случаях используются эксплицитные процедуры (ср. подход А.И. Смирницкого к выделению слов). В отношении фонемной парадигматики на первый взгляд ситуация иная: существует вполне системоцентричная теория дифференциальных признаков Р. Якобсона, Г. Фанта и М. Халле. Однако один из ее создателей был вынужден признать, что акустические корреляты некоторых дифференциальных признаков, в частности, резкости-нерезкости, достаточно сомнительны [15]. Этот факт не означает того, что пользоваться теорией дифференциальных признаков не следует, не надо лишь считать ее строго системоцентричной (на что, по-видимому, претендовали ее создатели), она представляет собой лишь попытку максимального отвлечения от антропоцентризма, присутствующего в ней имплицитно.

---

[4] Впрочем, уже Варрон подходил к латинским частям речи подобным образом, определяя имена (включая прилагательные) как склоняемые и неспрягаемые слова, глаголы как спрягаемые и несклоняемые, причастия как склоняемые и спрягаемые, наречия как несклоняемые и неспрягаемые. Уже эта система расходилась с традицией: не всякое неизменяемое латинское слово — наречие.

[5] Не имеет принципиального значения время появления того или иного термина. Эксплицитное понятие лексемы появилось в отечественной науке недавно, но за ним стоит интуитивное представление о границе между варьированием одного слова и различием слов.

В случае фонемной парадигматики построить модель интуитивно осознаваемой единицы относительно легко. Впрочем, и здесь последовательное проведение некоторого принципа часто приводит к интуитивно неправильному решению. Хорошо известно, как много места занимала в выступлениях противников Московской фонологической школы критика положения о *и* и *ы* как вариантах одной фонемы, хотя с позиций этой школы такое решение вполне естественно[6]. Именно здесь ученым этой школы было убедить оппонентов труднее всего, так как интуитивно *и* и *ы* все же ощущаются как разные звуки.

Гораздо труднее оказывается приблизиться к интуитивно осознаваемым единицам и классам единиц в более сложных случаях. В 50—60-е годы очень популярной была идея построения математических моделей фонемы, слова, грамматических категорий и т.д. В отечественной науке она получила наибольшее развитие в работах И.И. Ревзина [16]. При этом чтобы как-то приблизиться к традиционному объему понятия, приходилось использовать очень сложный и изощренный математический аппарат, однако гарантии полного совпадения с традицией все равно не было. Постепенно отношение к формальным (не обязательно даже строго математическим) моделям такого рода понятий стало достаточно скептическим. Показательна статья [17], где разбирается вопрос о моделировании понятия лексемы. При этом убедительно показаны практически непреодолимые трудности, возникающие при попытках выработать собственно лингвистические, не опирающиеся на интуицию критерии выделения этого казалось бы ясного и бесспорного понятия.

Особые трудности системоцентричный подход всегда вызывал в семантике. Недаром в период его полного господства в мировой науке семантика не достигла значительных успехов (как, впрочем, и до того) и лишь обращение к антропоцентризму на новой, более высокой основе дало возможность продвинуться в ее изучении; в констатации этого факта, пожалуй, главный пафос упоминавшейся статьи Е.В. Рахилиной[7].

Но вопрос об учете лингвистического значения выходит за рамки семантики как особой дисциплины. В том или ином виде семантика присутствует везде, что не всегда учитывали сторонники системоцентричного подхода. Недаром дешифровочный подход, логически наиболее последовательное проявление системоцентризма, потерпел неудачу как общая теория и используется самое большее как вспомогательное средство в некоторых случаях. Исключение значения было тесно связано с попыткой полностью исключить позицию носителя языка. Чисто психологически такое исключение облегчалось в тех случаях (особенно частых у дескриптивистов), когда лингвист не мог даже в минимальной степени считаться носителем исследуемого языка, задавая вопросы двуязычному информанту. Но популярную одно время в США идею о том, что собственные построения лингвиста субъективны, а построения информанта объективны, А. Вежбицка справедливо называет карикатурой на блумфилдианство [18, с. 90]. Она же отмечает, что использование большого числа информантов создает лишь "фантом объективности", тогда как собственная интуиция исследователя может при этом утрачиваться [18, с. 43]. Следует указать также на вывод М. Мамудяна о том, что хотя З.С. Хэррис стремился к объективности анализа и выводил интуицию за пределы лингвистики, реально его концепция фонемы даже больше связана с интуицией, чем многие другие, поскольку прямо основывается на том, что отождествляет и различает информант [19].

Любое лингвистическое описание опирается на интуицию носителя языка, хотя

---

[6] Если отвлечься от существования на дальней периферии русского языка слов типа *Ыныкчанский* (поселок в Якутии), *Ыйм* (эстонская фамилия).

[7] Мы не согласны с Е.В. Рахилиной лишь в одном пункте. Говоря о распространении антропоцентризма на морфологию и другие области вне семантики, она сводит его лишь к "рациональному объяснению" фактов, полученных в рамках системоцентризма [3, с. 51]. Но мы стараемся показать, что и многое другое, начиная от самого подбора фактов, идет от антропоцентризма.

носитель языка и исследователь не обязательно одно и то же лицо (несовпадение происходит не только при обращении к информанту, но и тогда, когда лингвист использует мнение предшественников). В этом смысле любое исследование языка глубинно антропоцентрично и казавшаяся в момент появления крайне архаичной точка зрения Токизда Мотоки имеет под собой основания. Прав он был и в отношении решающего значения интроспекции для лингвиста. Впрочем, в годы, когда это понятие было немодным, о роли интроспекции писал и такой глубокий ученый, как Л. Теньер [20]. Сейчас ее роль подчеркивается многими (см., например, книгу [18]).

И все-таки из всего сказанного не следует, что Токизда полностью прав, опровергая Ф. де Соссюра, и что системоцентричный подход вообще не существует. Просто не надо понимать последний как нечто совершенно независимое от психолингвистического механизма. Но вполне возможно для определенных целей отвлекаться от антропоцентризма, аналогичные абстракции применяются во многих науках. Попытки обойти антропоцентричные основания лингвистики были логически уязвимы, но они дали и дают большие позитивные результаты. Надо только отдавать себе отчет, на каких этапах анализа мы основываемся на интуиции, а на каких мы используем строгие методы, поддающиеся проверке.

Системоцентричный подход структурализма был шагом вперед по сравнению с антропоцентричным подходом традиционного языкознания уже в том, что такое разграничение, пусть неосознанное, было проведено. Доструктурная лингвистика апеллировала к интуиции (явно или чаще неявно) едва ли не на любом шагу анализа. Но те же дескриптивисты свели обращение к интуиции информанта к строго определенным этапам, в остальных же случаях проводились дистрибуционный или какой-либо иной анализ, поддающийся проверке. Это особенно важно для описания языков, по строю отличных от родного языка исследователя. Как уже говорилось выше, особенности родного или наиболее престижного для лингвиста языка представляют собой "возмущающий фактор", не всегда преодолимый даже в наше время (мы уже не раз отмечали, что русскоязычные японисты склонны находить в японском языке мягкие согласные и падежное словоизменение, а англоязычные японисты на месте мягких согласных видят сочетания с йотом, а на месте падежных аффиксов — частицы или послелоги). Но в эпоху миссионерских грамматик этот фактор было нечем корректировать, а системоцентричный подход дал возможность установить какие-то объективные критерии[*]. Для развития мировой фонологии большим шагом вперед был отказ от психологизма, выраженный, например, в высказывании Р. Якобсона (1942): "Мы продолжаем разыскивать эквиваленты фонем в сознании говорящего. Как это ни странно, лингвисты, занимающиеся изучением фонемы, больше всего любят подискутировать на тему о способе ее существования. Они, таким образом, бьются над вопросом, ответ на который, естественно, выходит за рамки лингвистики" [21, с. 57]. Такой ответ исключительно важен для лингвистики, в этом смысле подчеркнуто психологичные И.А. Бодуэн де Куртенэ и Е.Д. Поливанов были более правы. Но антипсихологизм Н.Ф. Яковлева, пражцев и Московской школы был необходим: именно на пути системоцентризма была построена детально разработанная универсальная фонологическая теория. Показательно, что тот же Р. Якобсон к концу жизни обратился к психолингвистике и изучению говорящего человека.

Итак, антропоцентричный и системоцентричный подходы реально существуют, хотя, вероятно, точнее было бы говорить о чисто антропоцентрическом и

---

[*] Интуиция информанта не может дать всей той информации, которую дает интуиция лингвиста — носителя языка, поскольку, во-первых, информанту можно задать лишь ограниченное число вопросов, во-вторых, сами эти вопросы формулируются на основе интуиции самого лингвиста. Еще один корректирующий элемент для описания чужого языка — лингвистическая традиция его носителей, но она существует лишь для немногих языков.

относительно системоцентричном подходах. В этом различии проявляется и относительная самостоятельность языковой системы. Конечно, такая система — абстракция более высокого уровня, чем психолингвистические механизмы людей: это та основа, на которой формируются такие механизмы, более или менее единая для языкового коллектива. Ни язык, ни психолингвистические механизмы не поддаются прямому изучению, хотя о последних можно кое-что сказать на основе анализа афазий и детской речи, позволяющих, в частности, разграничить эти механизмы на отдельные блоки (в случае детской речи не все такие блоки еще сформировались, а в случае афазии часть из них вышла из строя). Однако психолингвистические механизмы могут как-то реконструироваться через интроспекцию, а язык (langue, по Соссюру) — через анализ текстов. При этом оба описания обычно понимаются как изучение одного и того же феномена. Однако результаты получаются несколько разными, несмотря даже на то, что эти описания часто перекрещиваются друг с другом. На основе текстового анализа, даже как-то скоррелированного с интуицией, постоянно получаются интуитивно неприемлемые или спорные решения, причем их тем больше, чем последовательнее проводятся системные принципы анализа. Тем не менее фонема (по Московской школе), минимальная свободная форма (по Л. Блумфилду), так называемое фонетическое слово и многие другие единицы, выделяемые при системоцентричном анализе, — не фикции и не результат ошибок исследователей; они вполне закономерно вычленяются при анализе текстов, их реальность может подтверждаться данными диахронии, соответствующие концепции могут обладать предсказательной силой и т.д. В этом проявляется автономность языка. Однако функция этих единиц (по крайней мере, многих их них) в лингвистическом описании двояка: они — и отражение некоторых текстовых закономерностей, и модели единиц, известных через интроспекцию. Сказанное о языковых единицах относится и к выделяемым классам этих единиц. Язык автономен от индивидуальных психолингвистических механизмов, но не независим от них, поэтому практически любое системоцентричное описание проверяется данными языковой интуиции[9]. При антропоцентричном подходе, наоборот, интроспективные данные проверяются текстовыми, которые часто лишь подтверждают их (в частности, свидетельствуют об их соответствии норме), но могут и корректировать, особенно если лингвист описывает не родной язык.

Различая два способа описания, надо четко различать предъявляемые к ним требования. Если лингвист описывает язык как объект, отделенный от него, встают требования, строго необходимые для любого научного исследования. Они были сформулированы в виде известных критериев непротиворечивости, простоты и полноты. Нарушение этих критериев вполне правомерно считается недостатком описания. Отметим, что часто в качестве критерия простоты на деле используется соответствие традиционным и в конечном итоге интуитивным представлениям[10].

Между тем в традиционных описаниях эти требования нередко не выполняются, прежде всего это относится к критериям непротиворечивости и полноты. Это не раз служило предметом критики со стороны структуралистов. Однако при этом не раз оказывалось, что такие описания при казалось бы явных недостатках могут лучше соответствовать интуиции, чем логически более последовательные.

Интересна в этой связи попытка защитить традиционный подход, пусть не вполне эксплицированная. Мы имеем в виду известную статью Л.В. Щербы "О частях речи в русском языке " [22]. В ней сказано: «Самое различение

---

[9] Интуиции носителя языка (в том числе информанта) или интуиции носителя другого языка, как в случае миссионерских грамматик. В последнем случае описание может оказаться и реально оказывается очень неадекватным

[10] Эти два понятия нельзя считать абсолютно равнозначными, поскольку традиция может отражать и интуицию прежних поколений, реально изменившуюся в связи с изменениями в языке.

"частей речи" едва ли можно считать результатом "научной" классификации слов» [22, с. 63]; «В вопросе о "частях речи" исследователю вовсе не приходится классифицировать слова по каким-нибудь ученым и очень умным, но предвзятым принципам, а он должен разыскивать, какая классификация особенно настойчиво навязывается самой языковой системой» [22. с. 64]. Л.В. Щерба не отрицал ни семантические, ни морфологические, ни синтаксические критерии для выделения частей речи, но все они для него — лишь опознавательные знаки для восприятия классов, существующих независимо от всех этих свойств.

Л.В. Щерба использовал расплывчатую формулировку "навязываются самой языковой системой", с которой легко спорить: предлагаемые теми или иными лингвистами классификации по частям речи не произвольны, а так или иначе отражают какие-то (не обязательно те же самые) свойства языковой системы, извлекаемые из анализа текстов. Однако все встает на свое место, если под "навязыванием" понимать влияние психолингвистического механизма: носители языка ощущают неоднородность слов, хранящихся в их памяти, и опознают эти единицы как принадлежащие к тем или иным группам. Такой вывод не был сделан самим Л.В. Щербой, писавшим свою статью в годы, когда психологизм был не в моде, но позже он делался некоторыми языковедами [23].

Показательны конкретные выводы, делаемые Л.В. Щербой из своего подхода. В его статье, где в основном сохраняется традиционная система частей речи, признается, что в некоторых случаях одно и то же слово может быть отнесено к нескольким классам, а какие-то слова — остаться вне классификации [22, с. 66]. Этим он осознанно противопоставлял свою классификацию научной, где пересечение классов и наличие остатка — явные пороки. Но если понимать систему частей речи как психолингвистическую, а не как собственно лингвистическую, то подход Л.В. Щербы более адекватен: носитель языка хорошо осознает классную принадлежность ядерной лексики и может испытывать трудности в отношении периферийных единиц, а также единиц с уникальными свойствами. Ясным с этой точки зрения становится и отмеченное выше несоответствие между свойствами традиционных частей речи и их "определениями": для носителей языка осознается в первую очередь лексическая семантика ядерной части данного класса слов (например, предметность для существительных), не всегда свойственная классу в целом. Такие особенности психолингвистического механизма подтверждаются изучением афазий [24].

Отметим и другие случаи, когда системоцентричный подход дает большую четкость по сравнению с антропоцентричным. При этом подходе естественно членить текст на те или иные единицы, по крайней мере, на основные единицы, без остатка. Но известно, что традиционная лингвистика, соблюдая это требование в отношении слов, не следует ему в отношении морфем. По мнению многих языковедов, например, в слове *пастух пас-* — морфема, а *-тух* — нет [25], в слове *малина* есть и морфема *малин-* и морфема *-ин-* [26]. С позиций системоцентризма такие трактовки многократно и убедительно опровергались, но, по-видимому, для носителей языка именно так дело и обстоит, что показывает явление народной этимологии. Когда *пиджак* превращается в *спинжак* и даже *цейхгауз* в *чихауз*, то ясно, что носителю языка важны лишь ассоциативные отношения между словами, часть слова (*спин-, чих-*) получает некоторое значение или хотя бы квазизначение, а остаток (*-жак, -ауз*) ничего не значит и не вычленяется как единица; то же, видимо, происходит и с естественно развивавшимися словами типа *любовь, пастух*. По существу именно это имел в виду В.В. Виноградов (избегавший, как и Л.В. Щерба, прямого обращения к психолингвистике), когда писал: "При абстрактно морфологическом подходе, без учета семантических связей слов, без учета лексических соотношений разных словесных рядов получалась механическая кройка морфем. Например, выделялись как варианты одной и той же основы *хот'* и *охот* в словах *хотеть* и *охота*;

смерт', *мерте* в словах *смерть* и *мертвый*; *-зволить* и *-волить* в словах *позволить, дозволить, изволить, приневолить* и т.д.; отыскивались суффиксы *-зи* и *-зн* в словах *буржуазия* и *буржуазный* — по сравнению с *буржуа*; суффикс *-овь* в слове *любовь*, *-лина* в слове *напраслина* и т.п." [27]. Почти во всех этих примерах "учет семантических связей слов" как раз приводит к тем трактовкам, которые отвергал В.В. Виноградов, трудно согласиться и с его обвинением в "антиисторичности" такого членения. При следовании принципам морфемного анализа, разработанным в рамках системоцентричного подхода, это членение правомерно и часто даже неизбежно. Но с точки зрения интуиции носителя русского языка (в том числе интуиции автора статьи) эти членения действительно кажутся "механическими".

Несоответствие морфемного анализа интуиции проявляется еще в одном случае. Этот анализ требует считать, что лексическое значение словоформы содержится в ее основе, а грамматическое — в аффиксах. Однако в европейской традиции исторически первичен другой подход, согласно которому слово нечленимо на значимые части, а все компоненты значения присущи слову в целом. Такая трактовка, известная по античным грамматикам, явно не соответствует критерию полноты (не выделяются морфемы), но хотя бы соответствует критерию непротиворечивости. Но в более новых работах можно встретить и безусловно противоречивую контаминацию обоих подходов, когда в одной и той же книге то признается существование основы и аффиксов с определенными значениями [28, с. 18], то значение, например, единственного или множественного числа приписывается не окончанию, а слову в целом [28, с. 113]. Надо сказать, что такое противоречие не кажется интуитивно неприемлемым, поскольку в нем отражается противоречие в самом сознании носителя языка: при обычном пользовании языком слово выступает как нечто цельное и нечленимое, но при рефлексии, наблюдении говорящего над своим языком слово может члениться (не обязательно нацело), в том числе на основу и аффиксы. Осознание членимости слова проявляется и при образовании новых слов.

При системоцентричном подходе принят и принцип разделения уровней, когда целое не может рассматриваться на одном уровне со своими частями. Как в физике недопустимо выделять молекулы, состоящие из молекул, так и в системоцентричном описании слова не могут состоять из слов. Но в антропоцентричных описаниях, начиная с античности, именно так описывается словосложение, да и производное слово нередко понимается как результат присоединения деривационного аффикса не к основе, а к производящему слову (ср. высказывание о том, что словообразование — "всегда образование одного слова от другого" [29]). Такой подход приводит к ряду трудностей в описании, но он, по-видимому, более соответствует интуиции, чем системоцентричный способ описания, разграничивающий производящее слово и производящую основу: для носителя языка в первую очередь существуют слова, а не операции над ними.

В области лексической семантики и лексикографии различие подходов видно, если сопоставить толкования слов в традиционных словарях и в научных словарях типа толково-комбинаторного словаря, статьи которого разрабатывались И.А. Мельчуком и его последователями. В традиционных словарях весьма часто слово толкуется через его синонимы, нередки так называемые порочные круги, когда каждое из двух слов используется в толковании друг друга. В научных словарях предпринимаются попытки описывать значения лексем на основе строгих принципов, выделяя первичные неопределяемые понятия и используя в толкованиях лишь более элементарные, чем значение данной единицы, компоненты; круг в таких толкованиях сознательно исключается. Последний подход в целом вряд ли соответствует интуиции: в памяти носителей языка скорее всего не существует ничего, кроме слов и ассоциативных связей между ними. Поэтому в словаре, рассчитанном на практическое использование носителями данного языка, достаточно указать на вхождение слова в то или иное

семантическое поле и различие в значении слов, имеющих семантическое сходство.

Различие двух подходов в лексикографии иногда трактуется с точки зрения превосходства традиционного (антропоцентричного) подхода в связи с преимуществами "здравого смысла" над "научностью" [30]; ср. идеи Л.В. Щербы о частях речи Однако перспективнее оказывается попытка совместить два подхода и осознанно ввести в научный словарь антропоцентричный компонент, получившая четкое выражение в книге [18].

При этом, однако, встает вопрос: насколько совместимы в такого рода описании антропоцентричный и системоцентричный подходы? Разработка словарных дефиниций с помощью интроспекции, которую осуществляет А Вежбицка, тем не менее производится в рамках требований, предъявляемых к научному исследованию системоцентричным подходом. Но не происходит ли при этом структурирование нечеткого психолингвистического механизма и введение жестких границ там, где их в действительности нет? Мы затрудняемся ответить на вопрос. Заметим лишь, что А. Вежбицка придает гораздо меньше значения требованию единообразного разложения смысла слов на элементарные компоненты, чем создатели толково-комбинаторного словаря.

Итак, к описанию языковой системы можно идти от интуиции носителя языка, проверяя ее в случае необходимости текстами, и от текстов, проверяя их данные интуицией. Результаты, как мы постарались показать, очень часто оказываются разными настолько, что трудно говорить об их соизмеримости. При этом каждый подход имеет свои плюсы и минусы. Антропоцентричный подход позволяет построить психологически адекватные описания, однако он дает принципиально не допускающие процедур проверки результаты (если отвлечься от пока еще весьма ограниченных возможностей проверки в нейролингвистике), а его применение к языкам, далеким по строю от родного языка лингвиста, приводит к неадекватным результатам; антропоцентричные описания, выполненные в рамках разных лингвистических традиций, весьма трудно сопоставлять. Системоцентричный подход, наоборот, позволяет получить "работающие", сопоставимые и формализуемые описания, но они могут оказаться психологически неадекватными, т.е. искаженно представляющими реальный психолингвистический механизм. Исследователю в этом случае приходится проходить между Сциллой логически безупречного, но интуитивно неприемлемого решения и Харибдой более соответствующей интуиции, но значительно усложняющей описание, а то и противоречивой трактовки.

Два подхода не отрицают, а дополняют друг друга, используясь для разных целей. Как отмечает А. Вежбицка, носители языка, вероятно, не нуждаются в дефинициях интуитивно им известных языковых единиц, но дефиниции — единственный способ объяснить сущность этих единиц иностранцу, особенно принадлежащему к иной культуре [18, с. 4—5]. Для целей, например, типологии системоцентричный подход необходим, лишь на его основе можно отграничить общелингвистические закономерности от типологических особенностей языка исследователя или группы языков, сходных с ним; недаром избавление лингвистического описания от европоцентризма началось лишь в структурализме. Но для обучения родному языку, практической лексикографии необходим антропоцентричный подход, недаром лингвистика XX в. так плохо проникает в школьное преподавание, особенно родного языка. Говоря о двух подходах, мы имеем дело с проявлением фундаментального принципа дополнительности, на важность учета которого для лингвистики указывал Р. Якобсон [21, с. 374, 404]. При этом, безусловно, как уже говорилось выше, оба подхода не могут не учитывать совсем языковую интуицию, только делается это в различной степени и по-разному.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Алатов В.М.* О двух подходах к выделению единиц языка // ВЯ, 1982. № 6.
2. *Alpatov V.* On intuitive and research approaches to the language studies // 8 International Congress of logic, methodology and philosophy of science, Abstracts of papers. M., 1987.
3. *Рахилина Е.В.* О концептуальном анализе в лексикографии А. Вежбицкой // Язык и когнитивная деятельность / Отв. ред. Фрумкина Р.М. М., 1989.
4. *Смирницкий А.И.* К вопросу о слове (проблема "отдельности слова") // Вопросы теории и истории языка в свете трудов И.В. Сталина по языкознанию. М., 1952. С. 188—197.
5. *Апресян Ю.Д.* Идеи и методы современной структурной лингвистики. М., 1966.
6. *Арутюнова Н.Д.* Дескриптивизм // Основные направления структурализма. М., 1964. С. 270.
7. *Леонтьев А.А.* Фиктивность "семантического критерия" при определении частей речи // Вопросы теории частей речи на материале языков различных типов. Л., 1965. С. 34.
8. *Бодуэн де Куртенэ И.А.* Язык и языки // Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Т. 81. СПб., 1904.
9. *Фрумкина Р.М.* Предисловие // Психолингвистика. М., 1984.
10. *Пешковский А.М.* Объективная и нормативная точки зрения на язык // Русский язык в школе. Вып. 1. М., 1923.
11. *Токиэда Мотоки.* Основы японского языкознания // Языкознание в Японии / Отв. ред. Вардуль И.Ф. М., 1983.
12. *Блумфилд Л.* Язык. М., 1968.
13. *Greenberg J.H.* Essays in Linguistics. Chicago, 1957. P. 28.
14. *Винокур Г.О.* Форма слова и части речи в русском языке // Винокур Г.О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959.
15. *Фант Г.* Акустическая теория речеобразования. М., 1965. С. 214—216.
16. *Реформатский А.А.* Метод моделирования и типология славянских языков. М., 1967.
17. *Крылов С.А.* Некоторые уточнения к определениям понятий словоформы и лексемы // Семиотика и информатика. Вып. 19. М., 1982.
18. *Wierzbicka A.* Lexicography and conceptual analysis. Ann Arbor, 1985.
19. *Мамудян М.* Лингвистика. М., 1985. С. 88.
20. *Теньер Л.* Основы структурного синтаксиса. М., 1988. С. 48—49, 52.
21. *Якобсон Р.* Избр. раб. М., 1985.
22. *Щерба Л.В.* О частях речи в русском языке // Щерба Л.В. Избр. раб. по русскому языку. М., 1957.
23. *Супрун А.Е.* Грамматические свойства слов и части речи // Вопросы теории частей речи на материале языков различных типов. Л., 1965. С. 17.
24. *Лурия А.Р.* О патологии грамматических операций // Известия АПН РСФСР. 1946. Вып. 3. С. 71—74.
25. *Крылов Н.А.* Несколько замечаний об интерфиксации // Уч. зап. МГПИ им. В.И. Ленина 1969 № 341. С. 155.
26. *Панов М.В.* О наложении морфем // Уч. зап. МГПИ им. В.И. Ленина, 1969. № 341. С. 275.
27. *Виноградов В.В.* Словообразование и его отношение к грамматике и лексикологии (на материале русского и родственных языков) // Вопросы теории и истории языка в свете трудов И.В. Сталина по языкознанию. М., 1952. С. 131—132.
28. Грамматика русского языка. Т. I. М., 1952.
29. *Лопатин В.В.* Русская словообразовательная морфемика. М., 1977.
30. *Правдин М.Н.* Словарное толкование, научность и здравый смысл // ВЯ. 1983. № 6.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1993

© 1993 г. АПРЕСЯН В.Ю., АПРЕСЯН Ю.Д.

МЕТАФОРА В СЕМАНТИЧЕСКОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЭМОЦИЙ

1. ДВА ПОДХОДА К ОПИСАНИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ

До недавнего времени внутренний мир человека занимал психиатров, философов, поэтов, но мало интересовал лингвистов. Положение стало меняться с возникновением в 60-х годах современной лингвистической семантики, когда появились первые опыты лексикографического описания эмоциональной лексики [1—4]. С тех пор интерес к словам, обозначающим эмоции[1], непрерывно возрастал и в теоретическом, и в лексикографическом плане; упомянем такие работы, как [5—15]. Любопытные данные об эмоциях, которые могут представлять ценность и для лингвистики, содержатся в ряде современных психологических, физиологических, социологических и других исследований; см., например, [16—20]; обзор этих работ содержится в готовящейся к публикации статье В.Ю. Апресян "Approaches to the study of emotions". Хотелось бы надеяться, что и лингвистические результаты изучения эмоций будут небезынтересны для представителей других дисциплин. В языке закреплен опыт тысячелетий психологической и культурной интроспекции его носителей, данные которого по своей надежности никак не уступают данным экспериментальных исследований.

Несколько схематизируя реальное положение вещей, можно сказать, что в лингвистике сложились два подхода к описанию эмоций, которые мы условно назовем смысловым и метафорическим. В рамках этих подходов по-разному решается главная трудность, с которой сталкивается исследователь при описании эмоциональной лексики. Как известно, сами эмоции недоступны прямому наблюдению. В этом отношении они подобны другим внутренним состояниям, например, ментальным. Однако в отличие от ментальных состояний, которые достаточно легко вербализуются самим субъектом, эмоции очень непросто перевести в слова. Эта онтологическая трудность порождает трудность лингвистическую: слову, обозначающему эмоцию, почти невозможно дать прямое лексикографическое истолкование.

Как правило, в тех случаях, когда прямое объяснение какого-либо явления по той или иной причине невозможно, говорящий использует различные окольные пути, обращаясь при этом к тем знаниям, которые, по его предположению, уже имеются в опыте адресата. Наиболее употребительными, а может быть, и единственно возможными являются следующие два приема объяснения: либо говорящий указывает на известную адресату ситуацию, в которой обычно возникает данное явление, либо он сравнивает это явление с похожим на него другим явлением, знакомым адресату. В сущности, именно эти принципы лежат в основе двух упомянутых нами лингвистических подходов к описанию эмоций.

1.1. Смысловой подход.

Этот подход был предложен в первых работах А. Вежбицкой и Л.Н. Иорданской, где эмоции описывались через прототипические ситуации, в которых они возникают. Приведем примеры (английские примеры А. Вежбицкой заменены соответствующими русскими).

[1] В дальнейшем вместо выражения "слова (лексемы), обозначающие эмоции", мы будем говорить просто "эмоции" во всех контекстах, где это не приводит к двусмысленности.

X испытывает стыд = "X чувствует то, что чувствует человек, когда он думает, что он сделал нечто плохое или смешное и когда он хочет, чтобы никто об этом не знал".

X испытывает гордость = "X чувствует то, что чувствует человек, когда он думает, что он сделал нечто большее, чем просто хорошее, и когда он хочет, чтобы другие люди об этом знали" [2, с. 63].

A огорчается из-за B = "A испытывает такое пассивно-отрицательное эмоциональное состояние, которое обычно каузируется у среднего человека i следующей его оценкой некоторого события j: 1) i уверен в осуществлении события j; 2) j нежелательно для i; указанное состояние каузируется у A указанной оценкой со стороны A события B" [3; с. 7].

В последующих работах А. Вежбицкой и Л.Н. Иорданской, а также других авторов, принявших смысловой подход, эти и другие подобные толкования были усовершенствованы, но принцип сведения к прототипу сохранился. Ср. следующие более поздние толкования (английский текст заменен соответствующим русским):

Afraid "бояться"
X чувствует что-то
иногда человек думает примерно так:
  может произойти что-то плохое
  я не хочу этого
  я не знаю, что я могу сделать
поэтому этот человек чувствует что-то плохое
X чувствует это [7, с. 363—364]
БОЯТЬСЯ 1.1.а *X боится У-а* =

Ассерция	
Оценка	"X ожидает, что У каузирует нечто нежелательное для X-а или
Эмоция	X находится или у него есть свойство быть в неприятном эмоциональном
Характеристика	состоянии по отношению к У-у,
причина	которое каузировано упомянутым ожиданием X-а,
прототипич условия	причем это состояние такое, какое обычно бывает при ожидании чего-то опасного,
Следствие	причем это ожидание и/или состояние каузирует X-а стремиться избегать У-а "[13, с. 335]

Принцип сведения к прототипу и сейчас представляется нам в высшей степени ценным, но его одного недостаточно для полного и адекватного лексикографического представления эмоциональной лексики.

Во-первых, нуждается в дальнейшей спецификации качество самой эмоции ("feeling something good" и "feeling something bad" у А. Вежбицкой, "положительное (приятное) состояние" и "отрицательное (неприятное) состояние" у Л.Н. Иорданской, а затем у Л.Н. Иорданской и И.А. Мельчука). По существу, различия в состояниях души, как они описаны в приведенных толкованиях, сводятся к различиям в причинах, которые их вызывают. Можно, однако, предполагать (и такое предположение высказывается В.Ю. Апресян в подготовленной к печати работе "Fear: Russian and English"), что состояния души даже в случае таких близких по прототипу эмоций, как *страх* и *опасение*, — разные. Равным образом различаются отрицательные чувства в случае *горя* и *скорби*, тоже практически совпадающих по прототипу: оба в качестве нормальной причины предполагают большую утрату.

Во-вторых, хотелось бы найти такие семантические представления эмоций, которые позволили бы дать принципиальное (семантически мотивированное) объяснение "симптоматической" лексики. Это — выражения типа *похолодеть от страха, покраснеть от стыда, задохнуться от возмущения*, впервые глубоко и тонко проанализированные в работах [4, 11]; см. также [12].

1.2. Метафорический подход.

Дж. Лаков и М. Джонсон в [5, с. 57—58] отмечают, что языковые средства выражения эмоций в высшей степени метафоричны. Эмоция практически никогда не выражается прямо, но всегда уподобляется чему-то. Поэтому наиболее адекватным лингвистическим описанием эмоций авторы считают описание через метафоры, в которых эти эмоции концептуализуются в языке. Например, эмоции *счастье* (HAPPY) и *грусть* (SAD) в английском языке метафорически противопоставлены как ВЕРХ и НИЗ. Этой метафоре дается, с одной стороны, физическая мотивировка — человек поднимает голову, когда радуется, и опускает, когда грустит. С другой стороны, предлагается языковая мотивировка: данная метафора является частным случаем метафоры вида ХОРОШЕЕ — ВЕРХ, ПЛОХОЕ — НИЗ. Таким образом, у Дж. Лакова и М. Джонсона описание строится в виде иерархий метафор, в которых метафоры низшего порядка наследуют структуру метафор — "предков". Ср. аналогичный подход к описанию эмоций в [18].

Безусловное достоинство этого подхода состоит в том, что он дает возможность отразить внутреннюю семантическую компаративность слов, обозначающих эмоции, и ввести в описание, помимо самих этих слов, большие группы связанных с ними метафорических выражений.

Недостаток состоит в том, что метафора принимается за конечный продукт лингвистического анализа, и собственно семантическая мотивация того, почему та или иная метафора ассоциируется с определенной эмоцией, отсутствует. Между физической мотивацией и самой метафорой отсутствует языковое, семантическое звено.

Кроме того, специфичность метафор, относящихся именно к эмоциям (в основном к "симптоматической" лексике), не получает никакого объяснения.

Наконец, некоторые метафорические сближения кажутся продиктованными не столько устоявшейся языковой практикой, сколько единичными употреблениями. Например, на основании таких окказиональных и периферийных высказываний о характере любовных отношений, как *Мы на перекрестке, Мы зашли слишком далеко, Ты торопишь события, Ты едешь по скоростной полосе на автостраде любви* (последний пример заимствован из неопубликованной работы Дж. Лакова) Дж Лаков предлагает для любви образ путешествия. Более точно, он представляет любовь в виде средства передвижения, в котором влюбленные движутся к своей общей цели. Очевидно, что с таким же успехом путешествию или средству передвижения могут быть уподоблены многие другие виды человеческой деятельности (споры, переговоры, решения, критика, похвалы и т.п.), так что ценность этой метафоры как описания именно любви уменьшается.

Интересные идеи на ту же тему были выдвинуты В.А. Успенским, рассмотревшим в [9] поведение абстрактных существительных *авторитет, страх, горе* и *радость* в составе метафорических выражений типа *прочный авторитет, хрупкий авторитет, дутый авторитет, Авторитет лопнул,* и т.п.; *Страх нападает на человека, охватывает его, душит, парализует, бороться со страхом, победить в себе страх* и т.п.; *глубокое горе, тяжелое горе, испить горя, хлебнуть горя, Горе обрушивается на человека, давит его, Человек придавлен горем* и т.п.; *Радость разливается в человеке, бурлит, играет, искрится, переплескивается через край* и т.п.

В.А. Успенского интересовало, стоят ли за подобными словосочетаниями единые мотивирующие их образы, способные служить основой для "считывания" с них новых метафорических выражений с данным ключевым словом. На этот вопрос он отвечает положительно. Авторитет, с его точки зрения, мыслится в русском языке как "сплошной шар, в хорошем случае большой и тяжелый, в плохом — маленький и легкий. Ложный авторитет — полый внутри, с настолько тонкими стенками, что может *лопнуть*" [19, с. 145]. "...страх можно мыслить в виде некоего враждебного существа, подобного гигантскому членистоногому или

спруту, снабженному жалом с парализующим веществом" [9, с. 146]. "Горе — это тяжелая жидкость", заполняющая "некоторый бассейн, на дне которого находится человек" [9, с. 147]. Наконец, радость — "это легкая светлая жидкость", "по-видимому, она легче воздуха" [9, с. 147].

Мысль о том, что следует искать мотивирующие образы для больших классов симптоматических и других метафорических выражений, представляется нам в высшей степени плодотворной. Нам хотелось бы, однако, связать такое метафорическое описание с собственно смысловым, как это было предложено в уже упоминавшейся работе В.Ю. Апресян, а с другой стороны, найти независимые свидетельства в пользу предлагаемых для эмоций метафорических прообразов. В противном случае они могут выглядеть произвольными.

Действительно, заключение о том, что *авторитет* концептуализуется в русском языке как полый шар, сделано, в сущности, на том основании, что он может *лопнуть* и быть *дутым*. Но, во-первых, *лопаться* и быть *дутыми* могут быть не только шарообразные физические предметы; ср.: *Банка < веревка, струна, шина, перчатка > лопнула, Стекло лопнуло; дутая трубка,* устар. *дутый пирог*. Следовательно, сочетаемость с *дутый* и *лопнуть* не является достаточным основанием для утверждения, что *авторитет* мыслится в виде шара. Во-вторых, быть *дутыми* и *лопнуть* в переносном смысле могут, например, *судебное дело, обвинение, план, репутация;* ср. также *дутые цифры, дутый отчет, Фирма лопнула, Затея лопнула* и т.п. Если считать это достаточным основанием для вывода, что соответствующие объекты тоже концептуализуются носителями русского языка как полые шары, общая картина получится чересчур непоследовательной и неспецифичной для ключевых слов[2].

2. ТОЛКОВАНИЕ ЭМОЦИЙ

2.1. Сценарий возникновения и развития эмоций.

Как легко заметить, приведенные в 1.1 толкования структурированы. В них выделяются следующие три части: причина эмоции (интеллектуальная оценка какого-то положения вещей), собственно эмоция и ее следствия. Аналогичные, хотя и несколько иначе структурированные компоненты выделяются в [10] и в работах ряда других авторов.

Мы бы хотели дополнить этот сценарий несколькими новыми деталями. Их необходимость диктуется некоторыми общими соображениями о системах, из функционирования и взаимодействия которых складывается поведение человека, во всяком случае в "наивной" картине мира, которая и является предметом нашего описания. Для каждой системы мы укажем орган или органы, в которых она размещена, и семантический примитив, описывающий элементарную форму ее деятельности.

Развивая идеи, изложенные в [15] и [22], мы будем считать, что таких систем семь: 1) восприятие (органы тела, "воспринимать"; роль восприятия в возникновении ряда эмоций отмечена в [23]); 2) физиология (тело в целом, "ощущать"); 3) моторика (части тела, "делать"); 4) желания (воля, "хотеть"); 5) интеллект (ум, "думать о"); 6) эмоции (душа, "чувствовать"); 7) речь (язык, "говорить")[3]. Некоторые системы обслуживаются одним и тем же органом — ср.

---

[2] Иллюстрацией того, насколько рискованными могут быть заключения о мотивирующем образе, сделанные путем простой расшифровки языковой метафоры, является работа [21]. Автор предлагает для слова *время* следующие коннотации: 1. "жидкость" (*Время течет*); 2.1. "эластичная вещь" (*Время тянется*); 2.2 "ценная вещь", "эквивалент денег" (*выиграть время, тратить время*); 3. "живое существо" (*Время идет <терпит, ждет>, убивать время*); 3.1. "летающее существо" (*Время летит*); 3.2. "человек" (*Время покажет, Время торопит*). Очевидно, что такие интерпретации основаны на чересчур буквальном прочтении омертвевших метафор, давно утративших связь с первоначальным образом.

[3] Место *духа* в этой модели пока неясно; несомненно, однако, что *дух* расположен над всеми другими системами, а не рядом с ними.

тело; у некоторых других систем есть, как будто, альтернативные органы — ср. ум и голову, душу и сердце.

Обратим внимание на одну особенность устройства этих семи систем. Они образуют не однородное множество, а последовательность, где каждая следующая система сложнее, чем предыдущая. Самой примитивной системой является восприятие. Оно объединяет человека со всей остальной живой природой. Самая сложная система — речь. Она отличает человека от всей остальной живой природы.

Весьма сложной системой являются и эмоции. Во-первых, за исключением некоторых фундаментальных эмоций типа страха, ярости, удовольствия[4], они свойственны исключительно человеку. Во-вторых, почти всякое эмоциональное переживание активирует все другие системы человека.

Действительно, чтобы испытать, например, *страх*, человек должен (1) воспринять или хотя бы умственно представить некоторое положение вещей — и (2) оценить его как опасное для себя или каких-то других объектов, находящихся в его личной сфере. Результатом этого является собственно эмоция — (3) неприятное чувство, вызванное (1) или (2). Это чувство может проявляться (4) в неподконтрольных субъекту физиологических реакциях его тела (бледность, дрожь и т.п.) и/или (5) в желаниях (например, в желании спрятаться, сжаться и т.п.), которые могут в свою очередь влечь за собой контролируемые субъектом (6) моторную активность или (7) речевую деятельность.

Этот сценарий возникновения и развития эмоций является одним их факторов, определяющих структуру из толкования.

§ 2. Симптоматические выражения: телесная метафора состояний души.

Другой фактор, определяющий структуру и состав толкования эмоций, — чисто языковой. Это — симптоматические выражения двух типов. К первому относятся выражения, описывающие физиологическую, непосредственно наблюдаемую реакцию человека[5] на страх: *белеть <бледнеть> от страха, дрожать <трястись> от страха, сжаться от страха, цепенеть <застывать, не мочь даже пальцем пошевелить> от страха, онеметь от страха, Язык заплетается от страха, Зубы стучат от страха, Голос дрожит <прерывается> от страха, Мурашки пробегают по телу <спине, коже> от страха, Дрожь пробегает по телу <по спине, по коже> от страха* и некот. др.; см. [11], откуда заимствовано подавляющее большинство этих выражений. Ко второму относятся метафорические выражения, отражающие не реально наблюдаемые эффекты, а концептуализацию страха говорящими: *каменеть <столбенеть> от страха, Страх сковывает <парализует> кого-л., Страх пронизал его душу, Страх леденит кровь кому-л., Кровь стынет <леденеет> в жилах от страха* и т.п. Есть и такие выражения, которые образуют промежуточное звено между двумя группами и с равным успехом могут классифицироваться как буквальные или метафорические; ср. *холодеть от страха.*

Анализ этого материала приводит к следующему заключению: реакция души на страх очень сходна с реакцией тела на холод. Действительно, почти все "симптоматические" глаголы, описывающие физические проявления страха, используются и для описания эффектов холода; ср.: *Кончик ее носа*

---

[4] Представление о составе фундаментальных (базовых, генетически обусловленных) эмоций меняется от работы к работе, но страх, ярость и удовольствие выделяются в качестве базовых в большинстве работ.

[5] В силу известного свойства антропоцентричности в языке отражается в основном симптоматика эмоций, присущая человеку. Выражения типа *Собака поджала хвост от страха <ощетинилась от ярости>, Кошка замурлыкала от злости <мурлыкала от удовольствия>* немногочисленны и далеко не так разнообразны, как симптоматические выражения, характеризующие проявления эмоций у человека.

побелел от холода, дрожать <трястись> от холода, сжаться от холода, цепенеть <стыть, не мочь даже пальцем пошевелить> от холода, Руки онемели от холода, Зубы стучат от холода, Дрожь пробегает по телу <по спине, по коже> от холода.

Сходство страха и холода простирается и на область метафоры. Эффекты этих двух состояний метафоризуются в одних и тех же выражениях; ср.: *Холод сковал все его члены, Холод парализует, Кровь стынет в жилах от холода, Холод пронизал его тело.*

Возникает вопрос: является ли такое совпадение сочетаемости у слов со значением психологического и физического состояний (т.е. состояний души и тела) случайным или это проявление какой-то общей закономерности? Некоторые факты указывают на то, что верно второе.

Приведем примеры других эмоций, которые концептуализуются в языке так же, как физические состояния.

Отвращение: поморщиться <сморщиться, скривиться> от отвращения, сделать гримасу отвращения, передернуться от отвращения, тошнит от отвращения, плеваться от отвращения и т.п. Легко заметить, что физиологическая реакция человека на отвращение совпадает с его реакцией на очень неприятный (например, кислый или горький) вкус. Не станем приводить очевидных примеров.

Жалость: Жалость кольнула <пронзает, щемит>, острая жалость; ср. сочетания *Боль кольнула, Боль пронзает, В груди щемило* <о физической боли>, *острая боль.* Близость эмоции и физического ощущения настолько велика, что жалость часто воспринимается как боль, а слово *боль* развивает значение "жалость"; ср.; *щемящее чувство жалости, Сердце разрывалось от жалости, В "Известиях" <...> была опубликована серия очерков об этих изгнанниках — боль за них, сострадание к ним — это был главный и единственный мотив "Парижских дневников"* (Независимая газета, 1992, 23 июня), *Мне просто до боли жалко людей, которые не видят в жизни хорошего* (М. Горький).

Большая группа эмоций (в частности, страсть, ярость, гнев) ассоциируется с болезнью или жаром. Бывает *горячка страсти, лихорадка страсти. От страсти сохнут <сгорают>, Страстью горят <пылают>, Страсть остужают, Страсть остывает, От гнева <ярости> закипают <кипят>, От гнева <ярости> горят глаза, Ярость клокочет в ком-то.*

Ср. также отмеченную В.А. Успенским концептуализацию *горя* как тяжести, засвидетельствованную симптоматикой (*Человек согнулся от горя*) и словосочетаниями типа *Горе давит <придавливает> кого-л., Горе обрушивается на кого-л.* и т.п., см. выше.

Рассмотренный материал можно обобщить следующим образом:

1) Предложенные для эмоций телесные аналоги (страх — холод, отвращение — неприятный вкус, жалость — физическая боль, страсть — жар и т.п.) представляются более мотивированными, менее случайными, чем те, что предлагались ранее (любовь — путешествие, радость — легкая жидкость, страх — спрут и т.п.). Они позволяют объяснить существенно больший круг симптоматических и иных словосочетаний, включая метафорические.

Более того, подобно всякой другой продуктивной модели, например, модели словообразования, они обладают и предсказательной силой. Очевидно, например, что такие не встречающиеся в узусе выражения, как *Его знобило от страха* и *Ему стало жарко от гнева,* будут с большей готовностью приняты и с большей легкостью проинтерпретированы, чем выражения *"Его знобило от гнева* и *"Ему стало жарко от страха.* Дело в том, что два первых выражения эксплуатируют правильные образы, опирающиеся на массовое языковое сознание, а вторые два — неправильные, за которыми не стоит ничего, кроме, быть может, личного опыта конкретного человека (ср. у В. Набокова в "Даре": *Когда же он сердился, гнев его был как внезапно ударивший мороз;* впрочем, здесь речь идет не о внутренних ощущениях человека, а о действии его эмоции на окружающих).

2) Образы "любовь — путешествие", "радость — легкая жидкость", "страх — спрут" как возможные претенденты на место в толковании вызывают сомнение еще и потому, что относятся к чересчур различным областям природы и деятельности человека. Они не складываются ни в какую единую картину.

Предложенные в данной работе образы выстраиваются в более последовательную систему концептуализации эмоций в языке. В основе этой системы лежит единый принцип уподобления того, что недоступно прямому наблюдению (реакции души) тому, что может наблюдаться более непосредственно (реакции тела). Реакции тела, пусть в ограниченном числе случаев, оказываются ключом к тому, что происходит в душе человека.

3) Указанные мотивирующие образы составляют настолько весомую часть языкового сознания говорящих, что в какой-то форме они должны быть введены в толкования соответствующих эмоций.

2.3. Структура толкований.

В этом разделе нам предстоит обсудить две проблемы, связанные со структурой толкования: о месте метафоры в толковании и о логическом строении прототипической части толкования.

Прежде всего, мы предлагаем ввести в состав толкований сравнения типа "душа человека при эмоции X чувствует нечто подобное тому, что ощущает тело человека, когда оно находится под действием физического фактора У или в физическом состоянии У".

"Телесную метафору души" следует включать в толкования лишь тех эмоций, для которых ее можно подтвердить достаточно представительным и последовательно организованным материалом. Существуют большие классы эмоций с ярко выраженной симптоматикой, для которых нет никаких аналогов в области физических явлений. Таково, например, *удивление* и родственные ему эмоции; ср.: *широко открыть глаза от удивления, выпучить глаза от удивления* (нельзя назвать такого физического явления, которое заставляет человека широко открывать глаза). Ясно, что различие между *удивлением* и, например, *страхом* не надо нивелировать подгонкой *удивления* под общую схему толкования.

По нашим наблюдениям, метафору М разумно включать в толкование эмоции А, если удовлетворяется хотя бы одно из следующих двух условий: а) по данному симптоматическому выражению, используемому и для описания реакции души, и для описания реакции тела, единственным образом реконструируется тип эмоции; ср.: *У него зубы стучат, Он похолодел* (эмоция типа страха); б) имеется метафорическое выражение, которое само по себе, даже в отсутствие названия эмоции, способно ее обозначать; ср.: *Он по ней сохнет* (эмоция типа любви).

Тезис о том, что в лексикографические описания слов можно и нужно вводить метафору, не нов. Имеются большие классы выражений, которые иначе, как метафорически, описать нельзя. Таковы, как известно, выражения, описывающие изменение времени. Труднее решить вопрос о том, как распределить различные типы метафор между различными частями лексикографического описания слова.

Мы не можем предложить сейчас общего решения этого вопроса. Заметим, однако, что в силу сформулированного выше принципа случайную метафору типа "радость — легкая жидкость", "горе — тяжелая жидкость" и т.п. не следует включать в толкование. Лингвистический статус такой метафоры не может превышать статуса коннотации, хотя и этот статус следует приписывать лексеме с очень большой осторожностью (см. примеч. 2). По-видимому, даже для установления коннотации недостаточно наличия в языке одного устойчивого словосочетания, одного деривата, одного переносного значения, в котором гипотетическая коннотация какой-то лексемы предстает как элемент лексического значения. Требуется хотя бы несколько согласованных по одному и тому же признаку фактов такого рода.

Перейдем к вопросу о логическом строении прототипической части толкований.

Как известно, входом толкования предикатных лексем в работах Московской семантической школы служит пропозициональная форма вида *X P У*, где *P* — толкуемая предикатная лексема, а *X* и *У* — переменные, обозначающие участников соответствующей ситуации. По умолчанию предполагается, что эти переменные связаны квантором существования.

Прототипическая часть толкования устроена иначе. Она содержит ссылку на общий или по крайней мере обычный случай, т.е. на опыт многих людей, возникающий по конкретному поводу. Это значит, что в прототипической части толкования субъект эмоции должен быть связан квантором множественности ("многие люди", "обычный человек"), а причина эмоции — квантором единственности или определенности. Из этого в свою очередь следует, что для обозначения субъекта и причины эмоции в прототипической части необходимо использовать новые переменные, отличные от X и У, а затем устанавливать соответствие между этими переменными, с одной стороны, и парой (X, У) — с другой[6].

Относительно строгое толкование, учитывающее все эти тонкости, могло бы иметь следующий вид: *X P У* — "такое-то чувство, вызванное у X-а У-м; такое чувство бывает у обычного человека A, когда A воспринимает или представляет конкретный и определенный объект B, который он оценивает или ощущает как имеющий такое-то свойство; душа A чувствует нечто похожее на то, что ощущает его тело, когда A находится в таком-то физическом состоянии, и тело A реагирует на это, как оно реагирует на это физическое состояние; A-у, испытывающему такое чувство, хочется делать то-то и то-то; X в связи с У-м испытывает то же, что испытывает A в связи с B".

Ясно, что такие толкования, при всех их логических достоинствах, концептуально чересчур сложны для словаря. Между тем нашей целью является выработка лексикографически приемлемой схемы толкования эмоций. Поэтому в прототипической части толкования мы пользуемся менее строгими обозначениями. Однако при желании их нетрудно развернуть в формально безупречную нотацию.

Этой цели отвечает и совершенно естественная для лексикографа (и лингвиста вообще) установка на описание "наивной" (языковой, этнолингвистической) картины мира, в нашем случае — наивной картины эмоций; см. об этом выше, разд. 2.1.

2.4. Опыты толкования некоторых эмоций.

С учетом всего сказанного выше предлагаются следующие толкования упоминавшихся нами эмоций (в толковании *страха* мы существенным образом используем соображения, высказанные в [2, 11] и в еще не опубликованной работе В.Ю. Апресян "Синонимический ряд глагола *бояться*".

Страх X-а перед У-м (Он испытывал страх перед будущим) = "неприятное чувство, вызванное у X-а У-м; такое чувство бывает, когда кто-то воспринимает или представляет нечто, что он оценивает или ощущает как очень опасное для себя; душа человека чувствует нечто подобное тому, что ощущает его тело, когда ему холодно; тело реагирует на это как на холод; тому, кто испытывает такое чувство, хочется стать незаметным; если ощущение опасности усиливается, он может потерять контроль над своим поведением и побежать или закричать".

Отвращение X-а к У-у (Он испытывал отвращение к таким забавам) = "очень неприятное чувство, вызываемое у X-а У-м; такое чувство бывает, когда человек воспринимает или представляет нечто крайне неприятное; душа человека чувствует нечто подобное тому, что ощущают его телесные органы от горького или кислого вкуса, очень плохого запаха или прикосновения к грязной вещи, которая может его испачкать; тело человека реагирует на это как на горький или

[6] В сущности, именно таким образом были устроены толкования в первой, самой ранней работе Л.Н. Иорданской; см. определение *огорчаться*, процитированное в разд. 1.1.

кислый вкус, очень плохой запах или соприкосновение с грязным; человеку, который испытывает такое чувство, хочется уйти в другое место или как-то иначе прервать контакт с неприятным объектом; ему трудно скрыть свое чувство, если он продолжает находиться в контакте с неприятным объектом или представлять его себе".

Жалость Х-а к У-у (Его жалость к больным была поистине беспредельной) = "чувство, нарушающее душевное равновесие Х-а и вызванное у Х-а У-м; такое чувство бывает у человека, когда он думает, что некто находится в плохом положении и что это положение хуже, чем он заслуживает; душа человека чувствует нечто подобное тому, что ощущает тело человека, когда ему больно; тело человека реагирует на такое чувство как на боль; человеку, который испытывает такое чувство, хочется изменить положение другого существа так, чтобы оно стало менее плохим"[7].

Страсть Х-а к У-у (Его страсть к этой женщине толкала его на безумные поступки) = "очень сильное чувство, нарушающее душевный покой Х-а и вызванное у Х-а У-м; такое чувство бывает у человека, когда он ощущает непреодолимое плотское влечение к другому человеку; душа человека чувствует нечто подобное тому, что ощущает тело человека, когда у него жар; такое чувство действует на душу человека, как болезнь действует на его тело; тело человека реагирует на такое чувство, как на жар; если такое чувство не удовлетворяется, человек очень страдает; такое чувство может лишать человека способности здраво мыслить и толкает его на необдуманные поступки".

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Wierzbicka A.* Dociekania semantyczne. Warszawa, 1969.
2. *Wierzbicka A.* Semantic Primitives. Frankfurt, 1972.
3. *Иорданская Л.Н.* Попытка лексикографического толкования группы русских слов со значением чувства // Машинный перевод и прикладная лингвистика. 1970. Вып. 13.
4. *Иорданская Л.Н.* Лексикографическое описание русских выражений, обозначающих физические симптомы чувств // Машинный перевод и прикладная лингвистика. 1972. Вып. 16.
5. *Lakoff G., Johnson M.* Metaphors we live by. Chicago: London, 1980.
6. *Wierzbicka A.* Lingua Mentalis. The Semantics of natural language. Sydney; New York, etc, 1980.
7. *Wierzbicka A.* The semantics of emotions: fear and its relatives in English // Australian journal of linguistics. 1990. V. 10. No 2.
8. *Апресян Ю.Д.* Английские синонимы и синонимический словарь // Англо-русский синонимический словарь. М., 1979.
9. *Успенский В.А.* О вещных коннотациях абстрактных существительных // Семиотика и информатика. 1979. Вып. 11.
10. *Заиц як Анна А.* Семантика глагола *бояться* в русском языке // ИАН СЛЯ. 1983. № 1.
11. *Иорданская Л.Н.* Словарные статьи *бояться, восторг, восхищать, гнев, страх* и др. // Толково-комбинаторный словарь современного русского языка: Опыт семантико-синтаксического описания русской лексики. Вена, 1984.
12. *Pajdzińska A.* Jak mówimy o uczuciach? Poprzez analizę frazeologizmów do językowego obrazu świata // Językowy obraz świata. Lublin, 1990.
13. *Iordanskaja L., Mel'čuk I.* Semantics of two emotion verbs in Russian: *bojat'sja* "to be afraid" and *nadejat'sja* "to hope" // Australian journal of linguistics. 1990. V. 10. No 2.
14. *Wierzbicka A.* Cross-cultural pragmatics: the semantics of human interaction N.Y., 1991.
15. *Апресян Ю.Д.* О новом словаре синонимов русского языка // ИАН СЛЯ. 1992. № 1.
16. *Ekman P.* Expression and the nature of emotion // Approaches to emotion. N.Y., 1984.
17. *Ortony A., Clore G.L., Collins A.* The cognitive structure of emotions. Cambridge, 1988.
18. *Kövecses Z.* Emotion concepts. Frankfurt-am-Main, 1990.
19. *Fries N.* Emocje; Aspekty eksperimentalne i lingwisticzne // Wartościowanie w języku i tekście. Warszawa, 1992.
20. *Oatley K.* Best laid schemes: the psychology of emotion. Cambridge, 1992.
21. *Перцова Н.Н.* К понятию вещной коннотации // Вопросы кибернетики. Язык логики и логика языка. М., 1990.
22. *Apresjan Ju.* Systemic lexicography // Euralex'92. Proc. 1—11. Pt 1. Ser. A. V. 2. Tampere, 1992.
23. *Арутюнова Н.Д.* Типы языковых значений. Оценка, событие, факт. М., 1988. С. 136.

---

[7] Независимо от авторов идея уподобления "страх—холод", "жалость—боль" была высказана Е.В. Урысон в разработанных ею, но еще не опубликованных синонимических рядах *страх* и *жалость*.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1993

© 1993 г. ЮРЧЕНКО В.С.

РЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ И СТРУКТУРА ЯЗЫКА*

(К философии языкознания)

В лингвистике и логике в XX в. произошла смена научной парадигмы: начиная с античности, на протяжении столетий язык был ориентирован преимущественно на вещь — предмет и в его центр помещалось имя — слово; однако в наше время был провозглашен тезис: "Мир есть совокупность фактов, а не вещей" [1, с. 31], и язык был переориентирован на факт — событие. В связи с этим на передний план выдвинулись высказывания и его пропозициональная функция — предикат. Короче говоря, лингвистика "вещи" сменилась лингвистикой "факта" [2]. Новая лингвистика добилась громадных успехов, о которых здесь нет возможности говорить, однако выявились и ее слабые места — "аномалии", по выражению Т. Куна [3], которые, как представляется, не могут быть устранены в рамках данной парадигмы. На уровне синтаксиса задачу в общем виде можно сформулировать так: необходимо синтезировать, объединить в одно целое разные стороны лингвистического объекта, в частности: единицу языка — предложение и единицу речи — высказывание; их субъектно-предикатную и предикатно-аргументную основы; их когнитивный и грамматический планы; их семантику и синтагматику; атрибутивную и предикативную структуры; пропозицию предложения и его модальную рамку; грамматическое и актуальное членения предложения — высказывания; структуру предложения и систему частей речи; различные типы предложения и высказывания и т.д. Однако такой синтетический подход к языку, очевидно, нельзя осуществить в рамках современной научной парадигмы. Нужна новая — третья парадигма. Переход к ней, как представляется, будет сопряжен с дальнейшей переориентацией языка, который должен быть соотнесен непосредственно с экстралингвистической действительностью в целом, потому что, перефразируя Витгенштейна, можно сказать: мир есть космос, Вселенная, а не совокупность вещей или фактов. Таким образом, лингвистика "факта" должна смениться, а точнее, дополниться лингвистикой "мира", "космоса". Впрочем, следует заметить, что, зарождаясь в рамках мифологического мышления, лингвистика с самого начала стремилась постичь роль языка в универсуме — в мире в целом, так что в какой-то мере речь должна идти о том, чтобы на новом витке исторического развития науки о языке вернуться к ее истокам [4]. Но для этого необходимо раскрыть связь языка с реальным временем.

"Мы наделены внутренней стрелой времени", — отмечает видный современный физик И. Пригожин. При этом "стрела времени не противопоставляет человека природе. Наоборот, она свидетельствует о том, что человек является неотъемлемой составной частью эволюционирующей Вселенной". "Время — не только существенная компонента нашего внутреннего опыта и ключ к пониманию истории

---

* *От редакции.* В настоящее время, по-видимому, восстанавливаются в правах такие общенаучные понятия, как 'философия науки', "философия культуры", "философия истории", "философия техники" и т.д. (см., например, "Современная западная философия. Словарь", М., 1991). В этой связи Редакция считает возможным, в виде опыта, отразить эту тематику и на страницах нашего журнала. Основную мысль статьи В.С. Юрченко в этой связи можно было бы резюмировать как попытку осмыслить различные отношения зависимостей, изучаемые лингвистикой, как отношения линейного времени, т.е. как одну из общих проблем "философии языкознания"

человечества как на уровне отдельной личности, так и на уровне общества. Время — это ключ к пониманию природы" [5, с. 252]. Время — это также ключ к пониманию языка, на что впервые указал Ф. де Соссюр, который говорил: "Означающее, являясь по своей природе воспринимаемый на слух, развертывается только во времени и характеризуется заимствованными у времени признаками: а) *оно обладает протяженностью* и б) *эта протяженность имеет одно измерение* — это линия. Об этом совершенно очевидном принципе сплошь и рядом не упоминают вовсе, по-видимому, именно потому, что считают его чересчур простым, между тем это весьма существенный принцип и последствия его неисчислимы... От него зависит весь механизм языка" [6, с. 103].

Важно подчеркнуть, что Ф. де Соссюр ограничил воздействие реального времени на язык лишь сферой звуковой формы, полагая, что такого воздействия не испытывает смысловое содержание, или семантика языка. Фактически данный вопрос решается в лингвистике указанным образом до сих пор. В этом, очевидно, кроется причина того, что те неисчислимые последствия влияния реального времени на язык, которые предсказывал Ф. де Соссюр, все еще остаются нераскрытыми. Между тем, как показывает теоретический анализ, время оказывает воздействие на язык прежде всего на уровне грамматической (категориальной) семантики, т.е. наиболее общего смыслового содержания предложений и слов. Как пишет Г. Рейхенбах, "временнóй порядок возможен в такой области, которая не имеет никакого пространственного порядка, а именно в сфере психического опыта человека" [7, с. 130]. Перед лингвистикой стоит задача — показать, как взаимосвязаны на линейной оси реального времени семантическая и формальная структуры естественного человеческого языка.

В этой связи интересно также проанализировать рассуждения о линейности языка У. Чейфа. С одной стороны, он пишет: "Невозможно представить себе, что семантический ареал имеет только одно измерение, подобно временнóму измерению в фонетической области". А с другой стороны, он выделяет, по сути дела, линейные семантические оси "деятель — действие", "действие — цель" и др., считая их полярными, т.е. ограниченными двумя членами, "в то время как для временнóй фонетической оси такого ограничения нет" [8, с. 17]. Следует согласиться с тем, что линейная семантическая ось имеет ограничение, но она изначально ограничена не двумя, а тремя членами, что видно из рассуждений самого У. Чейфа: так, названные им две "полярные" семантические оси представляют собой единое трехчленное целое: деятель — действие — цель. Обычно, когда возражают против линейной организации семантического ареала, имеют в виду прежде всего лексическую (вещественную) семантику, которая действительно носит в значительной мере "вертикально" иерархический и симультанный характер. Однако в данном случае речь следует вести о грамматической категориальной семантике, заключенной в инвариантной структуре предложения и системе основных частей речи, т.е. должна быть дана экспликация таких кардинальных терминов-понятий, как субъект (предмет), выраженный через подлежащее (имя существительное), предикат (опосредствующий процессуальный признак), выраженный через сказуемое (глагол), атрибут (непосредственный признак), выраженный через определение (имя прилагательное), "третий" поликомпонентный член (различные опосредствованные признаки), представленный как разного рода обстоятельства и дополнения (наречие и косвенные формы существительного). Как будет показано ниже, именно данные элементы категориальной семантики разграничены и соотнесены действием принципа линейности.

Универсальная база языка многими лингвистами строится таким образом, что в ней отсутствует линейное упорядочение элементов. По этому поводу Ч. Филлмор пишет: "Споры о том, возможна ли универсальная база языка, были связаны главным образом с вопросом о том, задается или не задается правилами универсальной базы (если таковая существует) линейный порядок

элементов предложения. Распространенное мнение состоит в том, что универсальными базовыми правилами задаются лишь нужные синтаксические отношения, а приписывание линейного порядка составляющим базовой структуры осуществляется в каждом языке по своим собственным правилам" [9, с. 370—371]. Здесь некорректным представляется разрыв между синтаксическими отношениями и линейным упорядочением элементов предложения. Линейность должна пониматься не как простое следование во времени элементов предложения, но прежде всего как способ их связи на линейной временно́й оси. Суть лингвистической линейности не в том, что, например, слово *пишет* следует во времени за словом *ученик*, а слово *хорошо* — за словом *пишет*, а в том, что на временно́й оси слово *хорошо* связано со словом *ученик* через слово *пишет* (принцип временной промежуточности).

Реальное время характеризуется двумя фундаментальными физическими свойствами: одномерностью (линейностью) и однонаправленностью (необратимостью [10, с. 298; 11, с. 43]). Оба эти свойства оказывают определяющее воздействие на строение естественного человеческого языка. На линейной однонаправленной оси реального времени могут быть построены два и только два типа структур: двучленная структура с асимметричным отношением и трехчленная структура с транзитивным (опосредствованным) отношением. В основе первой структуры лежит временно́е отношение "раньше — позже": если из двух возможных событий одно наступило раньше, то второе может наступить только позже. Тем самым между этими двумя событиями устанавливается асимметричное отношение: предыдущее событие — последующее событие. В основе второй структуры лежит временно́е отношение "прошедшее — настоящее — будущее": если три события последовательно наступили одно за другим, то первое и третье события могут быть связаны, соотнесены только через промежуточное второе событие. Тем самым между этими тремя событиями устанавливается транзитивное (опосредствованное) отношение: исходное событие — промежуточное (связующее) событие — конечное событие. В основе этого отношения лежит принцип временной промежуточности: прошедшее связано с будущим через настоящее. А.М. Мостепаненко пишет: "Временно́й порядок определяет отношение временно́й промежуточности для событий любого процесса. Он устанавливает, в частности, что из трех различных событий *A*, *B*, *C*, относящихся к одному и тому же процессу, какое-то одно, например *B*, происходит между двумя другими — *A* и *C*" [12, с. 67]. Легко видеть, что транзитивное (опосредствованное) отношение скрыто содержит в себе два бинарных асимметричных отношения: первое событие асимметрично связано со вторым, а второе — с третьим. В естественном человеческом языке "событиями", располагающимися на линейной однонаправленной оси реального времени, являются: в "глубине" — виртуальные семантические конструкты, предмет и его признаки; на "поверхности" — дискретные номинативные знаки, слова. Велимир Хлебников, поэт и математик, прозорливо угадал наличие в структуре времени двух типов отношений: бинарных и тернарных. Он восклицал: "Я нашел ключ к часам человеческим... Слушайте мой закон: Время построено на ступенях двоек и троек. Этих наименьших четных и нечетных цифр. Вот она, древняя славянская вера в чет и нечет. Всякое умножение на самое себя двоек и троек есть природа Времени" (цит. по [13]). Но такое умножение есть и природа языка: в речи, которая представляет собой процесс актуального развертывания языка во времени, происходит "умножение" двоек (атрибутивных структур) и троек (предикативных структур).

А. Эйнштейн писал: "Для применения своего метода теоретик в качестве фундамента нуждается в некоторых общих предположениях, так называемых принципах, исходя из которых он может вывести следствия. Его деятельность, таким образом, разбивается на два этапа. Во-первых, ему необходимо отыскать эти принципы, во-вторых — развивать вытекающие из этих принципов следствия" [14, с. 5]. Теория языка также должна опираться на четкие исходные понятия

и принципы — аксиомы, которые связывают эти понятия. Таких понятий — два. предмет и признак. Окружающий человека мир, от микрочастицы до Вселенной, имеет в плане языкового сознания предметно-атрибутивный характер: мир — это движущаяся материя (предмет), обладающая явными или скрытыми свойствами (признаки). Б.А. Серебренников отмечал: "Любая человеческая речь, даже самая примитивная, предполагает четкое осознание предмета и его признаков". "Сущность предложения во всех языках мира заключается в развертывании признаков предмета. До осознания признаков не могло быть никакой речи". "Вне этого условия сама речь не представляется возможной. Поэтому всякие рассуждения по поводу того, что, будто бы, первоначально в языке не было четкого разделения частей речи, представляются нам совершенно не обоснованными" [15, с. 238]. При этом существенны два момента: 1) в принципе и в каждом отдельном случае предмет — один, а признаков у него — бесконечно много; 2) конструкты "предмет — признаки" в языковом мышлении образуют структуру, в которой предмет — главный, ядерный член, а признаки — зависимые, периферийные члены. Эти исходные принципы — аксиомы — ведут к фундаментальной антиномии языкового мышления и речевой коммуникации: реально и потенциально предмет обладает неограниченным множеством признаков, между тем как в одном акте познания предмета и сообщения о нем может по необходимости содержаться только конечное число их. Решение этой антиномии состоит в том, что вместо дурной потенциальной бесконечности образовалась актуальная конечная предметно-признаковая структура языка, на базе которой и происходит бесконечный процесс языкового мышления и речевой коммуникации. Необходимо также отметить, что неопределяемость исходных понятий "предмет" и "признак" не является абсолютной. Они не получают своего эксплицитного определения лишь на начальном этапе построения теории синтаксиса языка. Но они постепенно раскрываются в процессе, а тем более — в результате такого построения. Кроме того, они могут иметь свое толкование в других областях знания, например в логике.

Глубинная семантическая структура языка строится на линейной однонаправленной оси реального времени. При этом на базе транзитивного отношения строится ее предикативная часть, которая состоит из трех членов, а третий член относится к первому через промежуточный второй член. Два ее признаковых элемента располагаются справа от предмета в порядке прогрессивной последовательности, адекватной направлению реального времени (*солнце светит ярко*). На базе асимметричного отношения строится атрибутивный фрагмент структуры. Его зависимый признаковый элемент располагается слева от предмета в порядке регрессивной последовательности, обратной стреле времени (*весеннее солнце*). Развертываясь по одной из граней четырехмерного физического мира — по линейной однонаправленной оси реального времени, коммуникативная единица языка получает возможность отражать (а также выражать и сообщать) содержание этого мира в виде человеческой мысли, которая имеет две формы: субъектно-предикатную и предикатно-аргументную (пропозициональная функция).

Таким образом, исходная семантическая структура языка имеет вид: непосредственный признак — предмет — опосредствующий признак — опосредствованный признак. Эта структура не просто оптимальна — она отличается внутренней красотой: в ней количество признаков и самое минимальное различие между ними находятся в зависимости от их положения в структуре, прежде всего от их отношения к ядерному члену — предмету. Тем самым сливаются в органическое единство форма и содержание, а также внеязыковая и внутриязыковая обусловленность признаков. Сколько признаков характеризуют грамматический предмет, как они связаны, соотнесены с ним, какова их самая общая природа — все это обусловлено не чем иным, как реальным временем. Но это значит, что время обусловливает объем и общие свойства структуры предложения и системы частей речи, грамматики в целом. Вместе с тем глубинная семантическая структура

языка внутренне динамична, поскольку у предмета не три, а потенциально большее число признаков, и языковое мышление, естественно, "стремится" их отразить. Структура подобна пружине — она испытывает напряжение и способна растягиваться, причем точкой ее дальнейшего разрастания, ветвления служит крайний опосредствованный признак, который как бы дробится и становится поликомпонентным членом.

Существенно, что исходная пропозиция языка содержит три элемента (предмет — первый признак — второй признак) и "растянута" на линейной однонаправленной оси реального времени. В этих условиях срединный элемент — опосредствующий признак (глагол) — не только связывает второй признак с предметом, но и разделяет их. Это делает пропозицию рыхлой, разламывающейся. Очевидно, такая структура может существовать и функционировать как целое только при наличии человека — говорящего. Последний призван связать, соотнести признаки (акциденции) с предметом (субстанцией). Но это значит, что связь между элементами предикативной структуры, как и сама структура в целом, имеет не только объективный, но и субъективный характер. Субъективность (модальность) проявляется в следующем: говорящий определяет реальность — нереальность связи двух предикативных признаков с предметом — субстанцией, а также время этой связи, избрав точкой отсчета "момент речи", т.е. момент произнесения предложения (высказывания). Именно модальность создает условия для перевода синтагматики (язык изначально линеен) в парадигматику. Под влиянием модальности, скрытой опосредствованным признаком исходного предмета возникает не только внутреннее свойство — качество, но и его отношение к миру — к другому предмету, а также к пространству и времени. Тем самым в позиции опосредствованного признака формируется парадигматическая ("вертикальная") ось предложения — ось потенциальных именных предикатов: квалитативного, локального, темпорального, объектного, границы между которыми размыты промежуточными элементами (ср. аналитические и синтетические суждения по Канту [16, с. 111]).

В качестве центрального члена предложения глагол, очевидно, во всех языках мира так или иначе характеризуется двумя видами свойств. Во-первых, формы глагола указывают на то, в какое время (относительно момента речи) происходило событие, описанное в предложении. Поэтому опосредствующий признак является вместе с тем процессуальным признаком, т.е. таким, который выступает как действие предмета, протекающее во времени. Во-вторых, в глаголе, его морфемной и семантической структурах, находят свое отражение окружающие его члены: слева — грамматический предмет (субъект); справа — различные опосредствованные признаки (обстоятельства и объекты). Подчеркнем, что указанные два важнейших свойства центрального члена предложения — глагола-сказуемого — обусловлены в конечном счете физическими свойствами реального времени, в частности временны́м транзитивным отношением.

И в традиционном, и в современном языкознании объективная модальность в сущности всецело замыкается на глаголе: она трактуется как время, а также реальность или нереальность д е й с т в и я, выраженного глаголом и производимого субъектом. Такой подход ведет к выключению из сферы действия объективной модальности заглагольных членов — обстоятельств и дополнений. А поскольку это так, то получается, что последние как бы не нужны для исходной структуры предложения. В этом и состоит одна из причин классической антиномии главных и второстепенных — заглагольных — членов (вторая причина состоит в том, что сокращенное предложение может выражать актуальное суждение, ср., например: *Ребенок спит*, но *Ребенок спит на диване*). Между тем более глубокий анализ языковой действительности показывает, что объективная модальность есть о т н о ш е н и е — через глагол-сказуемое — заглагольных компонентов к исходному предмету, причем грамматическое время указывает на время этого отношения (относительно момента речи), а грамматическое наклонение — на его

реальность или нереальность (с точки зрения говорящего). Данный подход снимает указанную антиномию, поскольку заглагольные компоненты — обстоятельства и дополнения — попадают в сферу действия объективной модальности и, следовательно, непосредственно включаются в качестве конститутивных в инвариантную структуру предложения. Кроме того, происходит объединение, синтез морфологического (глагольного) времени – наклонения и синтаксического (предложенческого) времени — наклонения.

В связи с наличием в предложении конструктивно-грамматического ядра — глагольного сказуемого предикативная структура, которая изначально характеризуется транзитивным (опосредствованным) отношением, распадается на двучленные блоки, которые характеризуются асимметричным отношением (ср.: *ученик пишет; пишет грамотно*). Более того, формальная грамматическая связь (сцепление) обычно устанавливается в пределах такого двучленного блока, т.е. между рядом стоящими компонентами, тогда как исходное трехчленное целое часто не получает прямых формальных показателей связи. Поэтому предикативная часть основного типа предложения похожа на цепочку из трех звеньев, а ее внутренний стержень (транзитивное, или опосредствованное отношение) обычно остается невидимым.

Существенно, что языковая семантическая структура "непосредственный признак — предмет — опосредствующий признак — опосредствованный признак" опирается на бинарную логическую (когнитивную) структуру "предмет — всеобщий признак". Она является результатом развертывания на оси времени вокруг логико-грамматического предмета его трех признаков, обобщенных на когнитивном уровне в виде предельно абстрактного, всеобщего признака. Бинарная структура "предмет — всеобщий признак" есть виртуальная субъектно-предикатная основа четырехчленного предложения, причем атрибутивная часть (непосредственный признак — предмет) опирается на логический субъект, а предикативная часть (предмет — опосредствующий признак — опосредствованный признак) — на логический предикат. В процессе дальнейшего формирования языкового мышления образуется еще одна основа предложения — предикатно-аргументная. При этом если субъектно-предикатная основа лежит как бы вне языка и до языка — до его специфически грамматического строя, то предикатно-аргументная основа находится в самом языке — она в большей мере связана со спецификой грамматического строя предложения. Предикатно-аргументная основа предполагает наличие в структуре предложения не только исходного (ядерного) предмета, но также парадигматической оси, на которой располагаются заглагольные предметные актанты. А в центре предложения должен стоять семантически и морфологически развитый глагольный предикат, в котором "отражены" окружающие его члены — предметные переменные. Такой развитый глагольный предикат (а также связанный с ним глагольно-именной) и служит как раз ядром пропозициональной функции — предикатно-аргументной основы предложения. Если предложение как субъектно-предикатная структура отражает всеобщую предметно-признаковую сущность мира, то предложение как предикатно-аргументная структура отражает разнообразные события, ситуации ("факты" в смысле Витгенштейна). Наполненная лексическим (вещественным) содержанием, грамматическая структура предложения актуализируется в речи, где виртуальное суждение S — P стохастическим образом репрезентируется через актуальное членение высказывания. А это значит, что субстратное содержание мысли, на которое опирается семантическая структура предложения, опосредствованным образом связано с движением — формой мысли в речи. Таким образом, логическое суждение в целом, т.е. выраженное через язык и речь, есть единство двух структур: виртуальной (предмет — признак) и актуальной (тема — рема).

В современном синтаксисе субъектно-предикатная структура обычно сводится к предикатно-аргументной, в связи с чем субъект отождествляется с объектом и оба рассматриваются как аргументы — предметные переменные, входящие в

пропозициональную функцию. Эта процедура связана с отождествлением, неразграничением глагольного и именного предикатов и опирается на это неразграничение. Такое механическое обобщение двух логических (когнитивных) структур, а точнее, поглощение пропозициональной функцией субъектно-предикатной конструкции, возможно, хорошо "работает" в логике, но в лингвистике оно не позволяет понять глубинные свойства предложения, а тем более органически связать в единое целое его различные аспекты. Между тем теоретический анализ показывает, что более фундаментальной является как раз субъектно-предикатная структура (предмет — всеобщий признак), а предикатно-аргументная структура — более поверхностной и опирается на нее. Последняя, как сказано выше, предполагает наличие в языке семантически и морфологически развитого предиката, который как раз и становится ядром пропозициональной функции. Важнейшая задача современного синтаксиса — показать, как "надстраивается" предикатно-аргументная структура над субъектно-предикатной, не поглощая ее.

Таким образом, коммуникативная единица языка — речи имеет четыре основы: физическую (реальное время) и три логических (субъектно-предикатную, предикатно-аргументную, темо-рематическую).

Исходное предложение, представленное через двусоставно-глагольный тип, избыточно: глагольный предикат совмещает в себе модальность и категориальное (а также вещественное) значение; но заглагольный член, обстоятельство — дополнение, тоже имеет свое категориальное (и вещественное) значение, скрыто преломляющееся через ту же модальность. Следовательно, исходное предложение содержит в сущности два предиката: явный глагольный и скрытый именной. Из данного факта вытекает вывод: всеобщий логический (когнитивный) предикат на уровне основного типа предложения представлен расчлененно — глагольным (явным) и именным (скрытым) предикатами. Но это значит, что нет параллелизма между логической структурой мысли (S — P) и грамматической структурой исходного предложения. Вторая структура перерастает первую.

Избыточность такого предложения устраняется двумя путями: во-первых, путем элиминирования заглагольного члена, что приводит к образованию так называемого нераспространенного, сокращенного предложения; во-вторых, путем элиминирования категориального и вещественного содержания глагольного компонента, что низводит его до уровня связки и обусловливает образование двусоставного именного предложения.

Элиминация заглагольного члена ведет к троякого рода последствиям для оставшейся части: 1) она не меняет своего значения и сохраняет семантическую полноту (ср.: *Ребенок спит на диване — Ребенок спит*); 2) она не меняет своего значения, но становится семантически неполной (ср.: *Брат подарил сестре книгу — Брат подарил*); 3) она меняет свое значение и приобретает новую семантическую полноту (ср.: *Дочь поет романс — Дочь поет*).

Редукция категориального и вещественного значений глагольного сказуемого ведет к тому, что глагол превращается в связку, а заглагольный член преобразуется в именной предикативный член. Образно говоря, сказуемое, как и природа, не терпит пустоты: в той мере, в какой редуцируется глагольный предикат, в той же мере на основе заглагольного члена формируется именной предикат. Этот процесс осуществляется на базе неопределенно большого множества конкретных предложений и имеет постепенный, недискретный характер. Поэтому нет четкой, явной границы: 1) между простым глагольным сказуемым и сказкой; 2) между приглагольным "второстепенным" членом и именным предикативным членом. Таким образом, данный процесс ведет к тому, что двусоставное глагольное предложение постепенно трансформируется в двусоставное именное. Последнее уже не является избыточным: оно содержит один грамматический предикат — именной, а глагольный предикат в нем низведен до связки. Поэтому двусоставное именное предложение параллельно двучленной структуре мысли (S — P), которую оно выражает. С определенной точки зрения, это — идеальное предложение.

Если процесс редукции идет дальше и глагольный (модальный) компонент устраняется полностью, то предложение преобразуется в атрибутивную синтагму. Главное структурное различие между атрибутивным признаком и предикативным признаком состоит в том, что первый относится к субъекту-подлежащему прямо, непосредственно, а второй опосредствованно — через глагольную связку, о чем писал еще А.А. Потебня [17, с. 111].

Таковы важнейшие деривационные процессы, связанные с редукционными изменениями в группе глагольного предиката. Они приводят к тому, что субъект получает три предиката, но в разных типах синтаксических структур: в исходном двусоставном предложении — свернутый глагольный (*ученик пишет*), в двусоставном именном — развернутый именной (*Ночь была темна*), в словосочетании — деградированный, т.е. атрибут (*темная ночь*).

Переходя к частям речи, надо отметить, что кардинальная антиномия (контроверза) здесь такая: в языке объективно выделяется четыре основных части речи: прилагательное, существительное, глагол и наречие, между тем как в синтаксических теориях в исходную инвариантную структуру предложения включаются либо две части речи — существительное и глагол, либо одна — глагол. Поэтому, хотя обычно ученые a priori признают справедливость тезиса о единстве (тождестве) предложения и частей речи, фактически они оказываются в положении путника, очутившегося перед пропастью, поскольку и в классическом, и в современном языкознании существует разрыв между структурой предложения и классификационной системой частей речи. Часто этот разрыв преодолевается чисто механически — либо путем устранения одного из двух рядов, либо путем простого сведéния предложенческого ряда к частеречному или наоборот.

Решение проблемы частей речи находится в тупике потому, что не решена проблема предложения. В самом прямом и глубоком смысле, это — одна проблема. Структура предложения и система частей речи должны быть выделены на одной основе, и только затем они могут и должны быть разведены по разным сферам языка. Лингвистика уже достаточно полно выявила в разных языках и подробно описала все части речи, их разновидности и варианты. Однако остается не сделанным главное — не раскрыта объективно языковая иерархия и система частей речи. Части речи до сих пор остаются не структурированными; их систематизация в значительной мере строится на классификационных основаниях. Как известно, таких оснований — три: семантическое, синтаксическое, морфологическое. Преодоление классификационного подхода предполагает, в частности, решение вопроса об иерархии данных оснований. Семантическое и синтаксическое основания должны быть внутренне взаимосвязаны, объединены в единое целое, и на базе этого целого должен быть объяснен морфологизм частей речи.

Здесь важно прежде всего следующее. Категориальная семантика частей речи имеет предметно-признаковый характер: существительное обозначает предмет, а прилагательное, финитный глагол и наречие — его признаки: соответственно непосредственный, процессуальный и опосредствованный. В сущности эти же значения составляют и глубинную семантику предложения: подлежащее обозначает предмет — субъект, а определение, сказуемое и заглагольный член обозначают его признаки (в широком смысле): соответственно непосредственный — атрибут, процессуальный — предикат и опосредствованные — обстоятельства и объекты. Таким образом, предложение и части речи представляют собой, с определенной точки зрения, единую сущность. У них одни и те же категориальные значения. Это предугадал гениальный А.А. Потебня, который говорил, что первой особенностью предложения является то, что в него входят части речи. Очевидно, в эту формулу надо внести только одну поправку, именно: в том единстве, которое образуют предложение и части речи, примат принадлежит предложению. Поэтому более строгой формулировкой будет такая: первая особенность частей речи состоит в том, что их категориальные значения "выстраиваются" (структурируются) на линейной оси предложения.

Категориальные значения частей речи служат субстратом, на котором надстраиваются лексические (вещественные) значения. Благодаря этому части речи получают возможность обособиться, отделиться от структуры предложения. А поскольку над категориальным значением каждой части речи надстраивается не одно, а множество лексических значений, то части речи выступают как грамматические классы слов. Знак (слово), семантика которого состоит из категориального и вещественного значений, способен выполнять номинативную функцию — называть разнообразные классы предметов и классы их свойств (признаков). Отчуждение или обособление частей речи от структуры предложения связано и с тем, что в рамках парадигмы одной части речи могут объединяться формы слов, лежащие на разных уровнях или в различных звеньях структуры предложения и системы синтаксиса, например именительный и косвенные падежи существительного, финитная и инфинитная формы глагола, полная и краткая формы прилагательного и т.д. Независимость и автономия частей речи поддерживаются также их морфологическими формами как таковыми (флексиями, суффиксами, префиксами и пр.), однако что касается морфологических значений — категорий, то они обусловлены особенностями структуры предложения. Важнейших категорий — три: время и наклонение у глагола и падеж у существительного. Все три категории взаимосвязаны и обусловлены: первые две (глагольные) — синтагматической осью, третья (именная) — парадигматической осью предложения. Наличие в предложении заглагольного члена обусловливает необходимость времени и наклонения, а наличие этих последних создает возможность для категории падежа. Именно благодаря объективной модальности — времени и наклонению говорящий может включить в предложение в качестве опосредствованных признаков исходного предмета (прямой падеж) не только его внутреннее свойство — качество, но и другие предметы — объект, адресат, орудие и т.д. (косвенные падежи).

Однако для адекватного решения проблемы частей речи недостаточно правильно вычленить инвариантную структуру предложения и, в частности, определить ее объем. Необходимо решить еще две синтаксические задачи: 1) рассмотреть вопрос о репрезентации грамматической структуры предложения через актуальную единицу речи — высказывание; 2) выявить системно-генетическую (деривационную) связь между различными типами, или моделями, предложения, т.е. раскрыть систему в синтаксисе Решение первой задачи позволит понять роль и место в системе частей речи модальных слов (*несомненно, вероятно* и др.), поскольку эти слова служат регуляторами отношений между компонентами актуального членения — темой и ремой [18]. Решение второй задачи позволит осмыслить появление в языке вторичных, производных "частей речи": глагольной связки, краткого прилагательного, безличного местоимения, безличного глагола, категории состояния, поскольку все они являются продуктами синтаксической деривации — преобразования исходного предложения в разнообразные производные (подробнее см. [19]).

Известно, как много неудобств доставляют составителям грамматик причастия, деепричастия, местоимения. Они не вмещаются ни в какие классификационные схемы, ломают их изнутри. Они прямо и однозначно не становятся на те же классификационные основания, на которых учеными размещаются остальные части речи. Более того, они (конечно, наряду с другими факторами) показывают, что проблема частей речи не есть классификационная проблема и что ее корни лежат в синтаксисе — в структуре предложения. Их место в системе частей речи может быть определено лишь в том случае, если эта система будет адекватно структурирована на синтаксическом субстрате. Важнейшая особенность иерархии частей речи состоит в том, что система основных частей речи (прилагательное, существительное, финитный глагол, наречие) осложнена двумя подсистемами: с одной стороны — глагольно-именной (причастие, инфинитив, деепричастие), а с другой — местоименной (местоименные прилагательные, местоименные

существительные, местоименные наречия). При этом и система основных частей речи, и обе ее подсистемы опираются на четырехчленную инвариантную структуру предложения и изоморфны ей [20].

Наконец, полное решение проблемы частей речи предполагает, что из знаменательных слов (прилагательное, существительное, глагол, наречие) будут получены на путях деривации слова других классов: местоименные, служебные, междометные. Суть такой деривации состоит в том, что из инвариантной структуры знаменательных слов последовательно устраняются компоненты их семантики: редукция лексического значения ведет к образованию местоименных слов, которые сохраняют категориальное и грамматическое значения; редукция лексического и категориального значений ведет к образованию служебных слов, которые выражают грамматическое значение; редукция лексического, категориального и грамматического значений ведет к образованию междометных слов, которые лишены собственно лингвистических значений и для которых релевантным становится их звуковой комплекс сам по себе.

Опираясь на сказанное, можно дать следующие определения (дефиниции) двух фундаментальных понятий языкознания — понятий грамматического предложения и частей речи. Исходное предложение — это построение на линейной однонаправленной оси реального времени четырехчленная (в раскладке 1 + 3: один предмет и три признака) синтаксическая структура языка, которая характеризуется двусоставностью (способностью выражать двучленную стрктуру мысли S — P) и предикативностью (наличием финитного глагола, выражающего модальность — наклонение и время) и которая через категорию лица включена в структуру речевого акта (говорящий — слушающий — предмет речи). Части речи — это структурированные на линейной оси предложения категориальные значения (непосредственный признак — предмет — опосредствующий признак — опосредствованный признак), которые служат субстратом для разнообразных лексических значений, что ведет к отчуждению (автономии) от предложения и формированию номинативных знаков — классов слов, обычно получающих особое морфологическое строение и связанный с ним комплекс грамматических функций.

Можно высказать предположение, что структура "непосредственный признак — предмет — опосредствующий признак — опосредствованный признак" содержится в любом языке мира, хотя, конечно, выражается в разных языках по-разному. При тождестве глубинной семантической структуры различие между языками касается прежде всего фонетического и морфемного облика отдельных слов, их конкретного смыслового содержания, а также способов сцепления их друг с другом. Но здесь мы подошли к вопросу о влиянии на язык физических свойств пространства. Следует, очевидно, признать, что естественный человеческий язык, с точки зрения онтологической, существует и функционирует не только во времени, но и в пространстве. При этом если физические свойства реального времени (одномерность и однонаправленность) определяют в языках общее, то пространственные параметры (прежде всего пространственный разрыв между говорящим и слушающим, социальными группами людей, племенами и пр.) порождают различия между ними. Короче говоря, реальное время определяет Язык (единый), а пространство формирует языки (многие).

К решению проблемы языковых универсалий обычно идут индуктивным путем: сопоставляя возможно большее число разноструктурных языков, выявляют их общие особенности — свойства [21, с. 535—536]. Часто эти свойства имеют характер импликаций (типа: если субъект в языке стоит перед глаголом и объект стоит перед глаголом, то в языке есть падеж; если субъект стоит после глагола и объект стоит после субъекта, то прилагательное помещается после имени и т.д.). Такие общие свойства и рассматриваются как языковые универсалии: полные (присущи всем языкам) и неполные (присущи ряду языков). Думается, что на этом пути нельзя подойти к инвариантному языку-типу, поскольку не представляется возможным, во-первых, отграничить всеобщие существенные

свойства языка от его хотя и всеобщих, но не существенных свойств, а во-вторых — структурировать эти свойства, т.е. связать их в цельную глубинную основу языка. Поэтому данный подход должен быть дополнен другим, именно: из всего многообразия языков взять несколько или даже один высокоразвитый язык и, анализируя его отношение к мышлению и внеязыковой действительности, выявить его инвариантную коммуникативную основу. Затем посмотреть, содержится ли этот инвариант (скажем, русского языка) в других — иноструктурных — языках, и если да, то каким образом он в них проявляется. Этот путь является дедуктивно-индуктивным, поскольку здесь анализ и синтез дополняют друг друга. Идя этим путем, можно более адекватно выявить универсальную базу языка. Данная статья как раз и лежит в русле такого подхода. Представляется, что полученная методом синтеза и анализа русского языка глубинная семантическая структура "непосредственный признак — предмет — опосредствующий признак — опосредствованный признак" имеет универсальный характер, что, конечно, должно быть подтверждено и конкретизировано исследованием возможно большего числа иноструктурных языков. При этом следует учитывать два обстоятельства: 1) в некоторых языках указанная структура в принципе может не находить эксплицитного и полного выражения: скажем, в языке может остаться неразвитым амодальный член — непосредственный признак (прилагательное); 2) сложившаяся традиция изучения и описания того или иного языка может существенным образом маскировать или даже искажать его глубинную инвариантную основу (например, традиция — обычно она опирается на морфологию слова — не учитывать расщепление качественного признака на два варианта: присубъектный и приглагольный).

Сформулированная здесь гипотеза о связи языка и времени позволяет также наметить водораздел между естественным человеческим языком и языком животных. Очевидно, одно из важнейших различий между ними — следующее. Основной знак естественного человеческого языка (предложение) имеет структурную, комплексную природу — он состоит из 1 + 3 элементов и "растянут" на линейной оси реального времени. Такой знак предполагает наличие говорящего, обладающего интеллектуальной волей — разумом. Он приспособлен для выражения структуры человеческой мысли — логического суждения (предмет — признак). В отличие от этого основной знак языка животных (звуковой сигнал) представляет собой один глобальный элемент. Этот знак не синтагматичен, т.е. он не строится на линейной однонаправленной оси реального времени. Поэтому здесь нет необходимости в таком "говорящем", который связывал бы составные части знака в целое, а для этого обладал бы интеллектуальной волей — разумом. Звуковой сигнал животных — инстинктивная реакция на ситуацию. Хотя, с другой стороны, если язык какого-либо животного, например дельфина, имеет разумную основу, то его знаки, очевидно, синтагматичны, т.е. построены на линейной оси реального времени.

Наконец отметим, что данная гипотеза позволяет поставить на твердую научную основу вопрос о происхождении языка. При решении этой проблемы встает важнейшая задача — найти ту грань, которая отделяет историю человеческого языка от его предыстории. Можно полагать, что естественный человеческий язык начинается именно с того момента, когда в процессе взаимодействия примитивных знаков с реальным временем возникает в сознании нарождающегося человека знаковое образование высшего типа — описанная здесь комплексная семантическая структура языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Витгенштейн Л.* Логико-философский трактат. М., 1958.
2. *Степанов Ю.С.* В трехмерном пространстве языка: Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства. М., 1985.
3. *Кун Т.* Структура научных революций. М., 1977.
4. *Лосев А.Ф.* Философия имени. Диалектика мифа. Из ранних произведений. М., 1990.
5. *Пригожин И.* От существующего к возникающему. Время и сложность в физических науках. М., 1985.
6. *Соссюр Ф. де.* Труды по языкознанию. М., 1977.
7. *Рейхенбах Г.* Философия пространства и времени. М., 1985.
8. *Чейф У.* Значение и структура языка. М., 1975.
9. *Филлмор Ч.* Дело о падеже // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X: Лингвистическая семантика. М., 1981.
10. Философская энциклопедия. Т. I. М., 1960.
11. *Рейхенбах Г.* Направление времени. М., 1962.
12. *Мостепаненко А.М.* Проблема универсальности основных свойств пространства и времени. Л., 1969.
13. *Радзинский Э.* Наш Декамерон. М., 1990.
14. *Эйнштейн А.* Физика и реальность. М., 1965.
15. *Серебренников Б.А.* О материалистическом подходе к явлениям языка. М., 1983.
16. *Кант И.* Сочинения. Т. 3. М., 1964.
17. *Потебня А.А.* Из записок по русской грамматике. Т. I - II. М., 1958.
18. *Юрченко В.С.* К вопросу о соотношении актуального и грамматического членений предложения // Коммуникативно-прагматические и семантические функции речевых единств. Калинин, 1980.
19. *Юрченко В.С.* Простое предложение в современном русском языке. Саратов, 1972.
20. *Юрченко В.С.* Структура предложения и система частей речи // Предложение и части речи в русском языке. Саратов, 1992.
21. *Николаева Т.М.* Универсалии // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1993

© 1993 г. ШМИДТ К.Х.

КАРТВЕЛЬСКИЙ И АРМЯНСКИЙ

Тема, о которой здесь пойдет речь, относится к ареальной лингвистике. Это вопрос о том, в какой степени южнокавказский картвельский и индоевропейский армянский языки влияли друг на друга в древнейший период своего развития. Сама по себе эта проблематика не нова: на основе своей теории, согласно которой наряду с семитами и индоевропейцами носители яфетических языков представляли собой "третий этнический элемент" в развитии средиземноморской культуры [1, с. 417], Н.Я. Марр (1864—1934) определял армянский язык как смешанный, как "образец особого яфетическо-индоевропейского скрещения" [1, с. 417]: "Я имею в виду ядро реального армянского языка, возникшего на почве исторической Армении. Само ядро двуродное... В армянском с индоевропейским слоем неразрывно слит осадок какой-то неизвестной лингвистической семьи" [2, с. XXXI]. Поскольку, согласно теории Марра, картвельские языки (наряду с севернокавказскими группами, баскским, этрусским, пеласгским, урартским и др.) отнесены к так называемой яфетической семье языков, эта цитата указывает на особенно тесную связь между картвельским и армянским. В противовес яфетической теории, представляющей теперь по преимуществу лишь исторический интерес, новаторское исследование Деетерса об армянском и южнокавказских языках [3] и сейчас еще в некоторой степени не утратило своего значения.

Деетерс соглашается с положением о том, "что армянская иммиграция происходила не как внезапное завоевание, а как постепенное заселение, причем аборигены еще долгое время сохранялись в периферийных областях" [3, № 3, с. 43]. Он стремится "доказать, что это постепенно арменизированное исконное население, внесшее новые звуковые тенденции в армянский язык, принадлежало к южнокавказской группе кавказских народов" [3, № 3, с. 43]. Использованный метод основан на двух предпосылках: а) на взаимном обособлении индоевропейских и неиндоевропейских признаков армянского языка; б) на сопоставлении черт, необъяснимых с индоевропеистических позиций, с фонологией и грамматикой южнокавказских языков, особенно грузинского, мегрельского и лазского и в несколько меньшей степени сванского. Деетерс, различающий два типа смешанных языков: а) образовавшиеся "в результате заимствования — смешанный тип 3"; б) появившийся "вследствие смены языка — смешанный тип С" [3, № 4, с. 57], определяет армянский язык как смешанный язык "в двояком смысле" [3, № 4, с. 61]: "смешанным языком 3 он является в отношении иранского — сирийский и греческий, напротив, совершенно отходят на задний план" [3, № 4, с. 61]. И наоборот, фонологические и грамматические совпадения с картвельскими языками объясняются как явления "смены языка", "смешанного языка С" — доармянским картвельским субстратом, влияние которого отличается от воздействия соседних картвельских языков [3, № 4, с. 63]. Методические основы исследований Деетерса критикует Фогт [4, 5], указывающий на наше недостаточное знание "армянской и картвельской языковой истории до начала письменной традиции" [5; 6, с. 470 и сл.]. Кроме того, он подчеркивает, что результаты интерференции, языковых контактов касаются не только армянского, но и картвельских языков: "вероятно, в этот период, длившийся более тысячи лет, произошло взаимовлияние двух языков с очень различными структурами, воздействие не одностороннее, а взаимное" [6, с. 471].

Упомянутые исследования, ставящие акцент на сопоставлении картвельского и армянского языков, занимают среднюю позицию в отношении возраста и объема сравниваемых моделей. К еще более раннему периоду древней истории относится доказательство наличия южнокавказских заимствований с лазско-мегрельским (занским) звуковым развитием в армянском языке, например: (1) лазск. *mčaǰ-i*, мегр. *čanži* "муха" : груз. *mčer-i* > арм. *čanǰ, čanč* (*-i*-основа); зан. **čipuri* : груз. *čirpli* "слизь глазных желез" > арм. *čipř, čpři* "гноеточивость глаз".

Занский звуковой облик этих примеров доказывает, что заимствование могло произойти лишь после относительно позднего вычленения мегрельского и лазского из картвельского, или южнокавказского. Это наглядно демонстрирует генеалогическое древо Деетерса, которое позволяет видеть раннее отпочкование сванского и позднее разделение грузинского и занского (ср. [7, с. 13; 8, с. 138 и сл.; 9, с. 17; 10, с. 3]).

Капанцян датирует армянско-занские языковые контакты XV в. до н.э., когда армяне, согласно его теории, были на северо-востоке Малой Азии, в стране *Hayasa-Azzi*, западными соседями занов, т.е. лазов и мегрелов[1]. Теория Капанцяна об армянско-занских языковых контактах в XV в. до н.э. находится в противоречии с датировкой, которую дал Климов модели филиации языков Деетерса: отщепление сванского в XIX в. до н.э., отделение грузинского и занского в VIII в. до н.э. [9, с. 35]. Это означает следующее: либо занский язык как языковое единство еще не существовал в XV в. до н.э., либо данные Климова, полученные на основе глоттохронологии, подлежат уточнению.

Идентификацию названия страны *Hayasa*, которое засвидетельствовано в хеттских клинописных текстах XIV—XIII вв. до н.э., с самоназванием армян *Hay* (мн. число *Hay-k'*), ставшим известным двумя тысячами лет позднее, впервые предпринял П. Кречмер [16]. Гамкрелидзе/Иванов [17, с. 912 и сл.; 18, с. 58] принимают эту этимологию и трактуют название *Hayasa* как посессивное производное на *-s(s)a* от этимона[2], наличествующего в армянском *Hay*. С другой стороны, они оставляют открытым вопрос о том, следует ли отождествлять жителей *Hayasa* с протоармянами. В противовес этому Г.Б. Джаукян [19, с. 31] склоняется в пользу армянско-картвельских языковых контактов в XIV—XIII вв. до н.э. На основе двустороннего лексического взаимовлияния армянского и анатолийского, а также южнокавказского занского, при использовании армянских заимствований из аккадского и хурритского он приходит к заключению, что "вероятность армянско-картвельских языковых контактов в период *Hayasa* достаточно велика". Этимологии, предложенные Джаукяном, включают малоазийские названия, для которых постулируется армянское происхождение [19, с. 28 и сл.] — наименования божеств, лиц, локальные наименования, а также гидронимы и оронимы. Работа могла бы иметь далеко идущие последствия как для истории армянского языка, так и для истории картвельских языков. Вот почему необходимо произвести точную проверку отдельных данных.

Теории вычленения н.-е. языков[3], возникшие в последние годы, отсылают нас в более ранний период, предшествующий прямым картвельско-армянским языковым контактам. Среди них моделям М. Гимбутас, а также Т. Гамкрелидзе/Вяч. Иванова[4] принадлежит особое место.

---

[1] Ср. [11; 12, с. 153]. По вопросу о *Hayasa-Azzi* как государстве, зависимом от великого царства хеттов см. [13, с. 102; 14, с. 45]. Дьяконов [14, с. 115] отрицает всякую связь между *Hayasa* и армянами; ср. также [15, с. 107].

[2] К вопросу о дальнейших названиях армян (др.-перс. *Armina-*, ассир. *Urume*, урарт. *Urme* IX в. до н.э.), *Hay* < **Hato : Hatti* — ср. [20, с. 36; 21, с. 18]; [14, с. 115] идентифицирует протоармян с *Muškí*, упоминаемыми в ассирийских источниках с XII в.

[3] По вопросу о более ранних теориях ср., например [22—24].

[4] Ср. библиографию, данную в работе Скомал/Поломé [25, с. 384—396], и обобщение, сделанное Гимбутас [26, 27]. Ср. также [17, 18] и критику по этому вопросу [28; 29, с. 17]. Ср. также [30, 31] с критикой в трудах [32; 29, с. 10; 33, с. 177] и др. работы

"Курганная теория"[5], выдвинутая Гимбутас в многочисленных статьях начиная с 1956 г., делает различие между неиндоевропейской, матриархальной, крестьянской культурой, характерной для Европы периода неолита и медного века (6500—3500), и индоевропейской, патриархальной курганной культурой, носители которой, так называемые "днепровско-волжские степные пастухи" [27, с. 5], в степях северного Причерноморья и на восток почти до низовий Волги вели в основном кочевой образ жизни. Между концом V тыс. и началом III тыс. носители курганной культуры несколькими волнами (4400—4200, 3400—3200, 3000—2800) расширили ареал своего обитания. В Европе это привело к образованию суперстрата и языковой индоевропеизации прежнего доиндоевропейского населения. Центральная Европа, частично индоевропеизированная после второй волны, консолидировалась в виде вторичной индоевропейской прародины, прежде чем вследствие вторжения третьей курганной волны днепровско-волжских степных пастухов в восточную часть Центральной Европы, Северо-Восточную Венгрию и Болгарию появились новые перемещения: носители центральноевропейской культуры сдвинулись на северо-запад и северо-восток (поздняя культура амфорной шнуровой керамики), а также на запад, юг и юго-восток (позднее движение Баден-Вучедол в Италию, Албанию, а также, возможно, до Пелопоннеса) [27, с. 7].

К критике теории Гимбутас: она причисляет греков наряду с германцами и балтами к рано вычленившимся южным и северным племенам европейских индогерманцев, тогда как армяне (вместе с кельтами, италиками, венетами, иллирийцами, фригийцами, славянами и албанцами) отнесены к центральноевропейскому ядру, которое, наверное, распалось лишь около 1500 г. до н.э. [27, с. 7]. Следовательно, эта модель подразумевает раннее отделение греков от армян, что, как представляется, невозможно из-за наличия многочисленных изоглосс между греческим и армянским языками. Согласно модели Гамкрелидзе/Иванова, о которой сейчас пойдет речь, прародиной протоиндоевропейцев следует считать Восточную Анатолию южнее Закавказья и вплоть до верхней Месопотамии [35, с. 30]. В течение V и IV тыс. до н.э. существовали контакты между индоевропейцами и носителями неиндоевропейских языков, особенно картвельского и семитского [35, с. 30]. Основой этой гипотезы являются прежде всего системы согласных, реконструированные авторами для трех языковых семей с глоттализованной смычной, звонкой и глухой сериями. Это предположение для протоиндоевропейского разделяется не всеми[6]. Для картвельского и индоевропейского Гамкрелидзе и Мачавариани еще в 1965 г. (ср. [38], а также [39]) реконструировали изоморфные структуры в системе сонантов, а также в расположении корня и аффикса. Впрочем, нелегко судить об эвристической выразительности этой реконструкции: "типологический сравнительный материал тем доказательнее, чем менее универсальны... изоморфные структуры. Но решение этого вопроса предполагает знакомство более чем с двумя языковыми системами" [40, с. 267] (ср. по этому вопросу [41, с. 70]). Естественно поэтому, что Гамкрелидзе и Иванов подкрепляют утверждение о соседстве, постулированном для картвельского, семитского и и.-е. языков до начала письменности, путем доказательства взаимных лексических заимствований:

(2) и.-е. < семит. : *$t^{/h/}$auro- "бык" : *tawru-; *$g^{/h/}$ ait'- "козленок, коза" : *gadju-; *$ag^{/h/}$ no- "ягненок" : *iglu; *$b^{/h/}$ ar(s) "зерно, крупа" : *b-r(r); карт. < и.-е. : *uγ-el- "иго, ярмо" : *yuk'-om; *e-sw- "дикий кабан, свинья" : *su-; *diqa "глина" : *$d^{/h/}eg^{/h/}$-om "земля"; *gen-/*gn- "слышать, понимать, распознавать" : *k'en-/*k'n-; *$ek^{h}sw$ "шесть" : *$s^{o}ek^{/h/}s$- и т.д. [35, с. 14 и сл.].

[5] Теория оказала значительное влияние на нынешнюю дискуссию; ср., например [30; 34, с. XXIV; 29, с. 9].

[6] Ср., например [36, с. 132]: "С точки зрения диахронической типологии традиционная модель имеет преимущество использования очень хорошо засвидетельствованных типов изменений гласных, а воображаемая модель оказывается в проигрыше из-за недостатка доказательств процессов, которые провозглашаются универсальными". Из последних работ см. [37].

Хотя точная реконструкция предполагаемых процессов заимствования, в том числе с позиций звуковых законов, исключительно трудна[7] и следовало бы прежде всего больше учесть распределение материала по отдельным языкам трех языковых семей, приведенные примеры из семантических полей названий животных, овощей, орудий, а также числительных [35, с. 15] заслуживают дальнейшего анализа и проверки.

Предполагаемая Гамкрелидзе и Ивановым протоиндоевропейская прародина в Восточной Анатолии, на Южном Кавказе и в Северной Месопотамии имеет последствия для реконструкции вычленения дочерних и.-е. языков, которая намечена в последовательности анатолийского, восточноиндоевропейского (т.е. индоиранского, греческого, армянского, фригийского), тохарского, европейских языков (т.е. кельтского, иллирийского, германского, балтийского и славянского). Эта модель требует обсуждения, а также модификации, так как, например, кельтский проявляет некоторые инновации, сближающие его с восточноиндоевропейскими языками[8].

Теория восточноанатолийской прародины индоевропейцев заставляет предположить, что греческо-армянские изоглоссы образовались уже после отделения индоиранцев от восточноиндоевропейской языковой группы в Малой Азии [18, с. 52]. Этому выводу противостоит известная цитата из Геродота, 7, 73, который повествует о происхождении фригийцев из Европы, а армян определяет как потомков фригийцев: "По словам македонян, пока фригийцы жили вместе с ними в Европе, они назывались бригами. А после переселения в Азию они вместе с переменой местопребывания изменили и свое имя на фригийцев. Армении же, будучи переселенцами из Фригийской земли, имели фригийское вооружение" (пер. Г.А. Стратановского). Фригийское происхождение армян подтверждается Евдоксом (у Стефана Византийского под словом *Armenii*): "Армении были родом из Фригии и язык их по звучанию напоминал фригийский", тогда как Платон (Кратил, 410) указывает на греческо-фригийские совпадения в названиях огня, воды и суки: «Взгляни теперь, может быть, и это имя — "огонь" — варварское? Ведь эллинскому наречию и справиться с ним нелегко, да к тому же известно, что так его называют фригийцы, лишь немного отступая от этого произношения; то же самое относится к именам "вода", "собака" и многим другим» (пер. Т.В. Васильевой). Последняя цитата согласуется с исследованием фригийского и греческого, представленным недавно Нойманом, где фригийско-греческие языковые контакты делятся на пять периодов [44, с. 5]:

(3) 1) Доисторическая эпоха на Балканах,
2) Микенская эпоха греческого языка,
3) Переселение и новое название земли фригийцев, включая время фригийского царства.
4) Эллинизация Малой Азии,
5) Фаза упадка фригийского во времена Римской империи.

Если сделать выводы из историографических замечаний первой части нашего анализа, то из них следуют две постановки вопроса:

1. Вопрос о лингвистической предыстории армянского и картвельского, т.е. попытка описания структур обоих языков ко времени армянской колонизации

---

[7] Ср. точку зрения Дьяконова [42, с. 61], который расценивает "лексические изоглоссы" из области «основного словарного фонда типа *dew- · *dw- "лежать, положить"; *lag- · *lg- "класть, сажать"; *gen- · *gn- "понимать, слышать"; *zisxl "кровь"; *m-k'erd "грудь"» как "очевидность косвенного родства между протоиндоевропейским и протокартвельским"

[8] С этими признаками связано относительное предложение, образованное с помощью *yos (с параллелями в индоиранском, греческом, фригийском и славянском), древнеирландское образование будущего времени при помощи редупликации, соответствующее дезидеративу в индоиранском, а также будущее время с основой на *sye-/syo-, засвидетельствованное в галльском (Chamalières) с параллелями в индоиранском, балтийском, славянском, возможно, также в греческом; ср [43, с 241, 245]

неиндоевропейского урартско-хурритского царства вокруг озера Ван на рубеже VII—VI вв. до н.э.[9]

2. Проблема того, в какой степени признаки картвельского и армянского языков можно интерпретировать как результат картвельско-армянского языкового смешения или интерференции.

1. Лингвистическая предыстория армянского и картвельского языков

а) Армянский. После того как Г. Хюбшман в 1875 г. доказал самобытный характер армянского языка как особого индоевропейского, Х. Педерсен так определил его положение внутри и.-е. языковой семьи: 1) "армянский язык ни с одним языком не сближается так явно, как с греческим" [46, с. 443]; 2) "армянский язык среди живых ответвлений индоевропейских языков имеет близкородственные отношения примерно с трех сторон: на западе он сближается с греческим, на востоке с индоиранским, на севере с балто-славянским. Если бы албанский язык... дошел до нас в более полном виде, по всей вероятности, он был бы значительно ближе к армянскому, чем к балто-славянскому" [47, с. 225]. Теории Педерсена позднее были подтверждены исследованиями других ученых — в их числе Бонфанте [48, 49; 22, с. 157 и сл.; 50, с. 73 и сл.] и Джаукян [51][10]. Особое значение при определении позиций армянского придается протетическому гласному (ср. по этому вопросу недавно [54]), а также аугменту. Первое явление ограничивается фригийским, армянским и греческим; второе можно обнаружить также в индоиранском.

(4) Фриг. αναρ "мужчина", арм. *ayr*, греч. ἀνήρ против вед. *nar-*, албан. *njer* и т.д.; др.-фриг. εδαες "ἀνέθηκε" против хет. *dāiš*, арм. *eber*, греч. ἔφερε, др.-инд. *abharat* < **e-bher-et*.

Если принять во внимание расхождения во времени письменной фиксации упомянутых языков

(древнефригийские надписи датируются примерно 800—600 г. до н.э.[11]), то можно прийти к выводу, "что совпадения между этими языками являлись более обширными в доисторическое время, но впоследствии были затемнены более поздними инновациями. Иначе говоря, можно сказать, что не зафиксированный на письме армянский язык XV в. до н.э., очевидно, имел более тесные связи с греческим и индоиранским, чем исторически засвидетельствованный армянский V в. н.э." [20, с. 39]. При анализе армянского языка времени появления письменных источников необходимо, таким образом, считаться с тремя факторами: 1) с его исходным базисом среди и.-е. языков, отмеченным на схеме № 5; 2) с процессами языковых изменений, которые произошли в последующие периоды под влиянием анатолийского, семитского и древнемалоазийского язы-

---

[9] Ср. [45, с. 113]: «.. последний царь Урарту, Руса III (605—590) "сын Эрименя", был в действительности армянским узурпатором». О предыстории армян в связи с хурритами, урартами, лувийцами ср. в особенности [14, с. 128 и сл.]

[10] Ср. также [20, 52]. Некоторые авторы высказываются об отношении фригийского к армянскому сдержанно, ср. [53, с. 37; 15, с. 106 и сл.].

[11] Ср [55, с. IX; 56]

ков[12]; 3) с явлениями интерференции, которые здесь необходимо рассмотреть и которые, быть может, объясняются влиянием картвельских языков.

6) **Картвельский.** Все попытки объединить южнокартвельские языки более крупными генетическими связями с другими языковыми семьями до сих пор не приводили к сколько-нибудь существенным результатам. К сравниваемым с ними языковым семьям относятся, в частности, восточно- и/или западнокавказские языковые группы, баскский язык, так называемые ностратические языки или постулируемые палеокартвельские субстраты в и.-е. языках[13]. Среди характеристик южнокавказских языков необходимо назвать следующие[14]: в области фонологии южнокавказские вместе с восточно- и западнокавказскими языками имеют дифференциацию системы смычных согласных по трем артикуляционным классам, или сериям, — субглоттальные (глухие придыхательные), супраглоттальные (глухие с гортанной смычкой) и звонкие. Эти серии коррелятивно разделены на шесть—семь рядов по месту артикуляции. Южнокавказские языки располагают сформировавшейся системой сонантов [38, 39]. Соответствия грузинских *si-*, *ṣa-* (префиксов для образования отглагольных имен) сванским *li-*, *la-* позволяют предположить доисторическое существование латерального спиранта [7, с. 50]:

(6) Груз. *sa-katme* "курятник" : сван. *la-ktalar*; груз. *sa-ṭexi* "резец, зубило" : сван. *la-ṭxi*; груз. *sʒe* (> *rʒe*) "молоко" : сван. *laže*; *si-* (префикс) : *li-* и т.д.

В синтаксическом отношении картвельские языки следуют модели, характерной также для восточно- и западнокавказских языков, состоящей из переходной эргативной конструкции (№ 13), непереходной конструкции с грамматическим подлежащим в неопределенном или именительном падеже и конструкции, выражающей состояние с пассивным подлежащим в косвенном падеже — в южнокавказских это дательный. Впрочем, переходная эргативная конструкция в южнокавказских языках ограничена системой аориста, тогда как в системе презенса она заменена переходной номинативной, а цель выражена дательным падежом вместо отсутствующего винительного (№ 13). Эта смена падежного управления, которой, очевидно, способствовал несовершенный вид системы презенса [68], является отличительной чертой южнокавказских языков. У языковедов нет единого мнения насчет доисторической реконструкции предикативной синтагмы, усматриваемой Климовым в активном языковом типе: "все соответствующие факты иллюстрируют собой процесс преобразования активной типологии непосредственно в номинативную, т.е. без посредства эргативной ступени" [69, с. 165]. Но эту теорию нельзя доказать. С одной стороны, такие явления, как согласование, сохранившееся в системе древнегрузинского аориста между глагольным суффиксом мн. числа *-(e)n-* и показателем грамматического именительного/неопределенного падежа, подтверждают более старую эргативную конструкцию [67, с. 253] типа

(7) *vačarman ṗov-n-a margaliṭ-n-i* "купец нашел жемчуг",

а с другой стороны, сочетание эргатива с непереходным аористом типа

(8) *ʒaγlma daiqepa* "собака залаяла"

в грузинском и лазском [70] объясняется аналогичным переносом эргатива с переходной конструкции на непереходную. В мегрельском этот процесс привел к обобщению эргатива на *-k* в рамках всей системы аориста:

---

[12] К вопросу о языковых контактах ср. [14, 51]: *Hayasa-* армянские наименования (имена лиц, богов, локальные имена); армянские заимствования из анатолийского; хеттские заимствования из армянского; древнемалоазийские имена из армянского; армянские заимствования из хурритского и аккадского; аккадские заимствования из армянского; армянские заимствования из древнеиндийского; грузинско-занские заимствования из армянского; армянские заимствования из грузинско-занского. По вопросу анатолийского субстрата ср. [57; 17, с. 912 и сл.]; о хурритско-урартских заимствованиях ср. [58].

[13] Ср. ссылки, данные в трудах [59; 60, с. 76—79; 61, с. 114—118; 8, с. 92—93; 62, с. 763—764; 63, 64].

[14] Ср. [65—67].

(9) Мегр. перех. аорист *xuro-k 'ude kodaagu* "плотник построил дом/один, какой-то дом" > неперех. аорист *tiši muma-k dayuru* "его отец умер" [71, с. 104].

Кроме того, А. Хэррис [72, с. 294] установила для грузинского, что связь эргатива и непереходного аориста сконцентрирована на определенном семантическом содержании, т.е. на "глаголах, выражающих движение на одном месте..., произведение шума, звука..., передвижение с одного места на другое... и другие действия".

Что касается морфологии, то агглютинирующие признаки появились в южнокавказских языках лишь в ходе языкового развития. На это указывают следующие моменты: а) символическая техника системы аблаута, исследованной прежде всего Гамкрелидзе/Мачавариани [38]; б) двоякая флексия мн. числа древнегрузинского существительного с им. падежом на *-n-i* и косвенным на *-ta* [67, с. 251 и сл.]. Мн. число косв. падежа на *-ta* подтверждает между тем существование "эргатива, совмещающего функции и другого падежа"[15]. Этот эргатив еще сохранился как архаизм в сванском падеже на *-(a)d* (с адвербиальной и эргативной функциями)[16].

Таким образом, наконец мы можем перейти к вопросу о том, насколько допустимо интерпретировать признаки картвельского и армянского как результат картвельско-армянского языкового смешения или интерференции. Рассмотрение вопроса, ограниченное обсуждением некоторых примеров, можно разделить на два пункта: а) признаки картвельского воздействия в армянском; б) признаки армянского воздействия в картвельском.

а) Признаки картвельского воздействия в армянском обнаруживаются в занских заимствованиях под № 1, у которых в группах типа "смычный + *r*" появляется метатеза. Деетерс наблюдал то же самое звуковое изменение в мегрельских заимствованиях из грузинского:

(10) Арм. *elbayr* "брат" : др.-инд. *bhrātar-*; арм. *surb* "святой" : др.-инд. *śubhra-*; арм. *erkan* "мельничный жернов" : др.-инд. *grāvan-*; арм. *k'irtn* "пот" < **swid-r-* : греч. ἱδρώς; мегр. *borbi* "светловолосый" < груз. *bobri*; *mardi* "милость, милосердие" < **madri* < *madli*; *terti* "белый" < *tetri*; *orko* "золото" < *okro* и т.д.

Осетинские параллели к этой метатезе скорее следует объяснять специфически иранским звуковым развитием, так как они засвидетельствованы, например, в согдийском и скифо-сарматском. Метатеза в группах типа "согласный + *r*" вообще является широко распространенным процессом[17].

(11) Осет. диг. *furt*, ирон. *fərt* "сын", скифо-сармат. Φουρτας PN : авест. *puϑrō*, др.-инд. *putrá-*; осет. *ærvad(æ)* "родственник, брат" : авест. *brātar-*, др.-инд. *bhrā́tar-*; ср. арм. *elbayr* (№ 10).

Переходный древнеармянский перфект с целью в вин. падеже и агенсом в род. падеже, не имеющий единого толкования, обнаруживает в синтаксическом отношении типологическую параллель в так называемой нейтральной конструкции хинди, основу которой образует выполняющее нейтральную функцию 3 лицо ед. числа муж. рода страд. причастия прош. времени (part. perf. pass.). Агенс при этом стоит в падеже, именуемом эргативом, а цель — в косв. падеже.

(12) Др.-арм. *nora* (род. п. агенса) *gorceal ē* ("сделана") *z-gork* (вин. п. цели) "он сделал работу"; хинди *laṛkī ne* (эргатив агенса) *mā ko* (косв. п. цели) *dekhā* ("увиденный") "девочка видела свою мать".

Несмотря на различные другие попытки объяснения[18], для армянского не-

---

[15] По вопросу о терминологии, введенной И.И. Мещаниновым, ср [73, с. 13].

[16] Ср. [74, с. 135; 66, с. 129 и сл.].

[17] Ср. [75, с. 33 и сл.; 76, с. 167; 77, с. 395; 78, с. 118] См также развитие сочетаний *er, el, or, ol* в тавтосиллабической позиции в славянском

[18] Из недавних работ ср [79, с 83 и сл.; 80].

обходимо, на мой взгляд, в дальнейшем обсудить следующую концепцию: "Переходная армянская категория перфекта была воспринята как эргативная конструкция (ЭК) и затем преобразована в направлении номинативной конструкции (НК) с целью в винительном падеже вместо именительного/неопределенного. Тенденции перехода ЭК в НК широко распространены в соседних кавказских языках и особенно четко проявляются в имперфектной южнокавказской системе презенса" [81, с. 286], ср. также [68, с. 164 и сл.].

(13) Груз. аорист *monadirem* (эрг. п.) *mokła iremi* (им. п.) "охотник убил оленя" по сравнению с презенсом *monadire* (им. п.) *klavs irems* (дат. п.) [82, с. 129 и сл.]; сван. *Aslan-mərza-d* (эрг. п.) *pap ănqerne* [83, с. 132, 15] "Аслан-мурза привел священника" по сравнению с презенсом *lori ǰǰwars* (дат. п.) *axwrjelälix i išxwnix zurälēl* (им. п.) [84, с. 5, 17 и сл.] "собрать кости от окорока (дополнение) и сохранить для женщин".

Тенденции выравнивания в занских языках позволяют обнаружить выходящее за рамки южнокавказской модели № 13 стирание унаследованных падежных расхождений: в мегрельском эргатив на *-k* распространился с переходного аориста на непереходный (см. № 9), что привело к единообразию переходного и непереходного подлежащего в системе аориста, — по аналогии с завершившимся еще в пракартвельском выравнивании в системе презенса. Подобное развитие можно теперь констатировать как тенденцию в древнеармянском перфекте: при этом речь идет об аналогичном переносе подлежащего в род. падеже из переходных синтагм (№ 12) на непереходные, который замечен преимущественно у "семантически активных" глаголов движения[19]:

(14) *ew ançeal ənd ayn Yisusi* (род. п.) *etes zayr mi* Mt. 9, 9 Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν ἄνθρωπον; *cneal Ormazdi* (род. п.) *...ekn ekaç araǰi Zruanay* Ezn. 1, 14 "когда Ормизд был рожден, ... он пришел и предстал пред Зрваном" [86, с. 177].

И напротив, в лазском языке актанты эргатив (как агенс) и именительный/неопределенный (как цель) были перенесены с переходного аориста на переходные системы презенса и перфекта, что привело к унификации подлежащих и дополнений при переходных глаголах всех серий.

(15) Аорист *ust-ak doḳodu oxori* "плотник построил дом" → презенс *usta-k ḳodums oxori*; перфект *usta-k doḳodudoren oxori* [71, с. 103].

б) Армянские явления интерференции в картвельском ясно обнаруживаются на лексическом уровне. В некоторых случаях заимствование в грузинский произошло до начала действия армянских звуковых законов, так что заимствования имеют особенно архаичный звуковой состав, например, в единицах, упомянутых Джаукяном [87]. Эти языковые единицы пришли в грузинский еще до появления законов конца слова в армянском языке[20]:

(16) Груз. *erdo* "плоская крыша, дымоход" (мегр. *erdoba* "селение-новостройка") < протоарм. **erdo-*: др.-арм. *erd, oy-* "отверстие в крыше, крыша; дом, двор"; груз. *mdelo* "луг" < протоарм. **delo-*: др.-арм. *del, -oy* "трава; лекарство, лечебное средство" [87].

Систематическую обработку картвельских заимствований из армянского еще только предстоит совершить.

На грамматическом уровне имеется ряд признаков, которые сближают картвельский с более древними и.-е. языками в типологическом отношении. Наряду с уже упомянутыми изменениями сюда относятся, в частности, переходные глаголы (особенно в презенсе); развитие системы страдательного залога, неожиданное для эргативного языка, ср. [7]; система вида, базирующаяся на противопоставлении перфективного аориста и имперфективного презенса [65, 88]; семантические совпадения между категорией sataviso и и.-е. средним залогом

---

[19] Ср. [85, с. 107; 81, с. 286 и сл.].
[20] Ср также [8, с. 96].

[89] а также употребление союзных и относительных придаточных предложении [90 с 16])

В настоящее время, очевидно трудно установить обусловлено ли наличие этих "некавказских" признаков армянским влиянием или же источником его могли быть другие индоевропейские языки — киммерийский, скифский [90, с 16] анатолийский [91] Во всяком случае установлено что рассмотренные признаки сформировались не в древнейший период развития и-е языков, поскольку некоторые из них уже нельзя объединить с типом индоевропейского как активного или эргативного языка (ср например [68, 17 с 267 и сл]) Кроме того, они предполагают завершившееся развитие системы вида Эти признаки, не совместимые с кавказским типом никак не затрагивают, следовательно, теорию Гамкрелидзе Иванова о раннем картвельско-индоевропейском соседстве

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 *Arens H* Sprachwissenschaft Der Gang ihren Entwicklung von der Antike bis zur Gegenwart Freiburg München 1955
2 *Мар Н Я* Грамматика древнеармянского языка СПб 1903
3 *Deeters G* Armenisch und Südkaukasisch // Caucasica 1926 № 3 1927 № 4
4 *Vogt H* Arménien et Caucasique du Sud // NTS 1938 9
5 *Vogt H* Arménien et Géorgien // Handes Amsorya 1961 10—12
6 *Vogt H* Linguistique caucasienne et arménienne // Studia Caucasologica II / Ed by Hovdhaugen E and Thordarson F Oslo 1988
7 *Schmidt K H* Studien zur Rekonstruktion des Lautstandes der südkaukasischen Grundsprache Wiesbaden 1962
8 *Schmidt K H* Grundlagen und Probleme der kartvelischen Etymologie // Этимологические разыскания / Под ред Ломтатидзе К Тбилиси 1989
9 *Климов Г А* Этимологический словарь картвельских языков М 1964
10 *Фенрих Х Сарджвеладзе З А* Этимологический словарь картвельских языков Тбилиси 1990 (на груз яз)
11 *Капанцян Г* О взаимоотношении армянского и лазо мегрельских языков Ереван 1952
12 *Godel R* Diachronic Armenian // Current trends in linguistics 6/ Ed by Sebeok Th A The Hague Paris 1970
13 *Goetze A* Kleinasien (Handbuch der Altertumswissenschaft III 1 3 3 1 2 Aufl) München 1957
14 *Diakonoff I M* The pre h story of the Armenian people Delmar New York 1984
15 *Polomé E C* // AArmL 1987 8 Rec Diakonoff I M The pre history of the Armenian people
16 *Kretschmer I* Der nationale Name der Armenier // Anzeiger d Akad d Wiss in Wien Philos hist Klasse 1932 69
17 *Гамкрелидзе Т В Иванов Вяч Вс* Индоевропейский язык и индоевропейцы Ч 1—2 Тбилиси 1984
18 *Gamkrelidze T V Ivanov V V* The migrations of tribes speaking the Indo European dialects from their original homeland in the Near East to their historical habitations in Eurasia // JILS 1985 13
19 *Djahukian G B* Did Armenians live in A ia Anterior before the twelfth century B C ? // When worlds collide The Indo Europeans and the Pre Indo Europeans / Ed by Markey T L Greppin J A C Ann Arbor (Michigan) 1990
20 *Schmidt K H* Armenian and Indo European // First international conference on Armenian linguistics Proceedings / Ed by Greppin J A C Delmar New York 1980
21 *Schmitt R* Grammatik des Klassisch Armenischen mit sprachvergleichenden Erläuterungen Innsbruck 1981
22 *Porzig W* Die Gliederung des indogermanischen Sprachgebiets Heidelberg 1954
23 Die Urheimat der Indogermanen / Hrsg von Scherer A Darmstadt, 1968
24 *Thieme P* Die Heimat der indogermanischen Gemeinsprache // AAWI 1954 № 11
25 *Skomal S N Polomé E C* Proto Indo European The archaeology of a linguistic problem // Studien in honor of Marija Gimbutas Washington 1987
26 *Gimbutas M* Old Europe in the fifth millenium B D The European situation on the arrival of Indo Europeans / The Indo Europeans in the fourth and third millenia / Ed by Polomé E C Ann Arbor Michigan 1982
27 *Gimbutas M* Remarks on the ethnogenesis of the Indo Europeans in Europe // Ethnogenese europäischer Völker / Hrsg von Bernhard W Kandler Pálsson A Stuttgart New York 1986
28 *Diakonoff I M* On the original home of the speakers of Indo European // JIFS 1985 13
29 *Meid W* Archaologie und Sprachwissenschaft Kritisches zu neueren Hypothesen der Ausbreitung der Indogermanen // IBS Vorträge und Kleinere Schriften 1989 43
30 *Adrados F R* Die räumliche und zeitliche Differenzierung des Indoeuropäischen im Lichte der Vor und Frühgeschichte // IBS Vortrage und Kleinere Schriften 29 Innsbruck 1982
31 *Renfrew C* Archaeology and language The puzzle of Indo European origins L 1987

32 *Szemerényi O* Concerning Professor Renfrew s views on the Indo European homeland // TPhS 1989 87 (2)
33 *Mallory J P* In search of the Indo Europeans Language archaeology and myth L 1989
34 The American Heritage dictionary of Indo European roots / Ed by Watkins C Boston 1985
35 *Gamkrelidze T V Ivanov V V* The ancient Near East and the Indo European question Temporal and territorial characteristics of Proto Indo European based on linguistic and historico cultural data // JIES 1985 13
36 *Job M* Sound change typo ogy and the Ejective model // The new sound of Indo European Essays in phonological reconstruction / Ed by Vennemann Th B N Y 1989
37 *Djahukian G B* A variational model of the Indo European consonant system // IIS 1990 103/1
38 *Гамкрелидзе Т В Мачавариани Г И* Система сонантов и аблаут в картвельских языках Тбилиси 1965 (на груз яз)
39 *Gamkrelidze T V Mačavariani G I* Sonantensystem und Ablaut in den Kartwelsprachen / Ins Deutsche uberseizt bearb und mit einem Nachwort versehen von Boeder W Tubingen 1982
40 *Schmidt K H* Sprachstruktur und Sprachbund // BK 1971 28
41 *Harris A C* Kartvelian contacts with Indo European // When w rlds coll de The Indo Europeans and the Pre Indo Europeans / Ed by Markey T L Greppin J A C Ann Arbor (Michigan), 1990
42 *Diakonoff I M* Language contacts in the Caucasus and the Near East // When worlds collide The Indo Europeans and the Pre Indo Europeans / Ed by Markey T L Greppin J A C Ann Arbor (Michigan) 1990
43 *Schmidt K H* On the reconstruction of Proto Celtic // Proc of the First North American congress of Celtic studies / Ed by MacLennan G W Ottawa 1988
44 *Neumann G* Phrygisch und Griechisch // AOAW 1988 499
45 *Lang D* Armenia cradle of civilization 2 ed , cor L , 1978
46 *Pedersen H* Armenisch und die Nachbarsprachen // KZ 1906 39
47 *Pedersen H* Armenier B Sprache // Reallexikon der Vorgeschichte / Hrsg von M Ebert V 1 B 1924
48 *Bonfante G* Les isoglosses gréco arméniennes I Faits phonétiques // Melanges linguistiques offerts à M Holger Pedersen København Aarhus, 1937
49 *Bonfante G* The place of Armenian among the Indo European languages // AION 1982 4
50 *Solta G R* Die Stellung des Armenischen im Kreise der indogermanischen Sprachen Wien 1960
51 *Djahukian G B* The position of Armenian in the Indo European languages // First international conference on Armenian linguistics Proceedings / Ed by Greppin J A C Delmar New York 1980
52 *Schmidt K H* The Indo European basis of Proto Armenian Principles of reconstruction / AArmL 1990 11
53 *S hmitt R* Die Erforschung des Klassisch Armenischen seit Meillet (1936) // Kratylos 1972 17
54 *Olsen B A* On the development of Indo European prothetic vowels in Classical Armenian // REArm N S 1985 19
55 *Briche C Lejeune M* Corpus des inscriptions paléo phrygiennes I—II P 1984
56 *Diakonoff I M Neroznak V P* Phrygian Delmar New York 1985
57 *Greppin J A C* The Anatolian substrata in Armenian An interim report // AArmL 1982 3
58 *Diakonoff I M* Hurro Urartean borrowing in Old Armenian // JAOS 1985 105
59 *Deeters G* Bemerkungen zu K Bouda s Südkaukasisch — nordkaukasischen Etymologien // Die Welt des Orients 1957 4
60 *Deeters G* Die kaukasischen Sprachen // Armenisch und Kaukasische Sprachen / Ed by Spuler B Leiden Koln 1963
61 *Schmidt K H* The two Ancient Iberias from the linguistic point of view // Actas del IV Coloquio sobre lenguas y culturas preromanas de la Peninsula Iberica Victoriaco Vasconiam Veleia 2—3 1987
62 *Schmidt K H* Principios y problemas de etimologia kartvélica Anuario del Seminario de Filologia Vasca Julio de Urquijo // Intern journal of Basque linguistics and philology (ASJU) 1989 23 (3)
63 *Schmidt K H* // IBS 1975 10 Rec Doerfer G Lautgesetz und Zufall Betrachtungen zum Omni comparatismus
64 *Шмидт К Х* Типологическое сопоставление систем картвельского и индоевропейского языков // ВЯ 1984 № 3
65 *Schmidt K H* On aspect and tense in Old Georgian // FoSl 1984 7
66 *Schmidt K H* Zur relativen Chronologie in den Kartvelsprachen // HS 1989 102
67 *Schmidt K H* Die kartvelischen Sprachen genetisch und typologisch gesehen // HS 1989 102
68 *Schmidt K H* Ergativkonstruktion und Aspekt // Studia linguistica in honorem Vladimir I Georgiev Sofia 1980
69 *Климов Г А* Введение в кавказское языкознание М 1986
70 *Климов Г А* Аномалии эргативности в лазском (чанском) языке // Philologia Orientalis IV In memor am G V Tsereteli Tbilisi 1976 (на груз яз и русск яз)
71 *Чикобава А* Грамматический анализ чанского диалекта Тбилиси 1936 (на груз яз)
72 *Harris A C* Georgian and the unaccusative hypothesis // Language 1982 58
73 *Чикобава А* Проблема эргативной конструкции в иберийско кавказских яз ках // Эргативная конструкция предложения в языках различных типов / Отв ред Жирмунский В М Л 1967
74 *Климов Г А* Склонение в картвельских языках в сравнительно историческом аспекте М 1962

15. *Benveniste E.* Etudes sur la langue ossète. P., 1959.
76. *Zgusta L.* Die Personennamen griechischer Städte der nördlichen Schwarzmeerküste. Praha, 1955.
77. *Schmidt K.H.* Ossetisch und Armenisch // Antiquitates Indogermanicae. Gedenkschrift für Hermann Güntert / Ed. by Mayrhofer M. et al. Innsbruck, 1974.
78. *Bielmeier R.* Historische Untersuchung zum Erb- und Lehnwortschatzanteil im ossetischen Grundwortschatz. Frankfurt-am-Main; Bern; Las Vegas, 1977.
79. *Stempel R.* Die infiniten Verbalformen des Armenischen. Frankfurt-am-Main; Bern; New York, 1983.
80. *Сахокия М.М.* Посессивность, переходность и эргативность. Типологическое сопоставление древнеперсидских, древнеармянских и древнегрузинских категорий. Тбилиси, 1985.
81. *Schmidt K.H.* Perfekt, Haben und Übergang von Ergativ- zu Nominativ-Konstruktion im Armenischen und Südkaukasischen // BK. 1982. 40.
82. *Чикобава А.* Проблема эргативной конструкции в иберийско-кавказских языках. Тбилиси, 1948 (на груз. яз.).
83. *Шанидзе А., Топурия В., Гуджеджиани М.* Сванская поэзия. Тбилиси, 1939 (на груз. яз.).
84. *Оман А.* Сванские тексты на лашхском наречии // ММЯ. 9. Пг., 1917.
85. *Trost K.* Die Perfektperiphrase im Altkirchenslavischen und Altarmenischen. Ein Beitrag zur vergleichenden Syntax // IF. 1968. 73.
86. *Jensen H.* Altarmenische Grammatik. Heidelberg, 1959.
87. *Джаукян Г.Б.* Заметки о некоторых картвельско-армянских лексических совпадениях // ИКЯ. 1973. 18.
88. *Schmidt K.H.* On aspect in Old Armenian and Proto-Kartvelian // AArmL. 1985. 6.
89. *Schmidt K.H.* Indogermanisches Medium und Sataviso im Georgischen // BK. 1965. 19—20.
90. *Deeters G.* Die Stellung der Kharthwelsprachen unter den kaukasischen Sprachen // BK. 1957. 23.
91. *Gamkrelidze T.V.* Anatolian languages and the problem of Indo-European migrations to Asia Minor // Studies in general and Oriental linguistics presented to Shirō Hattori / Ed. by Jakobson R., Kawamoto Sh. Tokyo, 1970.

Перевела с немецкого *Клюева Т.В.*

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1993

© 1993 г. КАЛАКУЦКАЯ Л.П.

ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ В ОРФОГРАФИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И ДРУГИХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СЛОВАРЯХ

Словари русского языка обладают характерной особенностью — они не включают ономастическую лексику в состав своих словников. Стоит проанализировать, как формировалось это последовательное отчуждение ономастической лексики от апеллятивной внутри алфавитного списка апеллятивной лексики. Разумеется, одновременно действующими оказывались причины самого разного характера. Но немаловажную роль сыграла нерешенность в мировой и русской философии и лингвистике вопроса — обладает ли имя собственное понятием. Неоднократные попытки решения этого сакраментального вопроса напоминали известный средневековый спор — сколько чертей помещается на кончике иглы. Каждый философ имел на него собственный ответ. Нерешенность этого теоретического вопроса привела русских лексикографов к чисто практическому выводу. Обладает или не обладает имя собственное понятием — дело темное; во всяком случае очевидно, что имена собственные — это нечто иное, чем апеллятивы: по этой причине их не следует включать в основные словники словарей. Конечно, подобный вывод делался на подсознательном уровне, но результат его имел очевидный характер. Имена собственные были оставлены на откуп энциклопедиям. А в России (после 1917 г.) лингвистические словари и энциклопедии оказались в разных департаментах (или, если угодно, министерствах), и в каждом из них сложились свои специфические нормы. Естественно, что эти нормы начали конкурировать между собой. Однако в самом языке имена собственные и апеллятивы живут и существуют вместе — в результате решать возникающие спорные вопросы было предоставлено носителям языка по своему усмотрению.

Основным словарем, реализующим орфографическую норму, является Орфографический словарь русского языка. Одновременно он решает и более широкие лингвистические задачи. Это своеобразный словарь словарей. Его орфографическим рекомендациям должны следовать все лингвистические словари, к какому бы жанру они ни относились (толковые, дву- и многоязычные, словари иностранных слов, терминологические, синонимические, антонимические, омонимические, грамматические, словообразовательные, орфоэпические и многие многие другие). Весьма существенно и то внелингвистическое обстоятельство, что Орфографический словарь по своим тиражам и цене является по существу единственным (или во всяком случае наиболее доступным) словарем для многих русских, а также для всего населения страны, использующего русский в качестве второго языка. Такой его статус безусловно повышает ответственность Словаря за уровень письменной культуры русского языка. Поэтому отсутствие ономастической лексики в Орфографическом словаре особенно значимо. Орфографический словарь в качестве своеобразного орфографического ГОСТа русского языка непосредственно отвечает за оставляемые им не охваченными нормативными рекомендациями языковые факты и целые языковые области и за ту орфографическую неупорядоченность, которая является следствием подобной ненормированности.

Анализ современной практики печати обнаруживает несколько наиболее уязвимых языковых зон — одну из самых очевидных представляют имена соб-

ственные, проблема их орфографии. Не следует думать, что речь идет о тонкостях транскрипции постоянно вновь появляющихся и с таким же постоянством незаметно исчезающих имен собственных. Проблема касается достаточно широко известных и давно вошедших в русский язык имен собственных и пограничных с ними образований, ведь имена собственные нерасторжимо связаны с апеллятивами. Оказывается, что мы не знаем, как писать давно известные личные имена, неправильно пишем образованные от имен собственных апеллятивы. Т.е. речь идет не о периферийных областях русского языка, а затронуты его центральные области. Данные вопросы могут и должны быть решены путем включения имен собственных в общий словник Орфографического словаря, что позволит облегчить задачу пишущих: они смогут получить необходимые сведения из одного нормативно достоверного источника. Но одновременно нахождение имен собственных в одном общем словарном ряду позволит решить проблемы их написания и самим лингвистам, для которых алфавитная (прямая или обратная) форма организации языкового материала, представленная в словарях, по существу является своеобразной лабораторией, позволяющей свойства и особенности слов анализировать, так сказать, in vitro. Являясь изгоями, имена собственные оказываются лишенными узаконенной нормированности в основных лингвистических параметрах (орфографическом, акцентологическом, грамматическом и др.).

*

Характерной орфографической особенностью имен собственных является прописная буква. Но в соответствии с идеологическими установками этого отличительного орфографического показателя были лишены все слова, относящиеся к религиозной лексике. Поэтому слова *Бог, Богоматерь, Библия* и др. были явочным порядком переведены из разряда имен собственных в разряд нарицательных и писались со строчной. При этом игнорировалась сущностная особенность имен собственных — свойство единичности, уникальности. Для слова *Бог* было найдено объяснение — богов много. Однако *Богоматерь, Богородица* была одна, был один *Господь*, одна *Библия*, что не помешало их всех начать писать со строчной. Именно в таком написании эти слова вошли во все послереволюционные словари. Таким образом, лингвисты (в данном случае — лингвисты-лексикографы) оказались в плену идеологического мифа.

"Всякая идеологическая система, — писал Ю. Шрейдер, — ставящая идею (теоретическую конструкцию) превыше всего — жизни, нравственности, Бога, — основана на простейших принципах, которые должны воплощаться теми, кто эту систему организует и составляет. Первый состоит в том, что идея определяет, какой должна быть реальность. Второй утверждает первенство того, что должно быть, над тем,' что есть и может произойти. Считаться следует лишь с должным, а не с сущим. Это уже ведет к оправданию любых жертв ради идей, уничтожение всего и вся, не соответствующего идеологическим установлениям. ...Названные принципы должны не осознаваться, а выступать в качестве неясной установки, не подлежащей критической рефлексии. Ведь должное важнее того, что есть на самом деле, поэтому должное не следует сопоставлять с реальностью. Принципы идеологической системы исполняются, а не анализируются. По крайней мере до тех пор, пока мы сами остаемся в рамках этой системы" [1, с. 232][1].

[1] Сохранилось объективное (дневниковое) свидетельство, как выглядело это идеологическое *давление в относительном своем начале*, в 1924 г. "На нас нахлынуло средневековье — идея социализма и коммунизма приняла форму государственной религии, которая действует совершенно аналогично *средневековой* власти — вплоть до инквизиции и проч." (см. дневник Б.М. Эйхенбаума [2]).

Об этом же времени писала А.Л. Толстая: "Трудно было работать в толстовских музеях в Ясной Поляне, где все было создано в духе учения Христа и веры в Бога, а теперь было окружено атмо-

Конкретным комментарием к фундаментальным выводам Ю. Шрейдера может служить раздел "Прописные буквы" "Правил русской орфографии и пунктуации" 1956 г. Напрасный труд искать в них правила о написании слов *Бог, Богоматерь, Богородица, Господь, Библия* и др. Этих слов нет также и в списке слов, сопровождающих Правила. Раздел Правил "Прописные буквы" включает некоторые параграфы, затрагивающие "идеологические" аспекты написания прописной буквы. Так, в § 103 сказано: "Пишется с прописной буквы первое слово в названиях революционных праздников и знаменательных дат, например. *Первое мая, Международный женский день, Новый год, Девятое января*". Далее следует углубленная проработка действия этого правила: "Если начальное порядковое числительное в таком сложном названии написано цифрой, то с прописной буквы пишется следующее за ним слово, например: *9 Января, 1 Мая*". Кроме того, § 103 Правил сопровождается Примечанием: "Названия религиозных праздников и постов, а также дней недели, месяцев и т.п. пишутся со строчной буквы, например: *рождество, троицын день, святки, масленица, великий пост, курбан-байрам, четверг, сентябрь*". Нет необходимости сопоставлять примеры, приводимые с прописной в основном тексте правила, и примеры, приведенные со строчной в примечании. Обратим лишь внимание на зияющее отсутствие в этом ряду *Пасхи* и на наличие *масленицы*, которая, будучи языческим праздником, и до революции писалась со строчной. Таким образом, примеры Примечания к § 103 были выбраны весьма расчетливо: *четверг* и *сентябрь* никаких сомнений относительно их написания со строчной не вызывали. Для более посвященных была приведена *масленица*, которая и до революции писалась со строчной (как писался *курбан-байрам* — большинству русских, во всяком случае, было не известно). Это окружение как бы оправдывало написание *Рождества* и *Троицына дня* со строчной. *Пасха* (праздник) среди этих примеров отсутствовала, она бы развалила предлагаемую схему. Но через *рождество*, написанное со строчной, по этому Примечанию предлагалось писать *Пасху* и другие христианские праздники и всю религиозную лексику со строчной буквы.

Весьма близок по содержанию текст § 102, который гласит: "В названиях исторических событий, эпох и явлений, а также исторических документов, произведений искусств и иных вещественных памятников с прописной буквы пишется первое слово, а также входящие в их состав имена собственные. Сюда относятся названия, выражаемые: а) одним именем существительным, например: *Октябрь, Возрождение, Ренессанс, Реформация, Домострой*". Обращает внимание прописная у *Октября* как революционного праздника и напрашивается сопоставление *Возрождения* с *рождеством* (в Примечании § 103), вызывает некоторое недоумение написание *Реформации* с прописной (все же имеет отношение к религиозной лексике). В рассматриваемом контексте вполне логично выглядит и текст § 105: "В названиях высших партийных, правительственных, профсоюзных учреждений и организаций Советского Союза пишутся с прописной буквы **все слова, входящие в состав названия** (разрядка моя. — *К.Л.*), кроме служебных слов и слова *партия*"... Совершенно очевидно, что раздел Правил "Прописные буквы" подтверждает справедливость вывода

сферой, пропитанной идеологией марксизма, отрицающей божественный дух в мысли и творчестве, в музеях, в школе, в колоссальной пропаганде атеистического материализма, который всеми силами старались внедрить большевики" [3].

Голоса А.Л. Толстой и Б.М. Эйхенбаума — это свидетельства изнутри нашей системы. Но до нас дошел документ, говорящий о сходных процессах воздействия на другой язык в другой тоталитарной системе — в Германии. Сразу после окончания войны вышла книга В. Клемперера "Язык третьего рейха: из записной книжки филолога". Автору ее — немецкому еврею — наблюдение над языком третьего рейха буквально помогло выжить. Для него стремление понять, что же происходит с немецким языком, стало высшей целью его существования: "LTI — Lingva Tertii Imperii", так обозначил В. Клемперер объект своего изучения. В дневнике автор характеризует специфические черты немецкого языка периода фашизма — его бедность, отсутствие разницы между письменной и устной речью и даже особую пунктуацию [4].

Ю. Шрейдера: "Названные принципы должны не осознаваться, а выступать в качестве неясной установки, не подлежащей критической рефлексии" [1, с. 232].

Итак, прописная — графический знак, внешним образом демонстрирующий сущностную особенность имен собственных. Лишенные в связи с идеологическими установками этого внешнего показателя имена собственные, разумеется, остались самими собою. Приведем для сравнения такой пример. В титрах кино- и телефильмов в последние годы появилась мода имена и фамилии исполнителей давать без прописной — одними строчными буквами (о том, что именно строчными, однозначно свидетельствуют начертания букв). Но имена и фамилии и в этом случае остаются тем, что они есть в языке и жизни. Из сказанного следуют два вывода: первый — лингвистические словари выборочно включают имена собственные; второй — лингвистические словари дают эти имена собственные в неправильном написании, со строчной.

После 1985 г. словам, относящимся к религиозной лексике, было возвращено их исконное написание, соответствующее их языковой сущности, во всей периодической печати. (Этот процесс сопоставим с возвращением исторических названий: *Калинин* опять стал *Тверью, Горький — Нижним Новгородом, Ленинград — Санкт-Петербургом, Свердловск — Екатеринбургом, Площадь Дзержинского* в Москве — *Лубянской площадью, Проспект Маркса — Охотным рядом*.) Однако этот закономерный процесс практически не затронул лингвистических словарей — имеются в виду словари, вышедшие после 1985 г., — "Словарь русского языка" С.И. Ожегова, 23-е изд., испр. (1990); два первых тома 20-томного Словаря современного русского литературного языка (1991); Орфоэпический словарь русского языка, 5-е изд., испр. и доп. (1989) и Орфографический словарь русского языка, 29-е изд., испр. и доп. (1991). Таким образом, лингвистические словари продолжают следовать дискриминационному орфографическому указу (или орфографической цензуре), искажающему языковую сущность слов, относящихся к религиозной лексике.

Подобная позиция авторов и составителей словарей, и прежде всего Орфографического, основной задачей которого является определение орфографической нормы для современной практики печати, скорее всего объясняется привычкой не включать в словник имена собственные и непониманием того, что они там все-таки находятся. Своего рода круговая оборона лингвистических словарей, авторы которых не считают нужным учитывать изменений, происходящих в общественной жизни, в духовной сфере и как следствие их — в современной практике печати, создает непрогнозируемую лингвопсихологическую ситуацию. Становится очевидным, что современная практика печати, не находя в лингвистических словарях ответа на интересующие ее злободневные вопросы, перестает ориентироваться на них, а конкретные носители языка, не доверяя рекомендациям современных словарей, ищут ответы на свои вопросы исключительно в Словаре В.И. Даля и даже Даля "дореволюционного издания". Например, авторы статьи "Не сотвори себе кумира" И. Гамаюнов и Н. Гамаюнова для истолкования слова "кумир" обращаются к Словарю В.И. Даля: «какое интересное превращение: идол, истукан, болван (так объясняет В.И. Даль слово "кумир")» [5]. Депутаты разных уровней и журналисты, представленные на телевизионных экранах, на радио или выступающие в газетах и журналах, слова *свобода, коммерция, рынок, спекуляция* трактуют исключительно по словарю В.И. Даля: "Страна на пути к рыночной экономике. И вот глава правительства Н.И. Рыжков объявляет войну спекулянтам. А знают ли члены нынешнего кабинета, кто такой спекулянт? Загляните в словарь Даля дореволюционного выпуска. Там сказано, что спекулянт — это предприниматель, деловой человек, коммерсант. За рубежом — бизнесмен" [6] и др.

В имеющей место психологической ситуации любопытный феномен представляет собою современная практика печати: газеты, журналы, книги, вышедшие после 1985 г., с поразительным единодушием без какого-либо известного

нормативного законодательного акта (хотя по некоторым данным издательства руководствуются указаниями некоей инструкции), впрочем, как не было и законодательного акта писать их со строчной, прекратили действие жесточайшей орфографической цензуры в отношении слов *Бог, Господь, Богородица, Богоматерь, Библия, Ветхий Завет, Новый Завет* и др., существовавшей более семидесяти лет, и восстановили их исконное написание[2]. Приведем только один пример: "Даже человек неверующий скажет сегодня, что *Господь* обратил свой благосклонный взор на Россию. Ибо рациональными соображениями не объяснишь, отчего провалилась дьявольская интрига путча. Остается списать бесславный конец путча на мягкосердечность советских генералов и партийных заговорщиков. Но это кажется абсурдным. Поэтому я и говорю, что *Господь* спас Россию" (Л. Ионин, И новый Октябрь позади... Новое время, 1991, №36). Между тем все словари, включая Орфографический, продолжают писать слово *Господь* со строчной.

В сложившейся ситуации у словарей и лексикографов нет иного выхода, как включить, с привычным для нашей жизни опозданием, имена собственные в общий словник, дать их, так сказать, открытым текстом. И прежде всего это должен сделать Орфографический словарь, поскольку он определяет орфографическую норму и именно он должен создать прецедент для других лингвистических словарей. Приходится признать, что в последнем 29-м испр. и доп. издании Орфографического словаря, вышедшем в 1991 г., слова *Бог, Вседержитель, Всевышний, Господь, Богочеловек, Мессия, Богоматерь, Богородица, Библия, Евангелие, Пасха* (праздн.), *Рождество, Сретение* и некот. др. приведены в орфографически ошибочном написании. Следует дать в Орфографическом словаре и отсутствующее в нем имя *Христос*. В Орфоэпическом словаре это имя наличествует: «*христос, христа,* мн. неуп. ◊ *братья и сестры во Христе*. Обычно в качестве имени собственного с "*Х*" прописным». В этой словарной статье авторская позиция представлена с подкупающей откровенностью: привести слово следует, но с прописной даже для этого абсолютно очевидного случая в лингвистическом словаре по не писаному, но последовательно соблюдаемому принципу оно дано быть не может. Однако избранный способ подачи поражал даже и в застойные годы. Некорректной представляется и грамматическая помета "множественное неупотребительно".

Представляет интерес, что имя *Христа* было включено в 22-е и 23-е издания Словаря С.И. Ожегова (1990). В 16-м же издании этого словаря (1984) оно отсутствовало. Имя *Христос* дается с пометой "с прописной буквы" в Малом толковом словаре (2-е изд., 1984), и, наконец, *Христос* с пометой "*Х*" прописное давалось в Словаре Д.Н. Ушакова. Этот том вышел в 1940 г. Ни в одном из указанных словарей не дается форма, используемая в Орфоэпическом словаре, "мн. неуп.". Но если уж Орфоэпическому словарю важно было подчеркнуть уникальность, единственность *Христа*, то в этом случае могла быть использована помета, применяемая в Словаре Д.Н. Ушакова для других слов, таких, как *Пасха, Рождество* и некот. под. — "только единственное". Существенно, в каком написании дается имя *Христа* в устойчивых (фразеологических) оборотах. У Ушакова — с прописной: большинство оборотов и примеров дается с именем *Христа* в начале предложения (возможно, это было сделано сознательно), например: "*Христос с ними*, пускай конкурируют!" (Салтыков-Щедрин), но в одном случае оборот приводится внутри предложения и с прописной: "Прости ты меня, *Христа ради*". Этот пример позволяет судить, что и в устойчивых оборотах в Словаре Д.Н. Ушакова сохраняется прописная у этого имени. В 4-томном толковом словаре русского языка, 2-е изд. во всех фразеологических оборотах имя *Христа* также дается с прописной со ссылкой на источ-

---

[2] Ср свидетельство Ю. Карякина "И гласность имеется, и демократия наклевывается, и церковь, наконец, отделяют от государства, и Бога все научились писать с заглавной буквы .." [7]

ники, например: "Дай, брат, *Христа ради*! (М. Горький, В степи); Спасибо, Константин Палыч, за чай, за сахар, извините, *Христа ради* (А.Н. Толстой, Деревенский вечер); *Вот тебе (те) Христос* — ... говорит, прямо в глаза ему смотрит... *вот-те Христос*, так и смотрит? (Тургенев, Чертопханов и Недопюскин)" и др. В Словаре же С.И. Ожегова во всех этих фразеологических оборотах имя *Христа* дается со строчной буквы, что проясняет идеологическую установку, но противоречит как традиции (достаточно сравнить со Словарем В.И. Даля), так и современной практике печати. Установка писать имя *Христа* по возможности со строчной с особой наглядностью проявляется в другой словарной статье этого словаря: "*исус, -а*, м.: *потянуть к исусу* кого, что (прост.) — потребовать к ответу". Стоило ли ради этой неизвестной фразы приводить имя *Иисуса* в написании со строчной в словаре, включающем лишь наиболее употребительную лексику? И из чего было выведено, что в данном контексте имя *Иисуса* (*Исуса*) следует писать со строчной? Показательно, что этого слова нет в других словарях.

Вернемся к Орфоэпическому словарю. Самостоятельной словарной статьей в нем дается прилагательное *христов*: *христов день, христова невеста*; *именем христовым* — все даны со строчной. При этом Орфоэпический словарь не одинок. В Сводном словаре русской лексики [8] прилагательное *христов* дается в написании только со строчной по источникам: Словарь Ушакова; 4-томный, 1-е изд.; 17-томный; Орфографический; 4-томный, 2-е изд.

Однако если обратиться даже к действующим Правилам орфографии 1956 г., то в соответствии с ними написание *христов* со строчной противоречит § 99 этих Правил: «Пишутся с прописной буквы прилагательные, образованные от индивидуальных названий людей, мифологических существ и т.п. а) если они являются в полном смысле слова притяжательными (т.е. выражают принадлежность чего-либо данному человеку, мифологическому существу) и содержат в своем составе суффикс *-ов*(*-ев*) или *-ин* (без последующего суффикса *-ск-*), например: *Марксов "Капитал", Далев словарь, Зевсов гнев, Лизина работа*». И поскольку в § 96 Правил приводится имя Христа в ряду имен, пишущихся с прописной, — *Христос, Будда, Зевс, Венера, Вотан, Перун, Молох*, — то и прилагательное *Христов* должно писаться с прописной, наряду с *Зевсовым гневом, Марксовым "Капиталом"* и *Далевым словарем*, тем более, что в сочетаниях *Христово имя, Христово слово, Христов лик, Христов образ, Христова заповедь* и др. под. притяжательность наличествует. Таким образом, "все врут календари", а все словари узаконивают орфографически ошибочное написание *христов* со строчной буквы, противоречащее действующим Правилам орфографии.

Справедливости ради следует сказать, что в практике печати прилагательные от имени *Христа* — *Христов, Христова, Христово* — даже и в застойные годы писались с прописной, игнорируя единодушные рекомендации всех лингвистических словарей. Например, "Повести и рассказы" П.И. Мельникова (Андрея Печерского) (М., 1985): *имя Христово* (с. 268, 275), *кровь Христова* (с. 270 — 2 раза), на страшном *Христовом судилище* (с. 295) и т.п.; сб. "Марьина роща" (М., 1984): "Убежденный с некоторого уже времени в истине *веры Христовой*, и он наконец всенародно принял ее..." (В.К. Кюхельбекер, Адо, с. 92); "Александрия была тогда *поклонница Христова*...; *воином Христовым*; *царство Христово, Слово Христово*; *служитель Христов* (А.И. Герцен, Легенда, с. 278, 285, 286, 290) и т.п.

Имя Христа, приведенное или отсутствующее в словарях, хорошо вводит в проблему нормы, орфографической нормы, грамматических помет применительно к именам собственным. В Орфографическом словаре нет ни *Христа*, ни *Иисуса* (*Исуса*), но дается *христосик*. Комментарии, как говорится, излишни.

Ранее было сказано, что используемая в Орфоэпическом словаре грамматическая помета "множественное неупотребительно" при имени Христа выглядит

некорректной. Она же сопровождает в Орфоэпическом словаре и словарную лексему "*госпóдь, гóспода,* мн. неуп.". Как уже отмечалось, из имеющихся помет более уместной представляется помета, используемая в Словаре Д.Н. Ушакова для слов *Пасха, Рождество* и некот. др. — "только единственное". В такой же мере некорректной представляется грамматическая помета "междометие", сопровождающая обращения *господи* и *боже* в Орфоэпическом и других современных словарях (в Орфографическом приводится только *господи* с пометой "неизм."). В Словаре Д.Н. Ушакова эти обращения определяются как звательная форма, что выглядит гораздо более соответствующим сути явления.

Следует признать, что периоду более чем семидесятилетнего внедрения атеистического сознания вполне соответствовали пометы "множественное неупотребительно" по отношению к имени *Христа,* превращение *Господи* и *Боже* в междометия и даже стремление писать имя *Христа* и *Иисуса* (*Исуса*) со строчной. В такой же мере отвечающей идеологическим требованиям времени является формулировка § 96 Правил 1956 г.: "Пишутся с прописной буквы индивидуальные названия, относящиеся к области религии и мифологии, например: *Христос, Будда, Зевс, Венера, Вотан, Перун, Молох.* Примечание. Индивидуальные названия мифологических существ, превратившиеся в имена нарицательные, пишутся со строчной буквы, например, *молох империализма*" А § 102, в котором говорится о том, что *Октябрь, Возрождение, Ренессанс, Реформация, Домострой* пишутся с прописной, далее имеет продолжение (но не Примечание): "те же слова могут употребляться в качестве имен нарицательных, и тогда они пишутся со строчной буквы, например: в XVI в. *реформация* коснулась различных сторон культуры Германии (почему здесь *Реформация* рассматривается в качестве нарицательного? — *К.Л.*), *стиль ренессанс...*".

Подобные правила и служили основанием для написания *Бога, Богоматери, Богородицы, Мессии* и даже *Иисуса Христа* и *Господа* со строчной в практике печати и всех словарях.

Для сравнения покажем, как слово *Бог* давалось, например, в "Этимологическом словаре русского языка" А. Преображенского (М., 1910—1914): "*Бог,* Р. *Бога,* З. *Боже! ей-Богу*; с малой буквы *бог языческий*".

"Любовь и голод правили миром за вычетом одной шестой части суши... Здесь был язык с русскими глаголами и существительными, но исключительно советской семантикой", — пишет А. Кабаков [9]. Этой "советской семантике" соответствовала и орфография, и грамматические пометы в словарях. Будучи убежденными, что в словарях они имеют дело исключительно с апеллятивной лексикой, лексикографы привыкли оперировать рядами, классами однотипных слов, чем и определялось стремление слова́ внутри этих классов уподоблять, унифицировать. Ономастика, напротив, требует индивидуального, штучного подхода во всех языковых параметрах — орфографии, акцентологии, орфоэпии (ср. произнесение [γ] в словах *Бог, Господи*), словообразовании, словоизменении.

Семидесятилетнему периоду атеистического сознания вполне соответствовало написание со строчной буквы слов, относящихся к религиозной лексике, и грамматическая характеристика восклицаний *Господи!* и *Боже!* как междометий[3]. Но жизнь непредсказуема, и в такой же мере непредсказуем и язык. И как возвращена была прописная словам религиозной лексики в практике печати (включая и такие издания, как газета "Правда"), в такой же мере уходит "междометность" из обращений *Господи!* и *Боже!* и восстанавливается свойственная им исконная звательная форма: "А в Страстную Субботу, в мирный солнечный день... с наслаждением ворочаю завалы хвороста, натащенного наводнением. Как Ты, мудро и сильно ведешь меня, *Господи!*"; "О, дай мне, *Господи,* не

[3] Ср свидетельство Ю. Карякина: "Понимаете, мы изначально были страшно отравлены и, как я понимаю сейчас, больше всего — воинствующим атеизмом" [7]

переломиться при ударах! Не выпасть из руки Твоей!" (А. Солженицын, Бодался теленок с дубом, Новый мир, 1991, № 7, с. 92 и № 8, с. 57).

В контексте изложенного выше отношения к религиозной лексике становится понятным отсутствие в Орфоэпическом словаре прилагательного *господень, -дня, -дне* (*храм Господень, воля Господня, слово Господне*). В Орфографическом словаре всех изданий, начиная с издания 1956 г., это прилагательное было дано в краткой форме. Наличествует оно (также в краткой форме) и в Словаре ударений для работников радио и телевидения (М., 1984). В последнем издании Орфографического словаря (1991) краткая форма была включена во впервые введенную полную форму: *господний*; кр. ф. *господень, -дня, -дне*. Полная форма прилагательного была введена вслед за последними изданиями (1990) Словаря С.И. Ожегова. В издании этого Словаря 1984 г. прилагательное *господний* внутри словарной статьи *господь* отсутствовало. В Орфоэпическом словаре по своим языковым параметрам (прежде всего — произносительным) и полная и краткая формы *Господний*; *Господен, -дня, -дне* должны были бы присутствовать.

Лингвисты несут свою долю вины за разрушение культурных традиций и культурных представлений народа, воплощавшихся в сфере религиозной лексики[4]. Приведем в качестве примера "избранные места" из статьи кинорежиссера В. Мотыля "Что стало бы с нами, не обладай Горбачев мастерством компромисса?": «Он явился к нам в 85-м в затхлом безвременье ослепительным мессией. В миллионах отчаявшихся он зажег Веру в освобождение. Пушкин знал о намерениях "левых" покуситься на жизнь Государя. Но пострадавший от царя поэт встал выше личных обид перед Истиной, перед Богом» (Изв. 1991, 9 сент.). В этом небольшом отрывке с прописной даются *Бог, Государь, Вера, Истина*. А *Мессия* — со строчной. Впрочем, написание *Мессии* со строчной соответствует лексикографической практике. Все советские словари, а также "Правила" 1956 г. — в списке слов — приводят *Мессию* в написании со строчной буквы. Но также они пишут и *Бога*, и *Богоматерь*, и *Библию*, и *Рождество*, и *Пасху* и мн. др. В данном конкретном случае удивляет, что автор и газета "Известия" привели это слово со строчной, когда *Государя* и другие слова дали с прописной. Ведь *Государя* все лексикографические издания приводят также со строчной, как и *Мессию*. "*Мессия*, — говорится в Словаре В.И. Даля, — Помазанник; обещанный Ветхим Заветом Искупитель, которого верующие дождались во Христе, а евреи еще ждут". Имя собственное представлено в слове *Мессия* во всей своей полноте. Это одно из наименований *Христа — Богочеловек, Сын Божий, Искупитель* и *Мессия*. И потому так странно видеть его написанным со строчной. Впрочем, в той же газете "Известия" некоторое время назад *Мессия* был написан не только со строчной, но и отнесен к женскому роду.

Мессия с прописной буквы давался в "Этимологическом словаре русского языка" А. Преображенского (М., 1910—1914): "*Мессия*, Р. *Мессии*, из цсл., говорится об Иисусе Христе, но так же об ожидаемом евреями царе-освободителе". *Мессия* с прописной приводится в энциклопедическом словаре "Мифы народов мира". В специальной обширной статье, посвященной *Мессии*, между *Мессией* и *Иисусом Христом* ставится знак равенства: *М.* = *Иисус Христос* (т. II, М., 1982, с. 140—143). И даже если исходить из того, что в иудаизме и христианстве образ *Мессии* трактуется по-разному, то это не может служить препятствием к тому, чтобы *Мессию* осознавать уникальным явлением и понимать как имя собственное: существование нескольких Наполеонов не мешает каждого из них писать с прописной буквы.

---

[4] "... Идеологический диктат не сводится к воздействию извне, он нередко бывает внутренним, когда поведение человека подчиняется усвоенным им идеологическим установкам", — пишут А. Покмелкин и В. Похмелкин [10]

В современной практике печати *Мессия* чаще встречается в написании с прописной, например: "С таким же успехом люди могли бы попытаться ускорить приход *Мессии* при помощи увеличения производительности труда" (из интервью Ф. Искандера "Независимой газете", 1992, 4 янв.); "Явился наш *Мессия* / Простой малыш, как все, / Упрятала Мария / Его в хлеву в овсе". (О. Григорьев, Рождественская песенка, Огонек. 1992, № 1, с. 32) и др.

Весьма показателен следующий пример. В еженедельнике "Семь дней" (1992, № 17) на обложке номера было напечатано: «"Какое время на дворе, таков *Мессия*", — писал Андрей Вознесенский. Правда, почти двадцать лет назад"». Интересно, что во всех сборниках А. Вознесенского и в собрании его сочинений *Мессия*, в этом стихотворении, посвященном Вл. Высоцкому, написан со строчной.

Откровенно связанная с идеологией замена прописной на строчную в группе религиозной лексики безусловно имела своей целью принизить статус этой лексики, перевести из ряда явлений единичных и единственных в категорию слов обычных, нарицательных, приравнять ко всем, сделать как все. Эта акция была соответственно понята и воспринята носителями языка. Однако непредсказуемым образом она, как шлейф кометы, зацепила собой и другие языковые сферы. Из нейтрального графического знака прописная в некоторых своих употреблениях приобрела идеологический смысл: *Бог, Господь, Богоматерь* начинают неукоснительно писаться со строчной, а *партия, съезд, секретарь партии, пленум* и т.п. — с прописной. Отсюда в сознании носителей языка был сделан следующий шаг — к представлению об "уничижительной функции" строчной буквы, например, у имен собственных, называвших фамилии лиц, деятельность которых расценивалась как резко отрицательная: *гитлеры, иудушки-троцкие, берии, ежовы, ягоды* и др. устойчиво пишутся со строчной. В разные исторические периоды набор этих имен разный, но "уничижительная функция" строчной сохраняется. Обычно строчная в этих случаях идет "в комплексе" с множественным числом. Однако множественное число, хотя и встречается в именах собственных неизмеримо реже, чем единственное, но все же не может быть полностью исключено для некоторых групп собственных имен. Могут быть рассмотрены такие совершенно естественные примеры, как: Половина жителей этой деревни *Смирновы*, а другая половина — *Головины*. Или: Всех *Родионовых*, находящихся в аэропорту, просят обратиться к администратору. Ср. также: "Собранные под одной обложкой *Ленины* воспринимаются феноменом не культурного, а естественного происхождения — памятники казались особым видом флоры... Собрать *всех Лениных* в особый культурный парк. Остраненные, то есть возвращенные из небытия, *Дзержинские, Свердловы, Ленины* занимают места на теперь уже незримом, материально не так воплощенном коммунистическом Олимпе, чтобы оттуда осенять своих гонителей". (А. Генис, На обломках самовластья, Независимая газ., 1991, 24 сент.); «Представляю: Тихон (из "Бесов") *в Мараты* подался...» (Ю. Карякин, "Закружились бесы разны...", Лит. газ., 1992, 11 марта). Поэтому сохраняя специфические свойства имен собственных, не следует лишать прописной и фамилии лиц с подчеркнуто негативной окраской (тем более, что с течением времени она может меняться на прямо противоположную). Примеров подобного рода множество, приведем для сравнения лишь два: «А *чикины, юрковы, лысенки, гусевы* — ответят ли они за помощь заговорщикам? Эти начальники от журналистики столько лет морочили людям головы со страниц "Советской России", "Рабочей трибуны", "Труда", "Известий", "Московской правды", "Ленинского знамени"» (Куранты, 1991, 24 авг.). Другой пример: "Так что заставило Нестеренко пойти с доносом на своего учителя, давшего ему сценическую жизнь, или Образцову — против меня?.. А впрочем, *все эти Несперенки, Образцовы, Атлантовы* и иже с ними *прочие Мазуроки* — типичные воспитанники советской власти, и коммунистическая идеология с малолетства великодушно освободила их от

опасной химеры совести" (Г. Вишневская, Галина. История жизни. М., 1991, с. 502). Прописная в подобных случаях более лингвистически оправдана и потому выглядит естественнее. Ее следовало бы писать и в случаях — *Гитлеры, Троцкие, Берии, Сталины* и т.п. Воспользуемся образом, к которому прибегнул М.А. Булгаков в черновиках к письму И.В. Сталину. В них он называл себя "единственным литературным волком". "Мне советовали выкрасить шкуру, — писал Булгаков. — Нелепый совет. Крашеный ли волк, стриженый ли волк, он все равно не похож на пуделя" (см. [11]). Так и имена собственные. Написанные с прописной или со строчной, они своей сущности не меняют. *Мессия* остается *Мессией*, а *Гитлер — Гитлером*.

Следует сделать существенный вывод. Любое идеологическое воздействие на язык, в том числе на его орфографию, а лингвисты в большинстве своем склонны считать орфографию всего лишь "внешним костюмом языка", непредсказуемым образом сказывается на сферах языка, которым оно не было адресовано. Вряд ли удастся переломить представление об "уничижительной функции" строчной буквы по отношению к именам собственным, неосознанно сложившееся в головах людей. Не менее существенно, что в душах людей неуважение к имени оказывается связанным с неуважением к человеку как таковому.

Итак, словари в современной переломной общественной ситуации не могут сохранять прежнюю ригористическую позицию по отношению к собственным именам. Но особенно важно, чтобы эта позиция была изменена в Орфографическом словаре.

*

Однако при осуществлении данного намерения необходимо учитывать наличие весьма серьезного препятствия — существования прочной традиции набирать заглавные слова в словарях одним шрифтом, нивелирующим реальное написание слов со строчной или прописной буквы. Можно предположить, что подача заглавных слов без прописных определялась чисто эстетическими соображениями. Они же действовали и внутри словарной статьи: например, в Словаре Академии российской (СПб., 1789—1794, ч. 1—6) заглавное слово набрано более крупным, чем текст, прямым шрифтом; включенные в статью части словарного гнезда набраны курсивом с прописной буквы (опять нивелируется реальное написание слова со строчной или прописной). Таким образом, в Словаре на первый план ставится построение словарной статьи и выделение ее частей. Подобный графический подход был безусловно нагляден с точки зрения выделения самого заглавного слова и относимых к этому слову других слов гнезда, но он полностью игнорировал орфографическую характеристику слова, касающуюся написания его начальной буквы со строчной или прописной. В какой-то степени подобный подход отражал отношение к данному разделу орфографии.

В более позднее время (приблизительно через сто лет) академик Я.К. Грот писал в своем гимназическом учебнике "Русское правописание (Руководство, составленное по поручению Второго отделения Императорской Академии наук)" (1-е изд., 1885; 13-е изд., 1898): "Большие буквы составляют, собственно говоря, роскошь письма. В древности они ставились только в начале рукописи, позднее и в начале отделов текста, если он состоял из нескольких статей. Более употребляться стали они в средние века, и мало-помалу мудрствующие писцы довели это употребление до излишества. В наше время везде замечается стремление ограничить насколько можно пестроту письма, происходящую от больших букв... Правилам об употреблении больших букв не следует придавать слишком большого значения, тем более, что невозможно дать точных указаний на все встречающиеся случаи" (с. 87—88).

Сравнительно небольшой этот раздел правил (4 с.) обладал значительным достоинством — он опирался на естественно сложившуюся норму письма об-

разованных людей. В соответствии с рекомендациями Грота с большой буквы пишутся:

"4. Имена трех лиц Божества и высших существ, составляющих предмет религиозного почитания христиан: *Бог, Господь, Творец, Всевышний, Спаситель, Богородица, Святой Дух, Св. Троица* и т.п.

5. Титла царствующего в России Дома: *Государь Император, Наследник Цесаревич, Их Императорские Величества*" (с. 88).

Невыраженность в русских словарях строчной или прописной толкуемого слова не имела особого значения для практики письма: писали образованные люди в соответствии с естественно сложившейся традицией.

Ситуация кардинальным образом изменилась после 1917 г. Вместе с выброшенными из шрифтовых ящиков "лишними" буквами изменились и идеологические установки. Свидетельством того обстоятельства, что орфографии отводилось особое место в идеологической структуре нового общества, может служить достаточно известный в наши дни факт: "главным аргументом вины" для последующего четырехлетнего соловецкого заключения Д.С. Лихачева (с 1928 по 1932 гг.) послужил изъятый при обыске у него на квартире и даже не прочитанный им "шуточный доклад о преимуществах старой орфографии, писанный двадцатишестилетним филологом в подражание старообрядческим сочинениям XVII века" [12].

Изменилась вся орфографическая ситуация. Произошли перемены в социальном составе пишущих. Резко изменилось их число. Изменились идеологические установки. "Имена трех лиц Божества и высших существ, составляющих предмет религиозного почитания христиан", равно и "титла царствующего в России Дома" стали писаться со строчной, вытесненные прописной буквой "в названиях высших партийных, правительственных, профсоюзных учреждений Советского Союза: *Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи, Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов*" (Правила 1956 г., § 105, с. 59—60).

В этой измененной орфографической ситуации словари продолжали графически не различать прописную или строчную включенных в них слов. Однако это неразграничение в словарях XX столетия оказалось работающим в духе новых идеологических установок: слова *Бог, Господь, Всевышний* и др., представленные в словарях с орфографически не маркированной начальной буквой, стали всюду писаться со строчной. В поддержку ей практически все словари получили готовый блок первого значения слова *Бог*. В Словаре Ушакова (Т. I, 1935) он выглядел следующим образом: "По религиозным верованиям — верховное существо, стоящее будто бы над миром или управляющее им". Позднее в 4-томном словаре (М., 1981) этот текст был несколько отредактирован: "По религиозному представлению: верховное существо, сотворившее мир и управляющее им, или (при многобожии) одно из таких существ" и с незначительными вариациями повторялся во всех словарях. Самое удивительное, что и исторические словари использовали тот же семантический блок. Словарь русского языка XI—XVII вв. (М., 1975): "По религиозным представлениям — верховное существо, правящее миром, или одно из таких существ (в политеистических религиях)". В Словаре русского языка XVIII века (Л., 1985): "По религиозным представлениям и в идеалистической философии — верховное существо, высшая сила, сотворившая мир и управляющая им" (во всех примерах у слова *Бог* сохранена прописная). В Словаре языка Пушкина (М., 1956): "По религиозным представлениям, высшее существо, являющееся творцом вселенной".

Таким образом, было упорядочено как толкование семантики слова *Бог* в словарях разных веков, так и его написание, что вполне логично, — унификация семантики требовала адекватного себе орфографического оформления.

После 1985 г. в практике печати религиозной лексике была возвращена про-

писная буква. Но не в словарях. Словари на фоне современной печати выглядят несколько анахронистично, включая и самые последние их издания, например, 20-томное Словаря современного русского языка.

*

Традиция не различать прописные или строчные включаемых слов распространялась и на русские энциклопедии. Так, например, все слова в Новом энциклопедическом словаре ("Издательское дело, бывшее Брокгауз—Ефрон", Петроград, б.г., т. XXIV) набраны прямым, более крупным, чем основной текст, жирным шрифтом, и каждое слово дается с прописной. Данный энциклопедический словарь включает преимущественно имена собственные. Апеллятивы, представленные в нем (на поверхностный взгляд) не более 1—2% от общего числа включенных слов, также даются с прописной: например, *Левкой* (однолетние или многолетние травы), *Левулиновая кислота* (γ-кетокислота), *Левулан* (один из сахароколлоидов), *Лёв* (монетная единица в Болгарии), *Лифт* (см. Подъемные машины) и т.п. Однако поскольку имен собственных в данной энциклопедии значительное большинство, подача с прописной соответствует большинству включенных имен собственных.

Энциклопедии советского времени сохраняют традицию графического неразграничения имен собственных и апеллятивов в своем словнике: включенные слова набраны в них более крупным жирным (или полужирным) шрифтом одного ранга (без первой прописной буквы). Кроме того, внутри словарной статьи энциклопедии (например, в Советском энциклопедическом словаре — СЭС, М., 1980) сохраняется последовательное неразграничение имени собственного и апеллятива. Толкуемое слово представлено первой буквой — прописной с точкой: например, *годограф*. Примеры: *Г. скорости* или *Г. ускорения*; *голгофа,* холм в окрестностях Иерусалима, на котором, по христ. преданию, был распят Иисус Христос. Слово «*Г.*» употребляется как синоним мученичества и страданий («взойти на *Г.*»). Такой же графический способ подачи включаемых слов проводится и в энциклопедии "Мифы народов мира" (М., 1980). Способ графического неразграничения имен собственных и апеллятивов, сохраняемый советскими энциклопедиями, ставит перед пишущими орфографические вопросы, на которые в современных лексикографических изданиях или нет ответов, или они противоречивы. Как, например, следует писать слово *Голгофа*? С какой буквы его писать при значении "холм в окрестностях Иерусалима", с какой — при значении "синоним мученичества" (СЭС)? Если попытаться ответить на эти вопросы, обратившись к "Словарю иностранных слов" (М., 1988), то в нем, так же графически не разграниченными, будут даны: "холм близ Иерусалима" и за звездочкой (указывающей на переносное значение слова) — *"место мучений, страданий". Орфографический словарь русского языка (всех изданий, начиная с первого — 1956 г.) — со строчной. Орфоэпический — так же. Специальный словарь "Прописная или строчная?" (М., 1984): «*Голгофа* (холм в окрестностях Иерусалима); но: "идти *на голгофу*" (в знач. "идти на мученичество")».

На первый взгляд, вырисовывается картина написания достаточно определенная: название холма пишется с прописной, слово в переносном значении (если использовать определение Словаря иностранных слов) — со строчной.

Однако не вполне проясненным оказывается лингвистическое основание для написания слова со строчной. Что такое переносное значение слова, что можно считать переносным значением? В "Правилах" 1956 г. использовался другой критерий. Так, в Примечании 3 § 95 говорится: "Индивидуальные названия людей, превратившиеся из имен собственных в имена нарицательные, пишутся со строчной буквы, например: *ловелас, донжуан, меценат, ментор*. Но если такие названия лишь употребляются в нарицательном смысле, но не превратились в имена нарицательные, то они пишутся с прописной буквы, например:

Может собственных *Платонов* и быстрых разумом *Невтонов* Российская земля рождать (Ломоносов); Не каждый день рождаются *Гоголи* и *Щедрины*".

Если попытаться применить текст этого примечания к слову *Голгофа*, то в нем едва ли будут обнаружены новые "нарицательные" смыслы или очень зыбкое (для того, чтобы быть использованным в орфографии) определение "переносное значение" (Словарь иностранных слов, М., 1988: "Звездочка * указывает на переносное значение слова", с. 4).

Первое издание Орфографического словаря русского языка 1956 г., вышедшего под ред. С.И. Ожегова и А.Б. Шапиро (которые принимали активное участие и в работе над Правилами 1956 г.), позволяет обнаружить колебания лингвистов (и лексикографов) в рассматриваемых случаях. Как уже говорилось, *голгофа* включена в словарь со строчной, а несколькими словами ниже следует *голиáф, -а* (*г* строчное — в перен. значении); *Голиáф, -а* (*Г* прописное — собственное имя). Подобная подача слов заслуживает специального комментария. Во-первых, в первом издании Орфографического словаря была предпринята сознательная акция сломать лексикографическую традицию и включить имя собственное, написанное с прописной, в основной словник. О том, что С.И. Ожегов и А.Б. Шапиро понимали, что они ломали традицию, свидетельствует двоякое — графическое и словесное — подчеркивание строчной и прописной при введении разных значений слова *Голиаф*. Во-вторых, редакторы явно отдавали предпочтение привычному "нарицательному" ряду слов: первым было дано производное от собственного значение слова *голиаф*, вторым — этимон *Голиаф*, хотя логичным был бы обратный порядок — вначале то, что определяет, за ним — производное значение. Именно такая последовательность дается в "Орфографическом словаре для учащихся средней школы" Д.Н. Ушакова и С.Е. Крючкова (23-е изд. М., 1968): *Геркулес* (греческий герой), *геркулес* (переносно: силач). В-третьих, С.И. Ожегов и А.Б. Шапиро, будучи и авторами Правил, в словаре использовали не "нарицательное", а "переносное" значение.

В первом издании Орфографического словаря давалось также: *Рубикóн, -а* (*Р* прописное) и *Христá радú* (*Х* прописное).

Итак, слово *голгофа* в Орфографическом словаре давалось со строчной, в то время как *Голиаф* имел двоякое написание, а *Рубикон* — только с прописной. С лингвистической точки зрения слова *Голгофа* и *Рубикон* близки. И то, что они по-разному приводились в одном издании Орфографического словаря, свидетельствует о непроясненности данной орфографической проблемы (написания строчной или прописной). Показательно, что в последнем переиздании (23-е) Словаря С.И. Ожегова 1990 г. (этого слова не было в предыдущем издании словаря 1986 г.) оно дается следующим образом: "*голгóфа, -ы*, ж. (*Г*. прописное) (книжн.). Место мучений, страданий по названию холма близ Иерусалима, где, по христианскому вероучению, был распят Иисус Христос. Взойти *на Голгофу* (принять страдания, муки)". Совершенно очевидно, что вопреки существующей лексикографической норме в отношении этого слова Н.Ю. Шведова дает его только с прописной. И это решение можно лишь приветствовать: оно вполне совпадает с интуицией образованного человека, пишущего, в частности, *Кануть в Лету* (перен.) (Словарь иностранных слов. М., 1988) всегда с прописной. (Попутно следует отметить, что слово *Рубикон* в последнее издание Словаря С.И. Ожегова не включено, хотя оно едва ли менее употребительно, чем *Голгофа*.)

Создается впечатление, что и в словарях, и в энциклопедиях, использующих единообразный графический способ подачи включенных слов, как бы специально охраняется тайна написания слов со строчной или прописной буквы. (Не помогает раскрытию этой тайны и специальный словарь "Прописная или строчная?"). Разумеется, единообразное графическое оформление слов в энциклопедиях, включающих вперемежку апеллятивы и ономастическую лексику, чрезвычайно

облегчает работу энциклопедических редакторов и корректоров, но оно же оставляет всех пишущих один на один с решением задачи со многими неизвестными.

Выход из создавшегося положения достаточно очевиден: необходимо наконец отказаться от единообразного графического оформления слов и в словарях и в энциклопедиях. Безусловно, первым это следует сделать Орфографическому словарю, святой обязанностью которого является давать разностороннюю орфографическую информацию о словах русского языка, не подвергая дискриминации ономастическую лексику. Этого требует культурная ситуация в языке и обществе.

*

"Здесь есть о чем поразмышлять, — пишет В.Ф. Иванова — лингвист, всю жизнь занимающийся орфографией. — Однако в прописных буквах, действительно, иногда отражаются, причем стихийно, какие-то оценки, связанные с умонастроениями и даже с идеологией" [13]. "Даже с идеологией" — мягко сказано[5]. Значительная часть параграфов раздела "Прописные буквы" "Правил русской орфографии и пунктуации" 1956 г. построена на откровенно идеологическом принципе, — о чем писалось выше. С течением времени идеологический диктат для лингвистов стал чем-то привычным, уже не вполне отчетливо осознаваемым. И в таком — неосознанном — виде он присутствует в рекомендациях словарей, орфографических пособий. И поскольку с годами он (диктат) из области ясного сознания переместился в область полусознательного или даже бессознательного, той самой привычки, которая "свыше нам дана", — от него весьма трудно освободиться.

В орфографической истории можно производить раскопки и, как в археологии, находить о многом говорящие черепки. Уже приводились некоторые примеры, свидетельствующие, что ономастика "открытым текстом" была включена в первое издание Орфографического словаря русского языка 1956 г. Эти немногие примеры, действительно, весьма красноречивы: так, *Геркулес* и *Голиаф* даны в двух написаниях, со строчной и прописной, с приводимыми в скобках объяснениями разницы в написании; приведенная несколькими словами выше *Голиафа Голгофа* — в одном, со строчной, без каких-либо пояснений; аналогичное *Голгофе* слово *Рубикон* — только с прописной, с приведенным в скобках пояснением, что *Р* в слове следует писать прописное (хотя *Р* прописное дано в тексте Словаря). Из четырех слов — *Геркулес, Голиаф, Голгофа, Рубикон* — одно слово (*Голгофа*) может быть отнесено к религиозной лексике; именно оно дается в Словаре со строчной. Выше отмечалось, что в первое издание Орфографического словаря было включено самостоятельной словарной статьей выражение *Христá рáди* с пояснением в скобках *Х* прописное (аналогично тому, как это сделано по отношению к слову *Рубикон*). Включение этого выражения в Орфографический словарь лингвистически и орфографически было

---

[5] Интересно, что именний место идеологический диктат в отношении религиозной лексики очевиден для многих, но не для лингвистов: "С чего начинается *родина*? — спрашивает Александр Кабаков и сам же отвечает. — В те времена, когда она писалась непременно с большой буквы, а *Бог* — с маленькой, все начиналось с идеи" (Московские новости, 1991, № 38) Столь же очевиден и идеологический характер всей культуры послеоктябрьского периода «Но дело в том, что в нашей стране слишком долго говорили одно, а подразумевали совсем другое Говорили "культура", а подразумевали "идеология"», — пишет К Кедров [14]

К размышлениям в области "орфография и идеология" стоит напомнить, что, например, отчество В.И. Ленина писалось (в твор пад.) иначе, чем отчества всех прочих Ильичей (см [15])

Академик Ст. Шаталин, анализируя свою жизнь, нашу жизнь и экономику, приходит к некоторым общим заключениям "Аграрный строй создан в форме неэффективной Это идеологизированная структура, придуманная аппаратом в крестьянской стране для решения своих политико-идеологических задач" [16]. И если сельское хозяйство является идеологизированной структурой, то что говорить о культуре, об орфографии.

вполне оправданно: непосредственно за ним следовали слова *христарадник, христарадничать*. Показательно, что при первом же переиздании Орфографического словаря (5-е, 1963) это выражение потеряло прописную и, соответственно, пояснение в скобках, а при следующем переиздании (13-е, 1974) было из словаря изъято (но оставлены *христарадник, христарадничать*). Таким образом, лингвистическая и орфографическая мотивации включения этого выражения в Словарь были принесены в жертву — чему, кому?

В плане анализируемой темы весьма показательными оказываются рекомендации словаря Д.Э. Розенталя "Прописная или строчная?". В основной словник этого словаря оказались включенными *Геркулес, Голиаф* в двух написаниях (как и в Орфографическом словаре 1956 г.). *Голгофа*, в отличие от Орфографического словаря (1-го издания), дана также в двух написаниях: *Голгофа* (холм в окрестностях Иерусалима); но: "*идти на голгофу*" (в знач. "идти на мученичество"). Слово *Рубикон* — отсутствует, равно как и Лета, с ее возможностью использования в разных контекстах, близких к тем, что приведены в Словаре при слове *Голгофа*. Ни *Христа*, ни *Иисуса* в основном словнике нет, равно как и прилагательных от них. В Приложении к Словарю под п. 14 приводятся "Названия, связанные с религией". Этот раздел содержит:

"1. Названия церковных праздников, религиозных постов пишутся со строчной буквы, например: *рождество, пасха, масленица, святки, ильин день, николин день, петров день, троицын день, великий пост, страстная неделя.*

2. Названия культовых книг пишутся с прописной буквы, если книга не имеет других названий, например: *Библия, Евангелие, Коран, Часослов* (но: *по библии, по евангелию, по корану*)" (с. 323). Приведенным текстом исчерпывается по Словарю список названий, связанных с религией.

Открыто дискриминационный характер написания данных названий со строчной очевиден, кроме того, он противоречит п. 3 "Имена прилагательные и наречия, образованные от индивидуальных названий" этого же Словаря:

«1. Имена прилагательные, обозначающие индивидуальную принадлежность, пишутся с прописной буквы, если они образованы от собственных имен лиц, кличек животных, названий мифологических существ при помощи суффикса *-ов-* (*-ев-*) или *-ин-*, например: *Марксов "Капитал", Гегелева "Логика", Ван-Дейкова мадонна, Зевсов гнев, Одиссеевы странствия; Надина кукла, Муркины котята.*

Но подобные прилагательные пишутся со строчной буквы во фразеологических оборотах и научных терминах, например: *ариаднина нить, ахиллесова пята, геркулесовы столбы, прокрустово ложе, эзопов язык; архимедов рычаг, базедова болезнь, рентгеновы лучи*» (с. 309). Этот пункт, достаточно спорный сам по себе, приведен лишь для того, чтобы подчеркнуть, что слова, включенные в "Названия, связанные с религией", противоречат рекомендациям п. 3.

Если же отвлечься от действующих орфографических правил (т.е. продолжающих считаться действующими), рекомендаций орфографических пособий, всех современных словарей и обратиться к современной практике печати — практике реального письма, то с некоторым изумлением в ней можно увидеть достаточно редкую последовательность в несоблюдении всех вышеозначенных правил и рекомендаций. Современная практика печати, как это ни странно, при написании религиозной лексики руководствуется, скорее, "Русским правописанием" Я.К. Грота:

"С большой буквы пишутся:

4. Имена трех лиц Божества и высших существ, составляющих предмет религиозного почитания христиан: *Бог, Господь, Творец, Всевышний, Спаситель, Богородица, Святой Дух, Св. Троица* и т.п., также слова: *Провидение, Промысел...*

5. Титла царствующего в России Дома: *Государь Император, Наследник Цесаревич...*

9. Некоторые названия праздников, недель и дней, имеющих особенное церковное значение: *Рождество Христово, Благовещение, Великий пост, Страстная, Великий четверг...*

Но имена месяцев и дней недели, а также народные названия праздников и разных эпох года пишутся с малой буквы: *святки, масленица, мясоед, семик...*

12. Прилагательные притяжательные, образованные от личных имен посредством окончаний *ов* и *ин*: *Петрово время, Гомерова эпопея, Екатеринин век*" (с. 88, 90, 91).

Таким образом, дооктябрьская традиция написания религиозной лексики вернулась на круги своя. Вся же современная нормативная литература (включая и словари) оказалась действующей в духе прежних идеологизированных правил. Но, похоже, "этого никто не замечал".

Разумеется, в естественной жизни письменного слова в практике печати остаются конкретные вопросы, непроясненные зоны. Однако из имеющегося у нас горького опыта разрыва с естественной письменной традицией и возвращения к ней можно сделать некоторое наблюдение. После Октября дискриминационный диктат в отношении религиозной лексики действовал в одном направлении — в направлении от прописной к строчной: *Бог — бог, Богоматерь — богоматерь; Рождество — рождество, Пасха — пасха, Господь, Господи! — господь, господи!, Христос, Христов, Христово, Христова — христос, христово, христова* и т.д. В современной практике печати явно заметна обратная тенденция: в спорных случаях при написании религиозной лексики отдается предпочтение прописной (например, у Грота — *патриарх*, в современной печати — *Патриарх* и т.д.). Из этого наблюдения можно сделать лингвистический вывод более общего характера. В отношении ономастики при выборе написания с прописной или строчной действует принцип "презумпции имени собственного", т.е. предпочтение отдается прописной букве. Существенно, что этот принцип совпадает с интуицией пишущих, а не противоречит ей.

Между тем число таких явно противоречащих интуиции пишущих примеров в современных словарях нарастает. В Орфоэпическом словаре дается: "*ла́зарь: ла́заря петь*". *Лазарь* (со строчной) включен в последнее издание Словаря С.И. Ожегова: "*ла́зарь*: 1) *наобум лазаря* (прост. неодобр.) — то же, что наобум; 2) *ла́заря петь* (прост. неодобр.) — плакаться, жаловаться..." Но личное имя *Лазарь* остается в этих выражениях в своем первозданном виде, т.е. реальным личным именем. В Словаре Д.Н. Ушакова это же выражение дается с прописной без какого-либо сведения имени к нарицательному: "*Лазаря петь*. См. *петь*". "*Лазаря петь* (неодобрит.) — жаловаться на судьбу, плакаться, прикидываться несчастным [имя из евангельской притчи *о нищем Лазаре*]. Со мной *Лазаря петь* нечего, меня не проведешь. Тургенев". С прописной дается имя в этом выражении и в Словаре В.И. Даля: "*Петь* (*напевать*) *Лазаря* (т.е. упрашивать)".

*

В настоящее время создалась уникальная ситуация в области реализации письменного языка. Все нормативные издания, включая действующие орфографические правила, лингвистические словари разных жанров, в том числе и Орфографический словарь, все энциклопедии ориентированы на орфографические принципы, сложившиеся и воспринятые и лингвистами и обществом в послеоктябрьскую эпоху.

Современная практика печати (газеты, журналы, книги) при написании весьма обширной (как стало вдруг очевидным) группы религиозной лексики вернулась в отношении нее к орфографическим нормам дооктябрьского времени — к гротовской орфографии. Выход из сложившейся конфликтной орфографической ситуации достаточно очевиден.

1. Необходимо изменить рекомендации раздела "Правил русской орфографии и пунктуации" 1956 г. "Прописные буквы", там, где они касаются написания религиозной лексики: вернуться к гротовским рекомендациям. Естественно складывавшиеся нормы письма относительно этой особой лексики наглядно продемонстрировали свою жизнестойкость: они возвратились на страницы современной печати так свободно и естественно, как будто не было по крайней мере двух поколений, выросших в условиях идеологических орфографических шор.

2. В лингвистических словарях необходимо изменить графический способ подачи слов — ввести прописную букву: писать слово в словаре с той буквы, с какой оно пишется в тексте. Абсолютное большинство слов религиозной лексики в словарях представлено, но трактуются они как нарицательные и пишутся со строчной.

3. То же самое следует сделать и в современных энциклопедиях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Шрейдер Ю.* Синдром освобождения. Новый мир. 1991. № 11. С. 232.
2. Дневник Б.М. Эйхенбаума. Запись 1924 г. // Столица. 1991. № 50 (56). С. 36.
3. *Толстая А.* Дочь. М., 1992. С. 383—384.
4. *Клемперер В.* Непокоренный язык (из записной книжки филолога)// Вестник АН СССР. 1991 № 12
5. *Гачаюнов И., Гамаюнова Н.* Не сотвори себе кумира // Лит. газ. 1992. 29 янв.
6. Огонек. 1990. № 46. С. 4.
7. *Карякин Ю.* Закружились бесы разны... // Лит. газ. 1992. 11 марта. С. 3.
8. Сводный словарь современной русской лексики: В 2-х т. М., 1991.
9. Московские новости. 1991. № 42. С. 3.
10. *Похмелкин А., Похмелкин В.* Блеск и нищета идеологии // Нева. 1991. № 10. С. 138.
11. Воспоминания о Михаиле Булгакове. М., 1988. С. 509.
12. Московские новости. 1992. № 12. С. 11.
13. *Иванова В.Ф.* Актуальные проблемы русской орфографии // РЯШ. 1991. № 1. С. 76.
14. *Кедров К.* Книжный беспредел // Известия. 1992. 23 марта.
15. *Букчина Б.З.* Об одном неглесном орфографическом исключении // Язык: система и подсистема. М., 1990. С. 75—76.
16. *Шаталин Ст.* "500 дней" и другие дни моей жизни // Независимая газ. 1992. 31 марта.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1993

© 1993 г. ШАТУНОВСКИЙ И.Б.

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, "СВЯЗКА" И НЕРЕФЕРЕНТНЫЕ СЛОВА

1. Выражаемая предложением "простейшая единица мышления, простейшая коммуникация (= пропозиция. — *Ш.И.*) состоит из сочетания (разрядка наша. — *Ш.И.*) двух представлений, приведенных движением воли в предикативную... связь" [1]. Соответственно, обязательным элементом семантической структуры предложения, наряду с субъектом и предикатом, является "связка" — идея соединенности представлений (концептов)[1], образующих пропозицию. В последнее столетие в логике и лингвистике преобладало мнение об избыточности этого понятия [2]. Решительный поворот к переоценке роли связки сделан в статье Н.Д. Арутюновой [3] на материале анализа номинализаций. Предложение (например, *Женщина поет*) может быть трансформировано в именные группы (ИГ) различного типа. В атрибутивной конструкции (*женщина, которая поет / поющая женщина*) в семантико-синтаксической вершине — субъект трансформированного предложения. Полные номинализации (*пение женщины*) предназначены для "вынесения" в вершину ИГ предиката. Поскольку "предикат суждения, понимаемый в узком и собственном смысле этого термина, указывает на признаки, свойства, состояния, действия и т.п. субъекта" [4, с. 164], полные номинализации имеют в типичном случае значение признака (в широком смысле, т.е. качества/процесса/действия/состояния и т.п.) [5, с. 71; 3, с. 356; 6, 7] Возникает вопрос: какой компонент находится в семантико-синтаксической вершине неполных номинализаций — (*то,*) *что женщина поет*? Ясно, что не предикат: ведь в этом случае полные и неполные номинализации были бы всегда эквивалентны, фактически же такая эквивалентность имеет место только в особых условиях. Неполные номинализации имеют значение факта или пропозиции [5, с. 71—72], в то время как полные номинализации в общем случае, как было отмечено выше, обозначают признак: *Мне нравится ее пение ≠ ... (то), что она поет.* В вершине неполной номинализации, делает вывод Н.Д. Арутюнова, связка ("копула", "предикативное отношение") [3, с. 357].

Таким образом, в вершину ИГ может быть вынесена любая из составляющих предложения. Можно говорить о предмете, имеющем признак, можно говорить о признаке, который имеет предмет, и можно говорить о том, что предмет имеет признак.

2. Многие из слов, традиционно относимых к предикатам, не могут образовать полные номинализации со значением признака (*существует, полагает, видит* и др.). Слова этого класса или вообще не образуют полных номинализаций (ср. [8; 3, с. 356; 9], или дают полные номинализации, которые имеют значение факта или пропозиции и не могут обозначать признак (процесс, действие, качество и т.д.) (ср. [10, с. 166]). Такие полные номинализации эквивалентны неполным и могут быть перефразированы посредством придаточных предложений того или иного типа.

Какие лексические группы образуют класс дефектных в отношении номина-

[1] Термины "представление", "концепт" употребляются в статье в широком смысле, для обозначения любого психического образа, независимо от степени его отвлеченности

низаций слов? Чем обусловлена эта дефектность? Перейдем к рассмотрению указанных вопросов.

3. Не образуют полных номинализаций связки (в узком смысле — слова́, связывающие субъект и предикат): *быть, являться, оказаться, носить, обладать, характеризоваться, иметь; свойственно, присущ(е)* и т.д.: *Он является учеником Шахматова → *его явление учеником Шахматова.*

В рассматриваемый класс входят и слова, выражающие тождество: *быть, являться, равняться, равен, эквивалентен, идентичен, тождествен.* Они или вообще не образуют полных номинализаций, или образуют полные номинализации со значением факта/пропозиции: *Тождество А и В доказано = Доказано, что А и В тождественны.*

Аналогичное положение со словами, обозначающими таксономическое "тождество" (= таксономическую предикацию) и, шире, вообще вхождение элемента в множество: *быть, являться, относиться (к), входить (в), состоять (в), принадлежать (к), образовывать* и др.

То же самое с локативными, посессивными и бытийными глаголами. Если они и образуют полные номинализации, последние имеют значение факта или пропозиции: *Декла крепко верила в существование бога и нечистой силы = ... в то, что бог и нечистая сила существуют.*

4. Сходство в деривационном и синтаксическом поведении слов рассмотренных групп наводит на мысль, что имеется какая-то сущностная общность в их семантике, которая и обусловливает это сходство.

Традиционно не только *является, тождествен, существует* и т.п. считаются имеющими разные значения, но и слово *есть* рассматривается как многозначное, имеющее разные и даже не связанные друг с другом значения. «... Нет никакой естественной или необходимой связи между глагольным понятием "существовать, быть, иметься в действительности" и функцией "связки"», — считает Э. Бенвенист [11, с. 205]. Б. Рассел, вслед за Г. Фреге, выделяет три основных значения связки *есть* (*is*): 1) смысл, в котором она утверждает бытие; 2) смысл тождества; 3) смысл предикации [12].

Я. Хинтикка, опровергая традиционный взгляд, утверждает, что для такого деления нет оснований: «... Мы не можем отделить одно от другого "есть" тождества, "есть" предикации и "есть" существования» [13, с. 322]. В теоретико-игровой семантике «различные использования слова *есть* (*is*) отличаются одно от другого благодаря контексту. Поэтому нет необходимости постулировать существование различных смыслов связки "есть"» [13, с. 330].

Как представляется, не только *есть* в различных употреблениях, но и *тождествен, существует, входит (в)* и др. слова перечисленных выше групп выражают одну и ту же идею — идею "соединения", "совмещения" представлений (концептов), образующих выражаемую предложением пропозицию; иными словами, все они представляют собой различные воплощения одной и той же сущности — "связки". Семантические различия между предложениями характеризующей предикации, таксономической предикации, тождества, существования и т.д. связаны прежде всего с различиями соединяемых в них концептов. В предложениях характеризующей предикации соединяются представление предмета и представление признака; в предложениях таксономической предикации совмещаются концепт предмета (образующий тему) и концепт класса (или концепты видового класса и родового класса); если совмещаются концепты равного "объема" (в физическом и/или логическом смысле), то предложение выражает тождество. Бытийные предложения, как отмечено в [14, с. 8], распадаются на два разряда. В первом из них соединяются концепт, отражающий пространственный (физический) фрагмент мира большего объема ("область бытия"), — в роли темы — и концепт, отражающий пространственный концепт мира меньшего объема ("бытующий предмет") (такие предложения обратны локативным). Во втором — соединяются концепт класса — в роли темы —

и концепт объекта, или концепт класса большего объема и концепт класса меньшего объема (такие предложения обратны предложениям таксономической предикации) [14, с. 8, 13 и др.; 15—17].

Если "областью бытия" является "весь мир", то ее обозначение может опускаться. Однако и в этих случаях *есть* (*существует*) полностью сохраняет свою связочную функцию, поскольку значение "мир" входит в семантическую структуру предложения, подразумевается [5, с. 205, 210; 14, с. 94; 16, с. 144]. Связка в этих предложениях соединяет "объект" и "мир"[2].

Мы, конечно, не хотим сказать, что *существует, тождествен, имеет* и т.д. — синонимы. Однако семантические различия между ними носят "поверхностный" характер: они сводятся к информации о характере значения соединяемых ими компонентов. Информация, которая уже содержится в присвязочных словах, дублируется в этих случаях формой самой связки (а в ряде случаев также различиями синтаксических конструкций).

5. Слова, значение которых сводится к "связке", нереферентны в полном смысле слова. Если имена обозначают предметы, а предикаты — их признаки, то "связки" не соотносятся ни с каким элементом объективной действительности. Они лишены, говоря словами Пешковского, "реального", "вещественного" значения [19].

Можно спросить: разве само соединение предмета и признака, целого и части и т.д. не существует в объективной действительности? А если такое соединение есть, то "связки" не лишены объективной референции: они обозначают это соединение. Ср. тезисы Витгенштейна: "Предложение — образ действительности" [20, § 4.01]; "То, что элементы образа соединяются друг с другом определенным способом, показывает, что так же соединяются друг с другом и вещи" [20, § 2.15] и т.д. Имеются, однако, веские основания полагать, что представление о том, что в действительности предмет соединен с признаком и т.д., является иллюзией, проекцией формальной и семантической структур предложения на окружающий мир. То, что соединено, должно быть в каком-то смысле отдельным; но не может предмет (в действительности) не быть самим собой, не может объект не быть частью мира (не существовать), не может быть (в действительности) предмета без признаков, равно как и признака без предмета. Только в зеркале человеческого сознания может быть отражено два предмета там, где в действительности предмет один. Только в нашем воображении может не существовать существующий объект и существовать несуществующий. Мы говорим, что нечто есть, только потому, что можем представить, что этого — нет. Мы говорим, что нечто не существует, только потому, что можем вообразить, что оно есть. Вопрос о существовании и несуществовании мог бы и не стоять, если бы человеческая фантазия не обладала этой способностью. Существующие объекты ничему не противопоставлены (в действительности), поскольку несуществующие объекты — не существуют. Только мышление и закрепляющий его результаты язык отделяют (абстрагируют) признак от предмета (а предмет — от признаков), форму — от субстанции, объекты — от пространства, часть — от целого, мир — от объектов и т.д., "разрывая" континуум на мысленные части (точнее, аспекты) [21; 4, с. 225, 227]. Но для того, чтобы получилась "картина" действительности, "то, что было разорвано, должно быть вновь соединено" [4, с. 225]. Связка — это знак для соединения в мысли того, что ранее было мыслью же отделено; она принадлежит не миру, но способу отражения мира в мысли и в предложении. Предложение (истинное) в целом отражает действительность, но это не значит, что каждый элемент предложения непосредственно отражает какой-то "кусочек" действительности и что яв-

[2] Разумеется, мир как компонент пропозиции — это мыслимый мир, мысленная, концептуальная "картина мира" [18]. Так, предложение *Кентавры существуют* рисует такую "картину мира", составной частью которой являются "кентавры".

ление действительности имеет тем самым ту же структуру, что и предложение. «Предложение, — пишет Хинтикка, возражая Витгенштейну, — само по себе не есть "образ" положения дел, но представляет, скорее, инструкцию по построению такого образа» [13, с. 53, 289]. Эту инструкцию мы изложили бы в таком (чрезвычайно огрубленном, конечно) виде: "Представь Пегаса (усы); представь мир (Васю); сомести (в уме) образы Пегаса и мира (усов и Васи)" — и в результате получается картина мира, в котором есть Пегас (или Вася, имеющий усы). Но слова *есть* и *иметь* в этой картине ничего не отражают. Они только средство для построения этой картины.

В свете сказанного становятся объяснимыми особенности рассмотренных слов в области номинализаций. Поскольку они не обозначают признака, нет стимула для образования полных номинализаций (служащих для вынесения в вершину ИГ признака). Поскольку, далее, их семантика сводится к "связке", полным номинализациям от них, если они и образуются, нечего иметь в вершине, кроме "связки". Но "связка" сама по себе ничего в действительности не отражает, поэтому (поскольку нельзя говорить "ни о чем"), она должна "прихватить" с собой всю пропозицию [21].

6. Вернемся к предложению и его номинализациям. Каждое повествовательное (констативное) предложение является в определенном смысле утверждением существования с областью бытия "весь мир" (ср. [20, § 4.1]). «К грамматической связи, объединяющей члены высказывания, имплицитно добавляется "это есть!", которое устанавливает связь между языковым рядом и системой действительности» [11, с. 170]. Таким образом, в элементарном предложении, как правило, имеются две "связки": одна связывает концепты в диктальную [22] пропозицию и мир[3]. Разумеется, собственно бытийные и небытийные предложения резко отличаются коммуникативной перспективой: если в первых связка "*есть* (в действительности)" входит в рему [14, гл. 2], то во вторых в коммуникативном фокусе содержание диктальной пропозиции.

Различия в значении (= модальности) номинализаций могут быть связаны с судьбой в них связки "есть (в действительности)". Если эта связка сохраняется, номинализация имеет значение факта, если она отсутствует, номинализация получает значение пропозиции в чистом виде ("нейтральную модальность") [23].

7. Продолжим рассмотрение класса слов, скрывающих в своем значении "связку". В него, в частности, входят слова группы "истинно": *истинно, ложно, правильно, неправильно, ошибочно, верно, справедливо, точно, соответствует действительности, прав* и т.д. (со всеми вытекающими последствиями в области номинализаций). *Истинно/ложно* = "есть/не есть (в действительности)" — по отношению к содержанию высказывания; остальные слова могут относиться как к содержанию высказывания, так и к содержанию (невысказанной) мысли. *Прав* в предложении относится непосредственно к человеческому субъекту, но подразумевает справедливость (правильность) его слов и мнений. *Прав, правильно, справедливо* могут употребляться в "наречном" смысле — для характеристики поступков и действий человека. Кажется, однако, что и в этом случае в конечном итоге оценивается "истинность", соответствие действительности того, чем руководствовались люди в своих поступках (их мнений, мыслей, взглядов и т.л.). Действительность при этом, конечно, следует понимать весьма широко: это не только материальный мир, но и идеальный мир моральных, эстетических, юридических, технологических и т.д. норм, установлений, правил, обычаев и т.д. (ср. *правильный* — "соответствующий правилам" [24, т. 3, с. 353]).

К "связке" сводится и значение конверсивов *называться/зваться/звать* — *зна-*

---

[3] В бытийных предложениях с областью бытия "весь мир" связка одна — "есть (в действительности)".

чить/означать/обозначать. В словарях оно толкуется через явно связочный глагол *иметь: называться* ("иметь, носить какое-л. название, имя" [24, т. 2, с. 355]; *значить* "иметь тот или иной смысл..." [24, т. 1, с. 618] и т.д. Помимо "связки", в значение этих слов входит информация о том, что то, что она соединяет, есть "предмет, явление" и "имя" или, шире, "знак".

Полные номинализации отсутствуют: *Это называется "ручка"* → **называние этого ручкой* и т.п.

Аналогично *весить* "иметь вес..." (ср. только аналитические обозначения *иметь длину, иметь рост* и т.д.), *стоить* "иметь стоимость, цену..." и др. Эти глаголы соединяют представление о предмете с представлением о его весе (цене). Кроме "связки" в их значении имеется указание, к какому роду относится то, что обозначает второй присвязочный терм (вес, цена и т.д.). Полные номинализации отсутствуют (*вес, цена* и т.д. имеют значение параметра [25]).

8. В рассматриваемый класс входят и базовые интенсиональные глаголы (глаголы пропозиционального отношения): *знать, думать/считать/полагать, верить* (и их многочисленная "родня"). Их элементарное в своей основе значение сводится к выражению идеи соединенности идеальных сущностей: субъекта, понимаемого как mind ("ум"), а не как body ("тело") [26, 27], и мысленного объекта (пропозиции, концепта, представления). Все эти глаголы описывают одну и ту же ситуацию: "имение" субъектом "в уме" мысленного объекта (или, скажем по-другому: наличие в "концептуальной картине мира" [18] субъекта того или иного "образа") (ср. [28, с. 137]). Показательно, что значения этих глаголов толкуются через *иметь, обладать* и т.д.: "иметь сведения" [24, т. 1, с. 617], "обладать знанием" [24, т. 1, с. 617], "иметь твердую уверенность" [24, т. 1, с. 150] и т.д., ср. также [27—31]. Поскольку мысленные объекты (пропозиции и т.д.) нас интересуют, как правило, не сами по себе, но как отражающие нечто в действительности, "имение в уме" пропозиции связано с "имением в уме" суперпропозиции, трактующей отношение пропозиции к действительности. Таким образом, при эксплицитном описании семантики и употребления данных глаголов должны быть рассмотрены две "связки": одна — "быть (в уме)" — соединяет субъект и пропозицию, другая — "быть (в действительности)" — соединяет пропозицию и мир (ср. [32]). При этом связка "быть (в действительности)" подчинена связке "быть (в уме)", поскольку она тоже входит в состав того, что есть в уме.

Различия между указанными глаголами можно (конечно, в известном приближении) свести к двум основным пунктам: 1) различия в актуальном членении предложений с этими глаголами, т.е. в том, какой семантический элемент находится в коммуникативном фокусе сообщения и какие, соответственно, относятся к данному, презумпциям); 2) различия в виде и наборе презумпций [33; 34, 10], относящихся к связке "быть (в действительности)".

В предложениях с *знать* коммуникативный фокус находится на связке "иметь (= быть) (в уме)". Поэтому в норме на глагол *знать*, выражающий эту связку, падает фразовое ударение: *Он знáет это*. При употреблении этого глагола имеется презумпция, что то, что мы знаем ("имеем в уме"), есть в действительности (применительно к пропозиции можно говорить о презумпции истинности, фактивности пропозиции [35])[4].

Различия в семантике предложений с *знать* обусловлены различиями в роде объектов, которые имеются в уме: *Я знаю, что Вася пришел* — то, что мы имеем в уме — истинная (фактивная) пропозиция; *Я знаю Васю* — в уме присутствует образ Васи (ср. в отрицательном предложении: *Ты знаешь Васю? — Не имею о нем ни малейшего представления!*); *Я знаю, как добраться домой* ≈ "имею в уме план, программу соответствующих действий" и т.д.

---

[4] При вторичном (контрастивном) употреблении *знать* "есть (в действительности)" перемещается в коммуникативный фокус: *Ты думаешь, что* p? — *Я не думаю, я знáю* ≈ "p éсть в действительности" (то, что я имею p в уме — презумпция).

В предложениях с *думать/считать/полагать* коммуникативный фокус на содержании пропозиции, которую субъект имеет в уме. *Думать* и т.п. отличаются от *знать* также в том отношении, что при их употреблении нет презумпции существования "положения вещей", описываемого пропозицией (презумпции истинности пропозиции). (Как представляется, именно это, связанное с презумпциями различие маркируется З. Вендлером в терминах "субъективности" (мнения) и "объективности" (знания) [27].)

9. Если говорить более точно, следует различать презумпции говорящего (далее Г) и презумпции субъекта пропозициональной установки, того, кто имеет нечто в уме (далее С). Предложения, в которых Г и С различаются, представляют собой контекст максимальной дифференциации для интенсиональных глаголов; предложения, в которых Г и С совпадают, образуют своего рода "слабую позицию" для этих глаголов, в которой некоторые семантические различия между ними нейтрализуются[5].

Презумпции Г и презумпции С не находятся на одном уровне: "мир" С вместе со всеми его презумпциями как бы вложен в "мир" Г [36]. Следовательно, когда мы говорим, например, что С имеет презумпцию истинности пропозиции (далее р), это значит, что он имеет такую презумпцию по мнению Г, т.е. Г считает, что С имеет такую презумпцию.

При употреблении *знать* и у Г, и у С имеется презумпция истинности р (т.е. он может быть употреблен только в том случае, когда Г считает, что р есть, и считает, что С считает, что р есть)[6].

Думать/считать/полагать употребляются в ситуации, когда у Г нет презумпции истинности р, а позиция С в отношении презумпций не маркирована, т.е. С может иметь презумпцию истинности р, а может не иметь такой презумпции — на употребление глагола это не влияет.

В *предполагает* и *подозревает* (с признаком "+плохое" в объекте), наоборот, у С нет презумпции истинности р, а позиция Г не маркирована (т.е. *Он предполагает, что его обманывают* может употребляться и в тех случаях, когда Г считает, что "его обманывают" — факт, и в тех случаях, когда он не считает, что это факт, и, наконец, в тех случаях, когда он считает, что это не факт, т.е. ложно).

Если С и Г совпадают в 1 л. наст. времени, то различия между *думать* и т.д. и *предполагать* и т.д. по понятным причинам нейтрализуются: *Я думаю, что* р = *Я предполагаю, что* р.

Далее коротко: *воображает/вообразил, что ..* — у С презумпция истинности р, у Г — презумпция неистинности р (ср. [33, с. 113—114]); *представляет/представил, что...* — и у Г, и у С презумпция неистинности р (в 1 л. различия между ними нейтрализуются); *догадывается* — у С нет презумпции истинности р, у Г есть такая презумпция, и т.д.

10. Глагол *верить* в позиции максимальной противопоставленности глаголам *думать* и т.д. ставит в коммуникативный фокус связку "быть (в действительности)": *Я верю в* р / *что* р = «Я считаю, что р — "е́сть"». Таким образом, можно сказать, что вера — это разновидность мнения, с тем отличием (сужением), что объектом, который имеется в уме в этом случае, является пропозиция, что нечто есть в действительности. Если содержанием мнения является пропозиция существования, то различия между *верить* и *думать/считать/пола-*

[5] Такое совпадение наблюдается прежде всего в предложениях с глаголом в 1 л. наст. времени: *Я думаю, что р* (я = Г = С). Отметим, что в высказываниях от первого лица с глаголом (несов. вида) в прош. времени различие между С и Г в отношении возможных презумпций сохраняется. *Я думал, что р* — Г — я в настоящем, С — я в прошлом.

[6] Не следует удивляться тому, что при описании ситуации "знания" мы употребляем слово *считает*. Ведь *считает* — это мое слово, я являюсь в данном случае Г, и поскольку у меня нет презумпции истинности р, я должен употребить слово *считает*. Но если я воображу, что у меня есть такая презумпция, то то же правило я смогу выразить так: *знать* употребляется в том случае, когда Г знает, что р есть, и знает, что С знает, что р есть.

гать практически нейтрализуются: *Он думает, что бог есть* ≈ *Он верит, что бог есть* (с тем отличием, что в *верить* есть презумптивный компонент "не имея достаточных рациональных оснований"). Узость значения *верить* позволяет ему выступать в разнообразных эллиптических конструкциях: *Он верит в леших* = "... в то, что лешие есть"; *Он верит Пете* = "Он считает, что то, что Петя говорит, истинно (т.е. соответствует действительности, есть)"; *Он верит в победу "Спартака"* = «считает, что победа "Спартака" есть/будет в действительности» и т.д.

Верить, однако, может употребляться и так, что в коммуникативный фокус попадает содержание диктальной (в смысле Балли [22]) пропозиции. В этом случае *верить* практически сливается с *думать/считать/полагать*: *В старину люди верили* (= *думали*), *что земля плоская.*

11. Предложенная трактовка семантики интенциональных глаголов позволяет, как нам кажется, очень просто объяснить особенности их языкового поведения. Так, глагол *знать* с огромным трудом принимает ряд пропозиций: *?Я знаю, что я люблю бананы / что я чувствую боль / что это стул* и т.п. (ср. [31, §§ 347, 466, 467, 530, 531 и др.]). Ясно, что мы знаем это. Но если это так, то почему мы не можем сказать : "Я знаю и т.д."? — спрашивает Витгенштейн [31, § 531]. Ответ, на наш взгляд, очевиден. Рассматриваемые предложения аномальны по той же причине, по которой аномально предложение *У меня есть голова.* Коммуникативный фокус в предложениях с *знать* на вопросе, имеет или не имеет соответствующую пропозицию в уме субъект, сама пропозиция, равно как и то, что она истинна, относится к данному. Однако если моему собеседнику уже известно, что я люблю бананы, то ему ясно, что я не могу не иметь этого в уме (не знать). Поэтому сообщение об этом нарушает "постулат информативности" [37; 34, с. 27; 10, с. 42].

Почему можно сказать *Я знаю Васю*, но направильно **Я думаю/считаю/полагаю Васю*? Потому что *думаю* ставит в коммуникативный фокус содержание того, что мы имеем в уме; последнее поэтому должно быть неизвестным, новым. Новое же может быть передано только пропозицией, только она, комбинируя старые, заранее данные элементы, производит новую их комбинацию, передающую новый смысл (ср. [20, § 4.03]).

Совершенно ясно также, почему можно сказать *Я знаю это/об этом/обо всем* и т.д., *Я верю этому/в это* и т.д., но нет смысла в **Я думаю/считаю/полагаю это* и т.д. Ведь в *знать* и *верить* коммуникативный фокус на связках "есть (в уме)" и "есть (в действительности)" соответственно; диктальная пропозиция относится в обоих случаях к данному, уже известному, поэтому ее можно (и часто, особенно для *знать*, даже лучше) заменить местоимением. Понятно, что такая замена в предложениях с *думать* и т.д., где пропозиция является новым, сообщаемым, делает предложение неинформативным, "пустым".

Если объект знания прономинализуется посредством *это*, то объект мнения может замещаться местоимением *так*. Различие в способах прономинализации отражает различие между "объективностью" знания и "субъективностью" мнения (последнее отмечено З. Вендлером [27]). Знают — одно и то же (= имеют в уме отражение одного и того же"), и это тождество отражается в употреблении *это*, но мнение у каждого свое (как у каждого внутри своя печень, сердце и т.п.). Оно, поэтому, не может быть тем же, но только таким же, как у другого. (Сказанное касается прономинализации после глаголов мнения, для существительного *мнéние* возможны колебания: *И я придерживаюсь такого же/того же мнения.*) Отметим, однако, что и в предложениях с *так* коммуникативный фокус не падает на *думаю* и т.п. (*И я тáк думаю*; **И я так дýмаю*; *Я думаю — не тáк*; **Я не так — дýмаю*). В коммуникативном фокусе остается содержание мнения (диктальная пропозиция), сообщается о том, что именно имеет в уме субъект, но сообщается особым образом: посредством сравнения с другим, известным мнением. Ведь мнение у каждого свое, и если

известно мнение$_1$ (в голове X-а), то еще ничего не известно о мнении$_2$ (в голове Y-а или X-а в другое время). Однако если мы скажем, что мнение$_2$ такое же, как мнение$_1$, то это уже сообщение о содержании мнения$_2$.

С местом коммуникативного фокуса связана также возможность "нулевого" заместителя при *знать*, но не при *думать*: — Приезжает X. — *Я знаю* (но не **Я думаю/считаю/полагаю*); *Я думаю, что* p. — **И я думаю*. (Как в предложениях с *думать* и т.п., так и в предложениях с *знать* возможен фокус на субъекте: *Кто́ знает это/думает так?* Однако это уже фактически предложения идентификации [5].)

По аналогичным причинам (различия в коммуникативной перспективе предложений с соответствующими глаголами) можно сказать *Я знаю кое-что/многое о Васе*, но не **Я считаю кое-что о Васе, Я знаю, как/кто/где/почему/когда...*, но не **Я думаю/считаю//полагаю, как/кто/где...* В предложениях с *знать* в коммуникативном фокусе "иметь (в уме)", поэтому можно умолчать о том, что́ мы имеем в уме, ограничившись указанием на то, о чём (по какой "теме", по какому "вопросу") имеющиеся у нас сведения. В предложениях с *думать* и т.д. "умолчание" пропозиции делает предложение неинформативным, поскольку его коммуникативная цель в том, чтобы сообщить, что́ именно мы имеем в уме, но не в том, чтобы сообщить, что мы имеем в уме это.

Заметим, что в свете сказанного представляются сомнительными попытки трансформационно вывести конструкции с прямым объектом и вопросительными словами при *знать* из структур с *что*-придаточными [27, 30, с. 212—213; 10, с. 240—244; 38][7]. Между первыми и вторыми имеется, как кажется, сущностное различие. *Что*-придаточные непосредственно выражают пропозицию, которая и е́сть наше знание (то, что мы имеем в уме), между тем как прямой объект и придаточное с вопросительными словами обозначают предмет или область, о́ котором (которой) мы имеем знание. Очевидно, далее, что мы имеем в уме не только пропозиции, но и мысленные объекты непропозициональной природы, ср.: *Я знаю/помню Петю/вкус кофе* (= *какой вкус у кофе/каков вкус кофе*)/*эту мелодию/запах сирени* и т.д. То, что мы имеем в уме в этих случаях — не пропозиции, но зрительные, звуковые, вкусовые и т.д. или комплексные образы, "отпечатки" объектов. Другое дело, что эти образы могут быть описаны посредством пропозиций (с большим или меньшим успехом)[8]. Но все в мире может быть (также с большим или меньшим успехом) описано с помощью пропозиций, например, это дерево может быть описано с помощью пропозиций. Но это не значит, конечно, что дерево можно свести к пропозиции.

Ввиду рассмотренного выше соотношения между презумпциями и коммуникативно значимыми (ассертивными) компонентами в семантике данных глаголов становится понятным их поведение под отрицанием. Как известно, отрицание воздействует на ассертивные элементы семантики и не затрагивает презумпции [40, 33, 34; 10]. В предложениях с *думать/считать/полагать* в коммуникативном фокусе содержание пропозиции, поэтому эти глаголы "пропускают" сквозь себя отрицание: *Я не думаю, что* p = *Я думаю, что не* p. В предложениях с *верить* в коммуникативном фокусе "есть (в действительности" соответственно этот компонент и подвергается отрицанию (отсюда своеобразное частичное "перенесение" отрицания в предложениях с этим глаголом): *Я не верю, что* p = *Я не считаю, что* p — *есть* = *Я считаю, что* p *не есть/что не* p[9].

---

[7] Ср. с близким по духу тезисом А. Вежбицкой: "Знать = мочь высказать истину" [39].

[8] Ср.: 1) *Вася знает, когда родился Есенин — знает, что Есенин родился в 1895 г.*, 2) *Как лететь с земли до звезд, как поймать лису за хвост, как из камня сделать пар, знает доктор наш Гаспар*, где для описания знания доктора может потребоваться грандиозная серия пропозиций, 3) *Я знаю вкус кофе/эту мелодию*, где пропозиции бессильны: чтобы знать вкус кофе (как и многое другое), надо его попробовать.

[9] В отрицательных конструкциях глагол *думать* может, — как правило, при поддержке усилительных частиц — попадать в коммуникативный фокус. В этом случае он подвергается воздействию отрицания (и "перенесения" отрицания не происходит): *Я и не думал, что такое возможно!*

Наконец, в предложениях с *знать* коммуникативный фокус на самом глаголе, поэтому он не пропускает отрицание, отрицается "имение" знания субъектом: *Он не знает, что* р ≠ *Он знает, что не* р.

Рассмотренные глаголы разделяют со всеми "связочными" словами недостаточность в области номинализаций. Они не дают номинализаций со значением действия, процесса, состояния, признака и т.д. в полном соответствии с тем, что предложения вида *X знает/думает/верит, что* р, обозначают не действие, не состояние и не признак X-а, а только факт (*знание* и *мнение* обозначают в общем случае мысленные объекты, которые люди имеют в уме).

12. Не имеют полных (процессных) номинализаций и близкие к интенсиональным глаголам глаголы восприятия (в первичном значении) — *видеть, слышать, чувствовать, ощущать, чуять, испытывать* и т.д.: *Вася видит лису* → **видение Васей лисы* и т.д. Значение их также сводится к "связке", соединяющей (в случае этих глаголов) субъект и перцептуальный объект. Иными словами, эти глаголы указывают, что в "перцептуальной картине мира" субъекта есть (имеется, существует) тот или иной перцептуальный образ: *X видит Y* = "X имеет зрительный образ Y-а = "X имеет Y в поле зрительного восприятия" (ср. [26, с. 135], а также [41; 30, с. 208, 219; 32, § 267]). Семантическая структура предложений с глаголами восприятия (в их первичном значении) более примитивна, чем семантическая структура предложений с интенсиональными глаголами. Образы, описываемые в предложениях восприятия, не "отвлечены", не "оторваны" от действительности абстрагирующей деятельностью мышления. "Картина мира" и сам мир, образы предметов и сами предметы слиты, не дифференцированы на уровне предложений восприятия. Для того, чтобы употребить интенсиональный глагол (например, *Я считаю, что* р), необходимо сначала "отвлечь" р от действительности (т.е. осознать, что образ или пропозиция, которую мы имеем в уме, это одно, а действительность — это другое), а затем как-то соотнести с ней, т.е. решить, есть р или нет, или, может быть, есть, и только потом можно употребить тот или иной интенсиональный глагол. *Видеть* же и т.п. не требуют такого решения. Если субъект имеет зрительный образ X, мы можем сказать, что он видит X, независимо от того, есть X в действительности или только кажется. Так, больной белой горячкой видит чертей, и мы не можем сказать, что ему кажется, что он видит, — нет, он видит их!

13. Наряду со словами, значение которых в целом (или основном) сводится к "связке", имеются слова, в которых "связка" составляет "вершинный" семантический компонент, которому подчинены предметные или признаковые компоненты: *женат* — "имеет жену", *рогат, горбат, усат, бородат* — "имеет рога, горб и т.д."; *грязен* — "имеет грязь в себе или на себе"; *белеет* — "имеется в поле зрения (о предмете белого цвета)"; аналогично *темнеет, голубеет, высится* и т.д. Полные номинализации, естественно, отсутствуют: **беление паруса, *вышение горы, *женатость Пети.*

Как кажется, в группу "связочных" слов входят также глаголы "чистой каузации" (каузативные связки): *нести, вызывать, причинять* и т.д. и глаголы со значением "чистая каузация + каузируемое положение вещей": *радовать, веселить, мучить, вращать* и т.д. (полных номинализаций нет). По-видимому (это требует изучения), наличие и место "связки" в семантике глагола играет определяющую роль в противопоставлении видов в русском языке. Значение глаголов совершенного вида представляет собой конъюнкцию, "связку" как минимум двух последовательных ситуаций, положений вещей, ср.: *На щеке снежинка тает, вот она была и нету = растаяла.*

14. Для того, чтобы полностью очертить и исчерпывающе описать класс слов, в значении которых ведущим компонентом является "связка", необходимы, конечно, дальнейшие исследования. Необходимо, в частности, решить вопрос о соотношении "связочных" слов и слов, выражающих отношение

(слов с "реляционным значением" [4]). Возможно, что "в глубине", в основе семантики по крайней мере многих из этих слов — "связка" (см. раздел "Реляционное значение" в [4]).

Чем более мы углубляемся в область слов, воплощающих "связку", тем яснее вырисовывается та чрезвычайно важная роль, которую "связка" играет в языке. В ней фокусируются черты, специфические для языка и мышления как особых систем отражения и познания мира. Изучение слов, заключающих в себе "связку", имеет поэтому не только чисто лингвистическое значение, но и позволит глубже понять устройство концептуальной системы человека — того аппарата, посредством которого человек видит и отражает в сознании мир.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Шахматов А.А.* Синтаксис русского языка. 2-е изд. Л., 1941. С. 19.
2. *Пирс Ч.С.* Элементы логики. Grammatica speculativa // Семиотика. М., 1983. С. 159—160.
3. *Арутюнова Н.Д.* Сокровенная связка (К проблеме предикативного отношения) // ИАН СЛЯ. 1980. № 4.
4. *Арутюнова Н.Д.* К проблеме функциональных типов лексического значения // Аспекты семантических исследований. Гл. 3. М., 1980.
5. *Арутюнова Н.Д.* Предложение и его смысл. М., 1976.
6. *Падучева Е.В.* Об атрибутивном стяжении подчиненной предикации в русском языке // Машинный перевод и прикладная лингвистика. Вып. 20. М., 1980. С. 9
7. *Vendler Z.* Linguistics in philosophy. Ch. 5. Ithaca; New York, 1967.
8. *Кубрякова Е.С.* Части речи в ономасиологическом освещении. М., 1978. С. 106.
9. *Степанов Ю.С.* Имена. Предикаты. Предложения. М., 1981. С. 192, 196.
10. *Падучева Е.В.* Высказывание и его соотнесенность с действительностью (референциальные аспекты семантики местоимений). М., 1985.
11. *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 1974.
12. *Russell B.* The principles of mathematics. L., 1903. P. 64.
13. *Хинтикка Я.* Логико-эпистемологические исследования. М., 1980.
14. *Арутюнова Н.Д., Ширяев Е.Н.* Русское предложение. Бытийный тип. М., 1983.
15. *Арутюнова Н.Д.* Функции определений в бытийных предложениях // Русский язык. Текст как целое и компоненты текста. М., 1982. С. 32.
16. *Семчерстова О.Н.* Понятие "множество" и "пространство" в семантике синтаксиса // ИАН СЛЯ. 1983. № 2.
17. *Babby L.H.* Existential sentences and negation in Russian. Ann Arbor, 1980. P. 99—101.
18. *Павилёнис Р.И.* Проблема смысла: Современный логико-философский анализ языка. М., 1983.
19. *Пашковский А.М.* Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956. С. 217, 220, 257.
20. *Витгенштейн Л.* Логико-философский трактат. М., 1956.
21. *Шалютин С.М.* Искусственный интеллект: Гносеологический аспект. М., 1985. С. 18.
22. *Балли Ш.* Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955.
23. *Падучева Е.В.* О семантике синтаксиса. М., 1974. С. 197.
24. Словарь русского языка: в 4-х т. 2-е изд., испр. и доп. М., 1981—1984.
25. *Апресян Ю.Д.* Лексическая семантика. М., 1974. С. 332.
26. *Wierzbicka A.* Mind and body // Syntax and semantics. V. 7. N.Y., 1976.
27. *Vendler Z.* Res cogitans: An essay in rational psychology. Ithaca; London, 1972.
28. Семантические типы предикатов. М., 1982.
29. *Hornby A.S.* Oxford student's dictionary of current English. Oxford. 1984.
30. *Hintikka J.* Knowledge and the known: Historical perspectives in epistemology. Dordrecht; Boston, 1974.
31. *Wittgenstein L.* On certainty. Oxford, 1969.
32. *Braithwaite R.B.* The nature of believing // Knowledge and belief. Oxford, 1968. P. 28.
33. *Падучева Е.В.* Понятие презумпции в лингвистической семантике // Семиотика и информатика. Вып. 8. М., 1977.
34. *Падучева Е.В.* Презумпции и другие виды неэксплицитной информации в предложении // НТИ. Сер. 2. 1981. № 11.
35. *Kiparsky P., Kiparsky C.* Fact // Semantics: An interdisciplinary reader in philosophy, linguistics, and psychology. Cambridge, 1971.
36. *Падучева Е.В.* К теории референции: Имена и дескрипции в неэкстенсиональных контекстах // НТИ. Сер. 2. 1983. № 1. С. 25.
37. *Grice H.P.* Logic and conversation // Syntax and semantics. V. 3. N.Y., 1975.
38. *Падучева Е.В.* Вопросительные местоимения и семантика вопроса // Разработка формальной модели естественного языка. Новосибирск, 1981. С. 97—98.
39. *Wierzbicka A.* Dociekania semantyczne. Wroclaw; Warszawa; Krakow, 1969.
40. *Фреге Г.* Смысл и денотат // Семиотика и информатика. Вып. 8. М., 1977.
41. *Cook W.J.* The relation of knowing to thinking // Knowledge and belief. Oxford, 1968. P. 17.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1993

© 1993 г. МАТВЕЕВ А.К.

СУБСТРАТ И ЗАИМСТВОВАНИЕ В ТОПОНИМИИ

Период "субстратомании" [1] в лингвистике миновал, но проблемы изучения субстрата на всех языковых уровнях по-прежнему актуальны, тем более что существование бессубстратных территорий сомнительно или они крайне редки (ср. [2, с. 15]). До сих пор привлекает внимание исследователей и топонимический субстрат, характеристике и методам изучения которого посвящено много работ. Однако остались пробелы, относящиеся не столько к свойствам самого феномена, сколько к условиям и механизмам его возникновения. Особый интерес представляет вопрос о соотношении субстрата и заимствования в топонимии.

Если понимать под субстратом реликты вымершего языка, которые сохранились после ассимиляции одного народа другим, и строго следовать этому принципу, то при выявлении субстрата и разграничении субстрата и заимствования встретятся две основные трудности. Во-первых, база для сравнения может быть недостаточна[1] или вообще отсутствовать, если совсем нет фактов, которые способны объяснить предположительно субстратное явление. Во-вторых, языковой факт, который, казалось бы, должен рассматриваться как субстратный, в действительности может оказаться заимствованным.

Естественно, что решающим фактором при различении субстрата и заимствования является наличие или отсутствие этнической ассимиляции, поскольку субстратные элементы могут возникать только при поглощении одного народа другим. Но на практике такая дифференциация неимоверно трудна, поскольку различны прежде всего механизмы процессов, а их результаты сплошь и рядом совпадают.

Как известно, предположения о субстрате в области фонетики и грамматики почти всегда встречают очень сильные контраргументы и само наличие субстрата тем самым становится проблематичным: достаточно вспомнить длительные споры о происхождении германского передвижения согласных и вообще специфики германских языков, аканья и цоканья в русском языке, конструкции *косить трава* в севернорусских говорах и т.п. Но даже если допустить, что германское передвижение согласных, аканье, цоканье и т.п. действительно имели иноязычный источник (что, вообще говоря, в разной степени сомнительно), а не возникли в результате спонтанного развития, фактически невозможно сколько-нибудь солидно аргументировать, что все эти явления именно субстратного типа, а не были заимствованы в давние времена из какого-либо смежного языкового источника, т.е. что не произошло заимствование, внешне напоминающее субстрат, но по механизму своего возникновения не имеющее с ним ничего общего.

Изучение субстрата в лексике несколько продуктивнее, чем в фонетике и грамматике. Его приметами могут быть, например, фонетические особенности слова, ср. сев.-русск. *вагмас* "заболоченный труднопроходимый лес" при фин. *vehmasto* "очень густой лиственный лес или кустарник", сев.-русск. *чильма*

[1] Ср.: «элементы, обусловленные субстратом, должны обнаруживаться в "чистом виде" в каком-либо сохранившемся ареале той семьи языков, к которой принадлежал вымерший язык» [3].

"окно воды в болоте" (ср. русск. диал. *глазина, глазовина,* а также *зенка* с тем же значением при фин. *silmä* "глаз", саам. *tš'all'm* тж., т.е. это слово характеризуется прибалтийско-финским вокализмом, но саамским консонантизмом) (подробности см. [4]), сев.-русск. *сурпа* "вид рыболовной снасти" при манс. *sirp* тж. [5, с. 7—8]. На субстрат могут указывать также генетическая изолированность слова, ср. сев.-русск. *пенус, пендус* "заболоченный луг" [5, с. 16—17], остаточный ("островной") ареал или корреляция ареалов [6, с. 82—91] и т.п. Но и при наличии специфических указаний на субстрат фактически любое из приведенных слов могло быть заимствовано в русские говоры из смежного "чудского" языка (диалекта), который впоследствии был ассимилирован. Следовательно, по механизму своего возникновения оно не является субстратным. Даже фиксация в одном-единственном населенном пункте не доказывает субстратное происхождение иноязычной по своему фонетическому облику лексемы: она могла быть заимствована из языка "чудских" соседей лишь в этом селении или со временем произошло сокращение ареала. Только различные дополнительные сведения могут в той или иной степени подтвердить предположение о субстратном источнике слова: письменные и устные свидетельства о дорусском населении, этнонимы и этнотопонимы, субстратная микротопонимия, групповой характер лексем, для которых предполагается субстратное происхождение и т.п. Однако ценность таких данных тоже относительна и последующие разыскания нередко лишают их доказательной силы. Например, предположение о том, что сев.-русск. *сурпа* принадлежит лексике "поганых" тоймичей, о которых упоминают древнерусские памятники [5, с. 7], не согласуется с зоной распространения этого севернорусского слова, охватывающей почти всю восточную часть Подвинья и даже некоторые территории Костромщины.

Таким образом, и в лексике субстратные включения и заимствования различать очень трудно.

Как правило, сравнительно легко выделяется топонимический субстрат с его точной локализацией и значительной устойчивостью, но оказывается, что и в этом случае могут возникнуть свои трудности.

Обычно все дорусские иноязычные названия считаются субстратными. Между тем и в топонимии тоже есть субстратные включения и заимствования, которые необходимо различать. Можно ли, например, считать субстратными названия таких крупных сибирских рек, как *Иртыш, Обь, Енисей, Лена, Амур* [7, с. 148—149]?

Русские за полстолетие, минувшее со времени похода Ермака в конце XVI в., положившего начало освоению Сибири, добрались до ее восточных окраин. В 1632 г. был основан Ленский (Якутский) острог. А в 1648 г. Семен Дежнев достиг северо-восточной оконечности Азии. В русских грамотах того времени, непосредственных свидетельствах первопроходцев [8], фигурируют и перечисленные гидронимы. Между тем русские только что пришли в эти края, и уже поэтому об обрусении какого-либо местного населения не может быть речи. Следовательно, нельзя согласиться и с предположением о субстратном характере приведенных названий. Это бесспорно заимствования.

Источниками таких заимствований были прежде всего "расспросные речи" пленных, заложников (аманатов), местных князьков, проводников и "сказки" самих же русских первопроходцев. Вот что пишется, например, в одном таком документе 1640—1641 гг.: "В прошлом, государь, во 148 году августа в 25 день пришел к нам, холопем твоим, на Ленский волок енисейский служивый человек Посничко Иванов... с новой с Юкагирской землицы... И мы... ево, Посничка роспрашивали, сколь далече Юкагирская землица от Якутцкого острогу и какие люди на ней живут" [8, с. 99—100]. Эта выдержка достаточно хорошо характеризует методику первоначального знакомства русских с новыми землями и их населением.

В "расспросных речах" и "сказках" того времени [8, с. 125, 139, 221,

298] упоминаются многочисленные "новые"[2] реки (*Ковыма=Колыма, Анадырь, Алдан, Мая* и др.), а в так называемых "чертежных росписях" указываются не только названия, но и расстояния между устьями рек, сведения о местном населении, пашенные места. Так, в "чертежной росписи" притоков р. Лены 1640/1641 гг. [8, с. 106—109] упоминаются реки *Кута, Турука, Жилимжа, Кꙋташама, Купта, Оленга, Аталанжа, Чичапта, Илга, Куленга, Онга, Киренга, Селенга* и мн. др.

Не менее показательна судьба освоения русскими гидронима *Обь*. Впервые эта река упоминается в русской летописи под 1364 г., а затем под 1483 г. в связи с походами на восточный склон Урала в Югру. На карте она появилась у Антона Вида в 1542 г. [10]. Но ведь сколько-нибудь постоянные русские поселения на Оби возникли только после похода Ермака и основания Березова (1593), Сургута (1594), Обдорска (1595). Значит, и в этом случае имело место заимствование: чтобы знать о Дунае или Двине, Оби или Енисее и даже о намного менее значительных реках, совсем не обязательно жить на берегах этих рек и ассимилировать местное население.

Этот вывод может быть приложен и к другим территориям. Известно, например, что интенсивное освоение Заволочья новгородцами началось в XI—XII вв. Но уже в первой половине XII в. в уставной грамоте новгородского князя Святослава Ольговича (1136/37 г.) упоминаются топонимы *Онѣгъ, Ракоула, Кегрела, Емьца, Вагь, Моша* и другие обозначения крупных объектов — значительных рек и центров будущих волостей [11]. И уже поэтому, а также в силу ранней датировки грамоты есть большие основания считать зафиксированные в ней названия заимствованными, хотя прямые доказательства отсутствуют, так как нет точных исторических данных о русских первопроходцах в Заволочье, аналогичных сибирским документам.

Таким образом, перед нами нечто вроде "культурных слов"[3], которые чаще всего прилагаются к более или менее крупным объектам (рекам, озерам, населенным пунктам) и связаны с древними торговыми и военными маршрутами. Объясняется это прежде всего важностью водных путей в старину и широкой иррадиацией соответствующих названий.

Однако процесс заимствования географических названий охватывает в какой-то степени и более мелкие объекты, особенно если они связаны с традиционными водными путями, а также деятельностью первопроходцев, путешественников и их проводников. Все ситуации и возможности трудно предусмотреть. Но даже между скандинавскими названиями днепровских порогов в грекоязычном трактате Константина Багрянородного (X в.), известными сейчас только в мире науки, и мансийскими по происхождению наименованиями гор Северного Урала, прочно освоенными русскими охотниками, а также научными и спортивными экспедициями, есть нечто общее: ни те, ни другие названия нельзя относить к субстратным.

Современная языковая действительность в районах с этнически неоднородным населением дает многочисленные примеры адстратного взаимодействия языков в области топонимии, которое можно наблюдать, например, в Предуралье, где и сейчас происходят интенсивные русско-татарские языковые контакты (ср. русск. *Верх-Тиса, Верхтисинская гора*>татар. *Вертиса, Вертиса-Тау*; татар. *Карга-Авыл, Яман-Зелга*>русск. *Карги, Еманзелга* и т.п.). Количество

---

[2] Ср.: "Как де они в прошлом в 156-м году с усть Охоты реки шли на *новую* (выделено мною. — *М.А.*) на Мотыхлей реку..." [8, с. 298]. В этой связи уместно вспомнить многочисленные коми-пермяцкие гидронимы *Вильва* "Новая река" в Приуралье, которые интерпретируются как следы вторичной коми-пермяцкой колонизации [9].

[3] Ср.: "культурные имена... проникают в каждый язык вследствие культурных контактов... это имена зарубежных деятелей культуры, названия иностранных государств и их наиболее известных географических объектов и т.п." [12].

адстратных топонимических заимствований зависит от устойчивости и интенсивности этнических и хозяйственных контактов, а сам процесс заимствования осуществляется на наших глазах. Механизм заимствования прочно освоенных географических названий затемнен. Такие топонимы, напоминающие субстратные (*Лена, Обь* и т.п.), можно называть квазисубстратными. Чем активнее была в прошлом торговая и военно-экспедиционная деятельность народа на той или иной территории, тем больше в его топонимии должно быть явлений квазисубстрата.

Квазисубстратные заимствования, казалось бы, тоже можно рассматривать как адстрат, но это справедливо лишь до некоторой степени. Квазисубстрат — явление более сложное: в его составе могут быть не только адстратные элементы, возникшие при маргинальном контакте, но и заимствования, связанные с волной иррадиации (многостепенной иррадиацией при передаче языковых данных от народа к народу) или маршрутным контактом. Квазисубстратные элементы могли восприниматься в разные время и восходить к самым различным источникам, иногда географически несмежным с языком-реципиентом. Такой квазисубстрат неоднороден и многообразен. В сущности он нередко представляет собой смешение фрагментов различных топонимических систем.

Настоящей лабораторией "свежего" квазисубстрата является, например, оронимия Северного Урала. Здесь на суровых горных плато постоянно никто не живет. Только в летний период оленеводы — манси, коми, ненцы — кочуют в этих местах со своими стадами. Осенью они откочевывают в зону тайги, где находятся их зимние жилища. Поэтому здесь нет и не может быть ассимиляции и соответственно субстрата. Но на уральских высокогорьях происходят изменения в соотношении хозяйственных зон и распределении оленеводческих угодий. Так, ненцы со временем перестали пасти стада в верховьях Печоры и Шугора, где теперь кочуют только манси и коми. Однако среди названий гор в этих местах наряду с мансийскими и коми есть и чисто ненецкие по происхождению — *Хальмер-Сале* (ненец. *Хальмер саля* "Отрог покойника") и гетерогенные — *Енгылей-Сяхыя* (ненец. *енгалёй* "продолговатый" + манс. *сяхыя* "гора"), но их невозможно рассматривать в качестве субстрата. Это снова заимствования, характерные для весьма специфического (сезонного) взаимодействия языков. А русские топографы, фиксируя оронимию на карте, еще раз совершают заимствование, которое затем кодифицируется, распространяется среди русских и начинает чем-то напоминать так называемое "книжное" заимствование[4], своего рода культурный перстрат (о термине см. [13, с. 16—17]), представленный в чистом виде освоенной русскими зарубежной топонимией типа Берлин, Лондон, Париж, см. [12].

Вывод о том, что многие названия, которые считаются субстратными, фактически являются заимствованиями, отнюдь не означает, что топонимический субстрат так же неуловим, как проявления субстрата в других сферах языка. Топонимический субстрат может обладать высокой степенью достоверности [14], но приходится всегда иметь в виду, что субстратные названия часто встречаются в сочетании с квазисубстратными, причем их соотношение может быть разным, а отличить субстрат от квазисубстрата (кроме ясных случаев вроде *Лена* и *Обь*) очень трудно или вообще невозможно.

В свете сказанного распространенный взгляд на гидронимию, особенно на названия значительных рек, как наиболее яркое проявление древних субстратов, нуждается в уточнении. Наиболее доказателен прежде всего многочисленный и плотный микротопонимический субстрат. Нет, например, сомнения в наличии

---

[4] За рамки проблематики нашей статьи выходят заслуживающий особого обсуждения сложный вопрос о соотношении собственно заимствований и иноязычных топонимов в русской передаче и в русском употреблении, а также о критериях их различения.

мощного пласта субстратной прибалтийско-финской микротопонимии в низовьях Онеги [15], но в то же время сам гидроним *Онега* (ср. также оз. *Онего* > *Онежское*) и названия наиболее крупных притоков этой реки (*Волошка, Кена, Моша*) могут быть и квазисубстратными (о гидрониме *Волошка* см. [16, с. 69]). Убедительно указывают на субстрат и плотные скопления иноязычных названий малых рек и ручьев, особенно с общим формальным показателем. Таковы на русском Севере гидронимы на *-важ* (*Аствaж, Ратвaж, Ухвaж* и т.п.), *-енгарь* (*Коненгарь, Синенгарь, Юченгарь* и т.п.), *-юг* (*Кузюг, Нюрюг, Рыстюг* и т.п.).

Таким образом, структура дорусской иноязычной топонимии сложна. Она представляет собой своего рода сплав субстрата и квазисубстрата, находящихся в различном соотношении на разных территориях. Механизм образования субстрата и квазисубстрата всегда различен, тогда как результаты процесса могут и совпадать и различаться. Иногда это удается использовать и соответствующим образом интерпретировать. Следовательно, постулат о квазисубстрате может иметь определенное методическое значение.

1. Становится ясным, почему во многих случаях названия крупных рек, а иногда и наименования менее значительных географических объектов трудно этимологизировать, обращаясь к местным языкам. Дело здесь не только в том, что эти названия могут быть очень древними. Такие топонимы бывают и относительно новыми. Важно другое: они могут быть заимствованы не там, где находится сам объект. Поэтому их этимологию иногда приходится устанавливать, опираясь на материал территориально далеко отстоящих языков. Это и оправдывает поиск индоевропейских этимологий для таких гидронимов, как *Двина* [16, с. 69—70] и *Обь* [17, с. 130], находящихся или находившихся некогда в зоне расселения уральских народов, а также помогает понять существование фонетического феномена слова *Двина* с недопустимым для финно-угров инициальным консонантом *дв-* на фоне полного господства финно-угорского субстрата и квазисубстрата. Это же объясняет, почему гидроним *Обь* имеет столь раннюю доколонизационную фиксацию в русских памятниках. При учете фактора квазисубстрата становится излишним и предположение о переносе названий крупных рек, например (*Западная*) *Двина* > (*Северная*) *Двина* [18], вообще говоря, и в принципе сомнительном.

2. Из всего сказанного следует, что квазисубстратные топонимы не могут использоваться как надежные этнические определители, ср.: "макротопонимы... этногенетические непоказательны" [2, с. 36—37].

3. В топонимии как определенного рода подсистеме языка тенденция и выравниваний и упрощений проявляется, может быть, даже в большей степени, чем в других подсистемах. Превращаясь в своего рода топонимическое койне, квазисубстратные топонимы нивелируются. "Бездиалектность" древнеевропейской гидронимии, на которую указывают ученые [2, с. 201], возможно, объясняется как раз тем, что она во многих случаях заимствовалась, а не "включалась" Это же относится и к праславянским гидронимам. Открытость этнических границ и нестабильность зон обитания и в том и в другом случае способствовали процессу заимствования.

4. В силу своего лингвоэтнического характера субстрат в топонимии более системен, чем заимствование. Поэтому системность иноязычных топонимических фактов всегда заставляет уделять топонимии определенной территории повышенное внимание, что в свою очередь способствует отделению субстрата от заимствования. В то же время следует иметь в виду, что топоним может оказаться субстратным (субсубстратным) для одного этноса и квазисубстратным для другого.

Так, в северо-восточной части Приобья на территории современного расселения обских угров широко распространены речные названия с финалями на носовой сонант (ср. хант. *Kasəm, Mosəm, Sotəm, Natəŋ, Piŋ* и т.п.). В русской передаче они оканчиваются на *м* (реже *н*) с предшествующим гласным (*Казым,*

Назым, Салым, Надым, Пим и т.п.). Эти названия не объясняются из обско-угорских языков и толкуются местным населением только на уровне народной этимологии.

Происхождение гидронимов на носовой сонант неизвестно, но достаточно высокая плотность ареала позволяет относить их к дообскоугорскому субстрату. Однако в русский язык они проникали как заимствования. На это недвусмысленно указывает "Книга Большому Чертежу" 1627 г., в которой засвидетельствованы названия рек *Казым, Мазым* (позднее в результате диссимиляции *Назым*), *Салым* [19].

Различение субстрата и квазисубстрата в какой-то мере способствует и решению проблемы соотношения общеязыкового и топонимического субстрата, интересной как в теоретическом, так и в методическом плане. Постановка этой проблемы актуальна прежде всего потому, что на некоторых территориях субстрат сохраняется только в топонимии (прежде всего в гидронимии), отсутствуя в то же время в фонетике, грамматике и апеллятивной лексике. Это создает условия для противопоставления топонимического и общеязыкового субстрата, см., например [7, с. 146—154], предельно четко выраженного в формуле "топонимический субстрат — явление, отличное от субстрата в языке вообще" [20]. Поскольку субстрат в фонетике и грамматике трудноуловим, это построение доказывается путем сопоставления топонимии и апеллятивной лексики: если в апеллятивной лексике нет иноязычных (субстратных или заимствованных) элементов, субстрат является чисто топонимическим и должен противопоставляться общеязыковому субстрату [7, с. 147—149].

Решению обсуждаемой проблемы может способствовать, во-первых, изучение всех разновидностей топонимического субстрата и сравнение их с другими субстратными явлениями, а во-вторых, установление путей формирования чисто гидронимического субстрата[5].

Реализовать эту программу полностью в рамках одной статьи, однако, невозможно. Поэтому неизбежны ограничения.

1. Топонимический субстрат может быть засвидетельствован как в гидронимии, так и в оронимии, ойконимии и, что особенно важно, в микротопонимии (названиях малых объектов). Поскольку субстратная оронимии относительно немногочисленна, а ойконимия часто вторична, в дальнейшем сопоставляются только гидронимия и микротопонимия, образующие в субстратном топонимическом континууме наиболее важную оппозицию.

2. Субстратные явления возникают и в наше время. Их изучение показывает, что компоненты языка по-разному отражаются в субстрате. Богатый топонимический субстрат совсем не обусловливает наличие субстратных компонентов в звуковой системе, морфологии и синтаксисе языка-реципиента. Так, вымершие пелымский и вагильский диалекты мансийского языка оставили местному русскому населению множество гидронимов и микротопонимов, а также большое количество апеллятивных заимствований, однако нет никаких следов воздействия этих диалектов на местные русские говоры в области фонетики и грамматики. Единственное специфическое явление — спорадическое появление гортанной смычки в случаях типа *хорошо', ладно'* — никак не может быть объяснено на мансийской почве, так как в мансийском языке гортанной смычки нет. Подобно этому и на русском Севере при большом разнообразии субстратной топонимии в микрорегионах, богатстве апеллятивных заимствований и большой пестроте древних финно-угорских языковых источников русские диалекты почти не обнаруживают таких фонетических и грамматических явлений, которые с уверенностью можно считать субстратными (подробнее см. [6, с. 27—51; 13, с. 22—142]). Поскольку субстрат в фонетике и грамматике факультативен и, как уже указывалось, допуска-

[5] В дальнейшем — гидронимического субстрата

ет множество интерпретаций, субстратная топонимия в пределах определенного микрорегиона сопоставляется только с апеллятивной лексикой, ср. [7, с. 147—149].

3. Разграничить субстратную и заимствованную апеллятивную лексику трудно (см. выше). Поэтотому все апеллятивы рассматриваются недифференцированно как заимствованные: для решения поставленных задач важно не столько различие заимствованной и субстратной апеллятивной лексики, сколько соотносительность всего комплекса усвоенных из предшествующего языка иноязычных лексем с различными видами топонимического субстрата — общетопонимическим и гидронимическим.

4. Чтобы понять специфику процесса возникновения субстрата, следует обратиться к достаточно показательным, относительно недавним и притом типичным, фактам. К ним явно не относятся древний и во многом спорный как в отношении топонимии, так и апеллятивной лексики палеобалканский материал, очень своеобразное как в лингвистическом, так и в историко-культурном отношении языковое наследие североамериканских индейцев[6] и квазисубстратные гидронимы Сибири [7, с. 148—149]. Для установления типологии топонимического субстрата и критериев его выявления также наиболее существенны результаты сравнительно недавних и исторически бесспорных языковых контактов.

Ярким примером возникновения лингвоэтнического субстрата может служить ассимиляция пелымских и вагильских манси в северо-восточном Зауралье. В начале века (1901—1906 гг.) финский лингвист А. Каннисто еще записывал здесь живую мансийскую речь и фольклорные тексты, а в 1955—1956 гг. автор статьи не нашел в этих местах ни одного говорящего на мансийском языке, хотя встречался со многими потомками манси, имеющими характерный антропологический облик (*Анкины, Мульмины* и др.). Сбор топонимии показал, что среди географических названий на этой территории очень много субстратных мансийских гидронимов и микротопонимов, ср. гидронимы *Ворья* (ман. *wōr, wȯr* "лес", *jä* "река"), *Кулья* (*xūl, kūl* "рыба", *jä* "река"), *Лахтур* (*lakw, lȧxw* "круг, кольцо", *tūr* "озеро"), *Омпатурка* (*āmp, oȧmp* "собака", *tūr* "озеро") и микротопонимы *Ерсава* (*jer* "край, рубеж", *sāw, sau* "остров леса на болоте"), *Икуталька* (*ēkwa, jēkwä* "женщина", *tal'ax, tal'k* "вершина"), *Кулхпетин-воль* (*xulax, khulx* "ворон", *pitiŋ* "гнездовой", *wōl', wuo'* "плес"), *Лёнгурай* (*l'ōnx, l'ōnkx* "дорога", *ūraj* "старица") и т.п. [22].

Сбор и изучение русской диалектной лексики в населенных пунктах по рекам Пелым и Вагиль выявили в ней и большое количество апеллятивных заимствований из мансийского языка (70 слов), ср.: *арпа* "рыболовный запор"<манс. *ārpi, ȧrp* тж., *воет* "заливной луг"<манс. *ojt, ȧjt* тж., *ёхла* "вяленая рыба"<манс. *jохэл* тж. *пайва* "берестяной кошель"<манс. *pājp, pȧjp* тж., *шумьех* "амбар на высоких столбах"<манс. *sūmjax, sūmjex, šūmjex* тж. и т.д. [23]. Почти все эти заимствования относятся к сфере географической терминологии, охоты и рыболовства.

Таким образом, в русском народном языке северо-восточного Зауралья широко представлен как топонимический, так и лексический материал, усвоенный из языка дорусского населения. И это типично для процесса ассимиляции, если он осуществляется в ходе длительного совместного обитания и постепенного обрусения при наличии общих интересов в хозяйственной области: главные занятия пелымских и вагильских манси — охота и рыболовство — и для русских были очень существенны. Поэтому заимствование терминологических лексем в некоторых случаях происходило, видимо, до лингвоэтнической ассимиляции: они заимствовались еще в период существования живой топонимии аборигенов.

Аналогичная ситуация возникает при наслоении микротопонимического суб-

---

[6] Ср.: "Но бывает, например, у многих племен американских индейцев, — что язык умирает целиком и в не тронутом виде" [21]

страта на гидронимический субсубстрат. В центре Архангельской области в верховьях реки Мехреньга (бассейн Емцы) обнаружено очень плотное гнездо прибалтийско-финской субстратной микротопонимии карельского типа, наслоившейся на древнюю неприбалтийско-финскую гидронимию. Трудно сказать, когда местное население перешло на русскую речь, но, если судить по освоенности субстрата и по отсутствию каких-либо "карельских" реминисценций у старожилов, со времени ассимиляции местных прибалтийских финнов прошло уже несколько столетий.

В топонимии этого микрорегиона множество прибалтийско-финских микротопонимов с формантами *-нема* "мыс"~карел. *niemi* (*Вазонема, Линьнема, Орехнема, Пертнема*), *-пелда, -палда* "поле"~карел. *peldo, peldo* (*Вымпелда, Тишепелда; Ерьпалда, Сюрапалда*) и другими. Анализ семантики топонимов свидетельствует, что местное прибалтийско-финское население занималось прежде всего земледелием и скотоводством (ср. основы *пелд-* "поле", *ваз-*~карел. *vaza* "теленок", *орех-*~карел. *oken* "жеребец" и т.п.) и по своему образу жизни не отличалось от русских, что и ускорило ассимиляцию.

Обильны прибалтийско-финские элементы и в местной русской лексике. Среди них есть широко распространенные слова типа *макса, пакула, сарьга, тюка, хонга* [24] и оригинальные локализмы *харма* "иней"~карел. *härmä* тж., *шеймус* "место нереста семги (углубление в дне реки)"~карел. *šeimi, šoimi* "кормушка, колыбель" и др.

Следовательно, на русском Севере складывается в целом та же картина, что и в Зауралье: там, где есть плотные гнезда микротопонимии, обнаруживается и многочисленная заимствованная (субстратная) апеллятивная лексика. Это, видимо, одна из норм лингвоэтнической ассимиляции.

Ситуация резко меняется при гидронимическом субстрате, например, в юго-восточной части русского Севера (бассейн Юга). Субстратная микротопонимия встречается здесь крайне редко, а среди иноязычных диалектных лексем мало специфичных, в основном это хорошо известные на всем русском Севере финно-угорские по происхождению слова типа *карбас, луда, ява, морда, мянда, нодья, сима, сузём* (<приб.-фин.), *камус, няша, чунки, юксы* (<саам.) и т.п. (подробнее см. [25]). Между тем субстратная гидронимия очень распространена в этом регионе, для которого характерен, в частности, обширный и плотный ареал гидронимов с формантом *-юг* "река".

Нечто подобное обнаруживается и в горнозаводской части Северного Урала, где обычна субстратная мансийская гидронимия — *Калья, Турья* и т.п. [17], но отсутствует мансийская микротопонимия и крайне редко фиксируются апеллятивные заимствования из мансийского языка.

Есть несколько путей возникновения гидронимического субстрата.

Во-первых, это может быть "старый" субстрат, реликт общетопонимического субстрата, свидетельствующий о том, что процесс этнической ассимиляции давно завершился. Как хорошо известно, в таких случаях субстратная микротопонимия постепенно исчезает, заменяется русской, напротив, субстратная гидронимия (кроме микрогидронимии) обычно сохраняется. Ярким примером "старого" субстрата является древняя финно-угорская гидронимия бассейна реки Юг. Этот регион был давно освоен русскими. Их привлекли здесь благодатные земли, через которые проходили важнейшие водные пути. Фактор времени сыграл свою роль, и на этой территории сохранился главным образом гидронимический субстрат.

Во-вторых, при смене этносов могут сказаться различия в типе хозяйствования между народом-ассимилятором и коренными жителями, что во многих случаях сочетается с разницей в количестве населения. Так, при различиях в экономическом укладе и малочисленности аборигенов (охотников, оленеводов и т.п.) в ассимилирующий язык редко проникает ненужная для пришельцев микротопонимия (названия угодий), уменьшается и число заимствованных

апеллятивных лексем Именно таковы камасинский гидронимический субстрат на Саянах, оставленный русскоязычному населению немногочисленными оленеводами (см [261]), и уже упомянутая мансийская субстратная гидронимия в горнозаводской части Северного Урала, где малочисленная популяция охотников-манси была поглощена в течение XVIII—XIX вв русским населением

В-третьих, специфическую ситуацию может создать часто встречающийся в гидронимии субсубстрат, воспринятый субстратным языком Такую ситуацию обнаруживаем на русском Северо-Западе в псковско-новгородской области Отсутствие балтийских апеллятивных заимствований в местных русских говорах при довольно богатом балтийском субстрате в гидронимии считается доказательством специфики топонимического субстрата по сравнению с общеязыковым [7, с 150—154] Но поскольку балтийская гидронимия в этих местах субсубстратна [7, с 153—154], нет оснований и для поиска балтийских заимствований в русских говорах, а также балтийской микротопонимии Балтийские заимствования должны были проникнуть в речь местных прибалтийских финнов, как это и было в других микрорегионах [27—28], а не в говоры русского населения

Кроме того, иллюзия гидронимического субстрата может создаваться древними топонимическими заимствованиями (квазисубстратом) Поскольку вопрос о квазисубстрате рассмотрен уже достаточно подробно, подчеркнем только, что квазисубстратные элементы присущи, по-видимому, всем топонимическим системам, в той или иной степени связанным с древними водными путями (русский Северо-Запад, русский Север, Северный и Средний Урал, Западная и Восточная Сибирь и т п) Поэтому на одной и той же территории могут сосуществовать "старый" гидронимический субстрат и квазисубстрат

Таким образом, топонимический субстрат возникает, как и любое субстратное явление, но из-за своей специфики (относительной устойчивости, обусловленной функциональной ограниченностью и территориальной прикрепленностью) более приспособлен для сохранения своих особенностей в чужеродной языковой среде По этой причине наиболее показательны проявления языкового субстрата именно в области топонимии, особенно принадлежащей отдаленно родственным или вообще неродственным языкам (славянская топонимия в Германии, финно-угорские географические названия на русском Севере и т п) Топонимия такого рода, резко отличающаяся от исконных топонимов функционирующего языка отсутствием внутренней формы, своеобразием звукового облика и формальных примет, иногда опознается как чужеродный материал самими местными жителями Когда субстратные элементы топонимии достаточно многочисленны, лингвист тем более уверенно идентифицирует ее как более древний языковой пласт

Следовательно, топонимия — вообще говоря, довольно однообразная подсистема языка — представляет большой теоретический интерес именно потому, что при всех исключениях и оговорках она достаточно часто является надежным и доказательным случаем субстрата Однако это совсем не основание для противопоставления топонимического субстрата общеязыковому Нельзя согласиться с утверждением, что топонимический субстрат показателен только при очевидных следах субстрата в фонологии и грамматике [29] Логично, однако, предполагаемое тем самым включение топонимического субстрата в общеязыковой субстрат Действительно, топонимический субстрат — лишь наиболее простая и распространенная его разновидность

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 *Пизани В* Взаимоотношения между общим языком и языком индивидуальным // Современное итальянское языкознание М , 1971 С 83—84

2 *Трубачев О Н* Этногенез и культура древнейших славян Лингвистические исследования М , 1991

3 *Террачини Б* Субстрат // Современное итальянское языкознание М , 1971 С 42

4 *Матвеев А К* Руск диал *чичьма* // Этимология русских диалектных слов Свердловск 1978
5 *Попов А И* Из истории славяно-финно-угорских лексических отношений // Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae 1955 T V Fasc 1—2
6 *Востриков О В* Финно-угорский субстрат в русском языке Свердловск 1990
7 *Агеева Р А* Гидронимия Русского Северо-Запада как источник культурно исторической информации М, 1989
8 Открытия русских землепроходцев и полярных мореходов XVII века на северо-востоке Азии Сб документов М 1951
9 *Кривощекова Гантман А С* Географические названия Верхнего Прикамья Пермь, 1983 С 76—77
10 *Берг Л С* История русских географических открытий М 1962 С 63
11 Древнерусские книжные уставы XI—XV вв М 1976 С 147—148
12 Теория и методика ономастических исследований М, 1986 С 132
13 *Veenker W* Die Frage des finnougrischen Substrats in der russischen Sprache Bloomington, 1967
14 *Матвеев А К* Методы топонимических исследований Свердловск, 1986 С 7
15 *Матвеев А К* Субстратная микротопонимия как объект комплексного регионального исследования // ВЯ 1989 № 1
16 *Матвеев А К* Архаическая русская топонимия на северо-востоке Европейской части СССР // ВЯ 1987 № 2
17 *Матвеев А К* Географические названия Урала Свердловск 1987
18 *Фасмер М* Этимологический словарь русского языка Т I М, 1964 С 488
19 Книга Большому Чертежу М, Л, 1950 С 168, 173, 174
20 *Агеев Р А* Гидронимия псковских и новгородских земель в свете истории заселения края Автореф дис канд филол наук М, 1973 С 18
21 *Вайнрайх У* Одноязычие и многоязычие // Новое в лингвистике Вып VI М 1972 С 59
22 *Глинских Г В* Манситские субстратные топонимы в русских говорах по р Тавде // Этимология русских диалектных слов Свердловск 1978
23 *Матвеев А К* Финно угорские заимствования в русских говорах Северного Урала // Уч зап Уральского ун-та Вып 32 Свердловск, 1959
24 *Kalima J* Die ostseefinnischen Lehwörter im Russischen // MSFo 1919 XLIV
25 *Востриков О В* Финно-угорские лексические элементы в русских говорах Волго-Двинского междуречья // Этимологические исследования Свердловск, 1981
26 *Матвеев А К* Взаимодействие языков и методы топонимических исследований // ВЯ 1972 № 3 С 76
27 *Thomsen V* Beroringer mellem de finske og de baltiske (litauisk lettiske) Sprog København 1890
28 *Kalima J* Itämerensuomalaisten kielten balttilaiset lainasanat Helsinki 1936
29 Общее языкознание Формы существования, функции, история языка М, 1970 С 295—296

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1993

© 1993 г. ТАРЛАНОВ З.К.

ТЕНДЕНЦИИ В ДИНАМИКЕ ГЛАГОЛЬНЫХ НАКЛОНЕНИЙ В ВОСТОЧНОЛЕЗГИНСКИХ ЯЗЫКАХ

Едва ли будет преувеличением утверждение, что в современном языкознании на прочно господствующие позиции претендует то его направление или та его разновидность, которая занята проблемами типологии. Хотя типология, как внутриязыковая (выделение и квалификация разноуровневого языкового инвентаря по тем или иным принципам), так и межъязыковая (учитывающая и оценивающая черты, общие для многих языков), в той или иной степени всегда занимала важное место в лингвистических описаниях и объяснениях, тем не менее прежде она не выдвигалась в центр лингвистических устремлений, оставаясь областью проблематичных обобщений. Ситуация в корне изменилась в последние несколько десятилетий. "Прогресс типологии находит свое выражение в последовательном отпочковании от собственно типологии целого ряда других разновидностей структурного исследования языка, не имеющих дела с понятием языкового типа — контрастивного (сопоставительного) языкознания, лингвистической характерологии, универсалологии (лингвологии). Он ощутим в постепенном утверждении в правах диахронической типологии. Наконец, его очевидным свидетельством следует считать и заметное внутреннее размежевание самой типологии на так называемую формальную, с одной стороны, и контенсивную, с другой" [1, с. 3]. Это, так сказать, экстенсивный план типологии. Не менее впечатляют ее усилия и в плане интенсивном. Активно прослеживаются типологические характеристики лексики [2], грамматики (см., например [3]), отдельных типов конструкций — каузативных, эргативных и проч. (см., например [4, 5]), межкатегориальных взаимодействий внутри одного и того же лексико-грамматического класса (6, с. 18—36], одних и тех же формантов, изоморфных для разных лексико-грамматических классов [7, с. 69—78].

Поскольку типология в ее традиционном понимании имеет дело с межъязыковыми сопоставлениями, опирающимися на результаты исследований отдельных языков, то она несет в себе главным образом обобщающее, систематизирующее начало. Не случайно она выдвинулась на передовые позиции именно с 60-х годов XX в. — с момента, к которому был накоплен огромный фактический материал, требовавший осмысления прежде всего в плане выявления черт, объединяющих или сближающих разные системы. Систематизацией, однако, не исчерпывается конструктивная роль типологии для современной науки. Типологические наблюдения и методы, как показывает исследовательская практика, дополняют и расширяют концептуальную сферу и инструментарий сравнительно-исторического языкознания. Более того, если исходить из постулата о единстве глоттогонического процесса, то типологические данные могут быть с пользой применены при реконструкции соответствующих форм в прошлом, см., например [8, с 55—60].

С другой стороны, надежность, эффективность, эвристические возможности самой типологии не в последнюю очередь обусловливаются тем, насколько полны и адекватны те исходные сведения, на которых строятся ее собственные выводы и обобщения Отсюда ясно: чем полнее и точнее описания отдельных языков, их категорий и т.д., тем весомее и продуктивнее наблюдения, проводимые языкознанием в сопоставительно-типологическом аспекте. Между тем

работу по адекватному описанию отдельных языковых систем, в особенности тех, которые по разным причинам редко привлекали к себе внимание, едва ли можно считать достаточной: сведения по многим из них, питающие соответствующие отрасли языкознания, и по настоящее время остаются весьма и весьма далекими от реальной картины.

Представляется важным обратить на это внимание еще и потому, что одностороннее увлечение типологическими идеями при всей их плодотворности не может не сказываться на масштабности и массовости той части языкознания, которую можно было бы обозначить как описательно-фактологическую. Речь идет о том, что типологические исследования должны базироваться прежде всего на материале тех групп языков, которые достаточно подробно описаны и систематизированы. К примеру, если типологические обобщения применительно к индоевропейским языкам, равно как и составляющим их группам, тщательно обследованным в описательном и сравнительно-историческом планах, — это закономерный шаг на пути лингвистического осмысления языковой картины индоевропейского мира в целом, то едва ли подобные подходы могут быть признаны вполне подготовленными, например, для кавказских языков, многие из которых оказываются на начальной стадии вовлечения их в систематический научный анализ. Это безусловно справедливо, в частности, по отношению к дагестанским языкам.

Попробуем проследить это на примере глагольных наклонений в восточнолезгинских языках. Обращение именно к наклонениям в данном случае объясняется тем, что они, как это будет показано на конкретном материале, здесь не только не изучены в достаточной мере, но во многих случаях даже не констатированы. А это не может не влиять на последовательность и полноту описания и собственно глагола, и синтаксических структур в силу той организующей роли, которая принадлежит в них формам наклонений. Более того, на материале тех же восточнолезгинских языков нам уже приходилось указывать на координирующую роль изоморфизма в строе имени и глагола Анализ форм наклонений позволяет как-то расширить представления как о месте изоморфизма в подсистемах имен и глаголов, так и о процессе становления и развития самих наклонений.

В восточнолезгинских языках в их современном состоянии представлено разное количество наклонений. Можно ли это как-то объяснить? По крайней мере, трудно не обратить внимания, в частности, на то, что утрата каких-то наклонений в соответствующих языках совпадает с зарождением в них новых категорий — например, категории лица (личного сопряжения). Следовательно, наращивается предположение о зависимости (вернее — характере зависимости) между разветвленностью парадигмы наклонений, с одной стороны, и степенью развития формализованных грамматических средств в целом — с другой. Восточнолезгинские языки дают повод попытаться подойти к ответу на этот вопрос.

Наконец, о материале, на котором строится статья. В качестве основного языка используется агульский в силу того, что во-первых, в нем парадигма наклонений выступает более дробно и дифференцированно, чем в близкородственных ему, и, во-вторых, он более целостно сохраняет те четыре строя, которые, безусловно, должны быть признаны относительно древними, что подтверждается не только формами наклонений. Таким образом, агульский язык полнее представляет такие данные, которые могут быть положены в основу создания исторической ретроспективы. Из других лезгинских языков, данные которых необходимы для оценки процессов исторической динамики в восточнолезгинском регионе, привлекаются собственно лезгинский и табасаранский. Если картина наклонений в агульском позволяет судить об интересующих нас явлениях с точки зрения их целостной (системной) организации, то обращение к данным лезгинского и табасаранского языков, претерпевших заметные изме-

нения в парадигме наклонений, дает возможность увидеть структурные тенденции в динамике системы во всех рассматриваемых языках.

Среди трех имеющихся монографических исследований по агульскому языку [9—11] большей подробностью отличается работа А.А. Магометова. Но даже в ней охвачены лишь пять наклонений глагола (изъявительное, сослагательное, условное, повелительное, долженствовательное), хотя ими далеко не исчерпывается разветвленная система наклонений в этом языке [12, с. 142—143].

Поскольку индикатив с его многочисленными формами времени, — кстати, тоже не полностью описанными, — с которыми причудливо переплетаются видовые и залоговые значения, заслуживает отдельного рассмотрения, остановимся только на так называемых косвенных наклонениях.

Агульский язык в его современном состоянии насчитывает одиннадцать косвенных (ирреальных) наклонений, структурно и модально-семантически противопоставленных индикативу. Однако эта противопоставленность не является абсолютной: формы большинства ирреальных наклонений образуются на базе или путем частичного включения соответствующих форм индикатива. Так, компонентами, создающими структуру сослагательного и допустительного наклонений, выступают формы прошедшего времени, долженствовательного — формы настоящего и прошедшего времени, волюнтатива — формы настоящего и будущего времени; условное, предположительное и пересказательное наклонения опираются на формально-содержательный инвентарь всех трех глагольных времен. Что же касается таких наклонений, как повелительное, запретительное, предостерегательное, то они стоят в абсолютной оппозиции по отношению к индикативу и по образованию, и по содержанию, и по ориентированности на время, следующее за моментом речи, мыслимое проблематично.

В совокупности эта разветвленная сеть наклонений, представляя сложное многообразие грамматических, содержательных, модальных возможностей глагола, вместе с тем не может не возбудить вопроса о сущности этого многообразия с точки зрения истории (процесса становления модальных средств языка) и языковой структуры: принадлежность какого уровня языка они составляют и насколько устойчива эта фиксированная принадлежность?

Однако прежде чем попытаться ответить на эти вопросы, обратимся к обзору самих ирреальных наклонений.

1. Сослагательное наклонение. Указывает на желательное в прошлом действие, оставшееся, однако, нереализованным, неосуществленным. Поэтому содержание его форм сопровождается модальным оттенком сожаления о том, что действие не свершилось. Оно обычно реализуется в частном значении делиберативности, является способом выражения раздумья, размышления, анализа, связанного с уже свершившимися событиями, результаты которых не устраивают субъекта действия, и он воспроизводит прошлое, устанавливая между его звеньями иные связи и отношения и гипотетически соотнося их с действительностью.

Образуется сослагательное наклонение от инфинитива основного глагола при помощи форм прошедшего времени вспомогательного глагола *ij* (*i, iri, ji*), например: *zun pasiri gis* — приблизительно "я бы сказал ему". Русский язык не располагает точным соответствием, поскольку в нем оно не получило морфологически убедительного завершения, хотя реальность его в синтаксическом плане вполне очевидна [13, с. 285—291; 14, с. 484—485; 15, с. 602—603].

2. Условное наклонение. Непосредственно связано с сослагательным, связь эта проявляется и в том, что оба они функционируют параллельно в рамках одной или сходной модальности. В частности и это обстоятельство побудило А.А. Шахматова считать, что в русском языке "морфологическому сослагательному наклонению" соответствуют синтаксические желательное и условное [14, с. 484]. Вместе с тем они и противостоят друг другу: если сослагательное наклонение модально характеризует действия, отнесенные лишь к прошедшему времени, то условное наклонение, образуясь на базе всех времен индикатива

посредством суф. *šin* (*-čin*), не знает временных ограничений, — всякое действие может быть представлено как условие для совершения другого. Формы условного наклонения во всех случаях синтетичны, ср. [11, с. 137—138]. При этом в связи с формами настоящего и будущего времени выражается реальное условие, в то время как с прошедшими временами сопряжено выражение как реального, так и ирреального условия.

3. Желательное наклонение представляет то или иное действие как желательное с точки зрения говорящего. Оно не имеет форм изменения по лицам, временам и числам. Образуется и синтетически (с помощью тех же суффиксов, которые используются в условном наклонении, следовательно, речь идет о грамматически омонимичных формах, разделенных синтаксическим функционированием: желательное значение реализуется в простом предложении, условное — в сложном), и аналитически. Аналитические формы включают в себя деепричастия и/или инфинитив с полузнаменательными словами, обозначающими желание: *haldehera ʏʏal ʏʏunišin* (синтет.) "хотя бы теперь пошел дождь!"; *qanihan ʏʏal ʏʏas; Qanihan ʏʏal ʏʏuna; Ha' ʏʏal ʏʏas* (аналит.) "если бы (хоть бы) пошел дождь!"

Независимо от компонентов, составляющих оптатив, содержание его так или иначе оказывается устремленным в будущее, на что справедливо указывал А.А. Потебня, исследуя историю наклонений в русском языке: "В желании, рассматриваемом независимо от словесного выражения, осуществление, т.е. слияние возникающих в мысли образов желаемого, сложившегося из прежних восприятий, с новыми восприятиями, есть событие будущее. Согласно с этим в языке представление желательного прошедшим может рассматриваться как частный случай представления объективно-будущего прошедшим" [13, с. 272].

4. Повелительное наклонение выражает предписание к свершению действия, адресованное 2 или 3 лицо либо обращенное к 1 лицу инклюзива. Таким образом, оно располагает парадигмой всех трех лиц, однако центральное место в ней занимают формы 2 и 3 лиц, образующиеся синтетически и составляющие, как и в других восточнолезгинских языках, органическую часть морфологического строя языка. Форма 1 лица инклюзива периферийна, генетически вторична, не органична и представляет собой сочетание императива вспомогательного глагола с инфинитивом основного глагола.

Образуется оно для разных лиц по-разному: а) для 2 л. ед. ч. основной массы глаголов (исключая супплетивные формы) — чистой инфинитивной основой (*xuras* "читать" — *xur* "читай", *axas* "спать" — *ax* "спи", *likes* "писать" — *liḳ* "пиши") и посредством суф. *-e* (*-en*): *ʏuzas* "ждать" — *ʏuze(n)* "жди", *ucas* "косить" *-uc, ucen* "коси" и т.д.; во мн. ч. к форме ед.ч. присоединяется суф. *-aj* (*-waj*): *wes* "идти" — *jax* "иди" (суппл.) — *jaxaj* (*jaxwaj*) "идите"; *pas* "сказать" — *up* "скажи" — *upaj* (*upwaj*) "скажите"; б) формы 3 л. императива образуются одинаково для ед. и мн.ч. посредством суф. *-raj* на базе производящих основ прошедшего времени со значением завершенности действия: *ades* "прийти" — *adi-ni* "пришел" — *adi-raj* "пусть приходит"; *xuras* "читать" — *xuru-ni* "прочитал" — *xuru-raj* "пусть прочитает"; в) императив 1 л. мн.ч. строится аналитически и включает в себя вспомогательную форму *šaw*, генетически восходящую ко 2 л. ед.ч. повел. накл. от глагола *wes* "идти", и инфинитив основного глагола: *wes* "идти" — *šaw wes* "пойдем! давай пойдем!"; *xuras* "читать" — *šaw xuras* "(давай) почитаем!"

Аналогично обстоит дело в лезгинском и табасаранском языках, хотя они характеризуются и существенными различиями. Так, в лезгинском императив 2 л. ед. ч. от многих глаголов образуется не чистой основой, как это обычно имеет место в агульском и табасаранском, а путем присоединения к ней позже развившихся суффиксов, ср.: *кIелун* "читать" — *кIела* "читай"; *акьалун* "закрыть" — *акьала* "закрой"; *кхьин* "писать" — *кхьихь* "пиши"

и т.д. Здесь не роазличается императив по числам; в 3 л., сохраняя общий для всех языков суффикс, присоединяет его не к основе прошедшего времени, а к основе инфинитива, ср.: *кIелун* "читать" — *кIелрай* "пусть читает (читают)"; *къарагъун* "встать" — *къарагърай* "пусть встает (встают)"; для 1 л. мн. ч. располагает синтетической формой, не различающей инклюзива/эксклюзива: *кIелин!* "почитаем!", *кхъин!* "попишем!", *ийин!* "сделаем!" и проч. В табасаранском в 1 л. мн. ч. императивные формы образуются раздельно для инклюзива и эксклюзива [16, с. 277—278], в 3 л. же, в отличие от агульского и лезгинского, аналитичны.

5. Долженствовательное наклонение, обозначающее действие, которое должно было или должно быть осуществлено в интересах субъекта высказывания, образуется формами соответствующих косвенных падежей отглагольных существительных в сочетании с вспомогательными глаголами в прошедшем или настоящем времени, а именно: а) формой генитива ед. и мн. ч. при помощи суффикса прилагательных и причастий *-f(-t)* плюс вспомогательный глагол (если существительные восходят к переходным глаголам): *Mė kar akubanf i* "Это дело должно быть сделано"; б) формой локатива на *-l* плюс глагол *alx'as* "находиться на..." в том или ином времени (если отглагольное существительное восходит к глаголам непереходным): *X'in ušuwal aldia* "Мы должны пойти" [вернее — "нам нужно (должно) пойти"]. Оба способа активны в языке. Долженствовательное наклонение обладает парадигмой форм времени, хотя и ограниченной, поскольку действия его соотносятся лишь с настоящим и прошедшим временами.

Здесь нельзя не коснуться генезиса форм этого наклонения, так как в имеющейся литературе вопросы генетического плана не ставятся. Уже сами способы образования форм долженствовательного наклонения наводят на мысль об их генезисе. Известно, что одна из важнейших функций генитива — это выражение отношения принадлежности, однако в рассматриваемом случае эта функция реализуется лишь тогда, когда в генитиве выступает любое существительное, кроме отглагольного. Отглагольное же существительное, употребляясь в генитиве, участвует в оформлении долженствовательного наклонения. Следовательно, модальное отношение долженствования складывается на основе отношения принадлежности и исторически ориентировано на него. Иными словами, долженствовательное наклонение в своем становлении связано с переосмыслением так называемых масдарных форм, вовлеченных в область посессивно-предикативных отношений.

Не менее интересна и история второй разновидности оформления долженствовательного наклонения, генетически восходящей к локативу на *-l* в сочетании с вспомогательным глаголом *alx'as* "находиться на..." и известной также лезгинскому языку.

6. Запретительное наклонение (прохибитив). Исследователи агульского [11, с. 140—141], как и других лезгинских языков, обычно не выделяют запретительного наклонения, включая его формы в парадигму императива. Однако такая квалификация остается неаргументированной и, главное, не учитывает семантической, а также формально-грамматической противопоставленности прохибитива императиву. Семантически прохибитив реализует запрет, а формально-грамматически этот запрет выражается префиксом (инфиксом) *ma-* для 2 лица, *da-* для 3 лица и суффиксами соответственно *-a* (*-aj, -naj, -waj* во мн. ч.), *-raj*, ср.: *uxas* "пить", 2 л. — *muxa* "не пей", 3 л. — *duxuraj* "пусть не пьет (не пьют)". Обращение к другим лезгинским языкам показывает, что в каждом из них прохибитив оформляется по-своему, хотя это не исключает общих моментов в их эволюции. Так, в агульском и табасаранском здесь обнаруживаются принципиальные совпадения: в них обоих формант прохибитива один и тот же, заметна тенденция к унификации парадигмы в целом. Вместе с тем табасаранский язык отличается от агульского тем, что в нем в части говоров препозиция аффикса прохибитива нормативна независимо от морфологической

структуры основы [13, с. 310]. Иначе обстоит дело в лезгинском, в котором прохибитивный формант *-mir* (*mijir, ijimir* и под.) постпозитивен по отношению к глагольной основе и даже может быть формально равнозначным отдельному полузнаменательному слову, ср.: *fin* "идти" — *fimir* (*fin ijimir, mifir*) "не ходи". Кроме того, в лезгинском языке 2 лицо лишено показателей числа.

7. Предостерегательное наклонение. Служит для предостережения от совершения действия, обращенного ко 2 и 3 лицам, а также к 1 л. мн. ч. инклюзива. Образуется от формообразующей основы инфинитива при помощи префикса (инфикса) *da-* в соединении с особой, предостерегающей, интонацией: *pas* "сказать" — (*wari*) *dapas!* "смотри, чтоб не проговориться!".

8. Предположительное (гипотетическое) наклонение. С помощью форм гипотетического наклонения глагольные действия, состояния переводятся в план предполагаемых с точки зрения говорящего. Образуются они на базе индикатива посредством суф. *-han: gur xala ahan* "дома ли они". Интонация этой формы — вопросительная, но она не содержит вопроса, требующего ответа, подобные конструкции составляют принадлежность речи, построенной в манере размышлений, сомнений. Это способ выражения мысли, в реальности которой говорящий сомневается. Для выражения неуверенного предположения употребляется и вторая синтетическая форма с суф. *-tehere: ti ayatehere* "он, наверное (по-видимому), говорит". Обе формы предположительного наклонения являются живыми и активно действующими, а также характеризуются наличием парадигмы времени.

9. Совершенно обособленно среди других наклонений стоит волюнтатив — способ выражения ответной воли лица, которому адресуется императив или запрет. Тем самым волюнтатив ближе всего примыкает к императиву и прохибитиву, кардинально отличаясь от последних, однако, как в плане выражения, так и в плане содержания. Волюнтатив имеет положительную и отрицательную формы, противопоставленные соответственно формам императива (реакция на императив реализуется в отрицательной форме) и прохибитива (реакция на прохибитив неизменно противоположна предписанию, т.е. положительна), ср.: *xur!* "читай!" (императив) — *daxura!* (волюнт.) "не буду (не стану) читать!"; *maxura!* "не читай!" (прохиб.) — *xura!* (волюнт.) "буду (стану) читать!". Функциональная связь волюнтатива с императивом и прохибитивом поддерживается и структурно-грамматически: их можно квалифицировать как соотносительные морфологические категории.

Как уже говорилось, положительная форма волюнтатива соотносительна с прохибитивом, однако в отличие от последнего, адресуемого 2 лицу, она не обращена к какому бы то ни было лицу, а лишь выражает твердую волю, намерение самого говорящего осуществить то действие, на которое накладывается запрет. Она полярна прохибитиву, это, так сказать, наклонения-антонимы. Структурно положительная форма волюнтатива равна форме прохибитива без прохибитивного преф. *ma-*. Отрицательная же форма соотносительна с императивом: она выражает реакцию, направленную против того, что предписывается императивом.

10. Допустительное наклонение (пермиссив) представляет такое глагольное действие, которое вступает с другим действием в отношение обратной обусловленности. Образуется оно аналитически путем соединения причастной или деепричастной основы с утвердительной частицей *ǵuraj* "ладно, пусть", генетически восходящей к форме 3 лица императива: *ušuf ǵuraj ge* "хотя он и пойдет...". Пермиссив употребляется и в простом, и в сложном предложениях, однако в качестве основной синтаксической среды для него выступает сложное предложение с отношением обратной обусловленности.

11. Пересказательное наклонение. В агульском как и в других восточнолезгинских языках, есть еще одна глагольная конструкция, назначение и грамматическая природа которой в специальной литературе не описаны и не осмыс-

лены. Имеются в виду построения типа *dada gedajls učihdi ruk punaa* "отец предложил сыну прибыть к нему". Подобные конструкции включают в себя по крайней мере два постоянных компонента — это глагол речи *pas* "сказать, говорить", употребляемый в индикативе или редко — в ином наклонении, и любой другой глагол в повелительном наклонении (в нашем случае это *ruk* "прибудь"). В рамках завершенной синтаксической структуры они соединяются с именными формами в эргативном и дательном падежах. При этом оказывается, что в плане выражения логических отношений обе глагольные формы обнаруживают одностороннюю зависимость от эргативного падежа, хотя характер отношения каждой из них к последнему неодинаков: глагол в императиве — это то самое действие, на совершение либо несовершение которого направлена воля субъекта (в эргативе), что это именно так, что императивная глагольная форма внутренне спроецирована на эргативный падеж, мы узнаем по глаголу речи, соотносящему действие императива, с одной стороны, с лицом, по чьей воле оно должно или не должно быть совершено, и, с другой — с лицом в дат. падеже, которому надлежит совершить это действие. С помощью формы глагола речи говорящий воспроизводит, пересказывает волю другого лица (в эргативе), которая мыслится в различных временных и модальных планах. Весь этот комплекс значений и относится к содержанию пересказательного наклонения. Таким образом, с помощью пересказательного наклонения говорящий выражает волю лица, не участвующего в акте речи, а также объективированную волю самого говорящего. Строится пересказательное наклонение, как уже отмечалось, аналитически: сочетанием форм 2 лица императива или прохибитива с глаголом речи в разных его формах. Изменяется лишь глагол речи, а императивные или прохибитивные формы при этом остаются неизменными.

Конструкции пересказательного наклонения по своему содержанию примыкают к каузативным конструкциям, с одной стороны, и к конструкциям с прямой речью — с другой. С каузативной структурой ее сближает то, что она имеет в своем составе переходный глагол, соотнесенный с эргативным падежом, аналогичный каузативному глаголу, но в отличие от каузативного глагола, ориентированного на именительный падеж, глагол в пересказательном наклонении лишен соотносительной падежной формы и сочетается с императивом. Построение с пересказательным наклонением несводимо и к конструкции с прямой речью, хотя оно и включает в себя форму императива, прямо выражающего волю: дело в том, что глагол речи и форма императива (либо прохибитива) образуют одну синтагму, чего нельзя сказать об авторских словах и прямой речи в конструкциях с прямой речью. В плане характеристики структуры сказательного наклонения, поскольку она является аналитической, важно отметить и то, в каком порядке располагаются составляющие ее части. Компоненты пересказательного наклонения обычно имеют фиксированный порядок следования: императивная или прохибитивная формы неизменно предшествуют глаголу речи, замыкающему предложение. Сами глагольные формы располагаются контактно.

Предложенный обзор наклонений в агульском, с теми или иными различиями подтверждаемый данными и других восточнолезгинских языков, дает возможность сформулировать ряд выводов и предположений частного и общего характера, не лишенных интереса, как представляется и для типологии в целом. Что касается грамматического строя самих восточнолезгинских языков, располагающих столь разветвленной системой наклонений, с помощью которых синтаксически однообразное высказывание строится в широком диапазоне модальных значений, то здесь важно одновременно констатировать очевидную бедность этих языков грамматикализованными лексическими средствами — так называемыми служебными (незнаменательными) словами: предлогами, частицами, союзами и модальными словами. Это обстоятельство особенно рельефно

выступает при рассмотрении интересующих нас языков в сопоставлении с языками, например, индоевропейскими, в частности с русским, в котором удельный вес морфологически оформленных наклонений в системе модальных средств не столь велик, ибо в последнем функции наклонений восточнолезгинских языков оказываются "переложенными" на незнаменательные и полузнаменательные слова. Но этим дело не ограничивается. В русском языке весьма значительна роль различных схем синтаксической организации высказывания, представляющих широкие возможности для модального варьирования содержания речи. Имеются в виду, в частности, так называемые односоставные предложения, по разным признакам, в том числе и модальным, противопоставленные двусоставными; по тем же показателям тонко дифференцированные разновидности односоставных предложений, разветвленная парадигма сложных предложений и т.д.

На основании приведенных констатаций можно сделать по крайней мере следующие выводы: если вслед за Ф. де Соссюром исходить из положения, что язык — это система отношений, то эти отношения, составляющие систему, в разных языках в соответствующие этапы их истории по-разному распределяются по языковым уровням: восточнолезгинские языки в современном их состоянии представляют тип, в котором выражение модальности сосредоточено почти исключительно на морфемно-морфологическом уровне, а другие уровни в этом смысле составляют малосущественную периферию; иначе обстоит дело, например, в русском языке, в котором модальность как общеязыковая функция реализуется и морфологией (наклонения), и лексикой (служебные и модальные слова), и синтаксисом (разветвленная типология предложений), и словообразованием (оценочные аффиксы). Тем самым то, что в восточнолезгинских языках выражается преимущественно синтетически, в русском актуализируется преимущественно аналитически. Кстати, аналогично обстоит дело в сопоставляемых языках и в плане реализации пространственных отношений. В том же контексте должны быть квалифицированы количественные соотношения падежей в этих языках. Следовательно, если иметь в виду агглютинативный характер образования грамматических форм в восточнолезгинских языках, то агглютинативные языки следует признать морфологоцентричными в противовес русскому (и флективным в целом), в котором выдвинутым в центр оказывается синтаксис.

Степень типологической общности даже для генетически близких языков, рассматриваемых в определенный период, относительна, ибо языковое функционирование неотделимо от процессов дивергенции. Это относится и к восточнолезгинским языкам. Так, лезгинский язык в известной мере противостоит и агульскому, и табасаранскому по размытости некоторых из наклонений, тем самым продвинувшись в направлении аналитизма. В нем на стадии отмирания представлены такие морфологические наклонения, как долженствовательное, предостерегательное, на стадии утраты синтетического строя — желательное. Процесс перестройки коснулся в нем и волюнтатива, формы которого сохраняются лишь ограниченным кругом глаголов, в то время как в своей массе они обнаруживают тенденцию к слиянию с формами инфинитива.

Что же касается агульского и табасаранского языков, то и здесь процессы дивергенции опять-таки оказываются масштабными и значительными. Очевидно, что главное направление расхождений — это разная степень интенсивности в выработке форм, специализирующихся в выражении соответствующих модально-грамматических значений. В порядке иллюстрации ограничимся лишь отдельными примерами. Так, волюнтатив, составляющий органическую часть морфологических наклонений в агульском, утрачен табасаранским языком в связи, как можно полагать, с развитием в последнем личного спряжения: личные формы приняли на себя те функции, которые раньше представлялись лексико-грамматически — наклонениями, изначально так или иначе ориентированными не только на временные формы, но и на участников акта речи.

Обоснованность такого предположения подтверждается также данными лезгинского языка, сохраняющего волюнтатив, но лишенного личного спряжения. И вообще внутренняя связь между морфологическими наклонениями и личными формами, а также временными, проявляющимися чаще всего как возместительная, сравнительно легко прослеживается на материале языков разных типов. Достаточно вспомнить в этом плане историю ирреальных наклонений, например, в русском языке, в котором их важнейший формальный показатель восходит к аористу [13, с. 269—272].

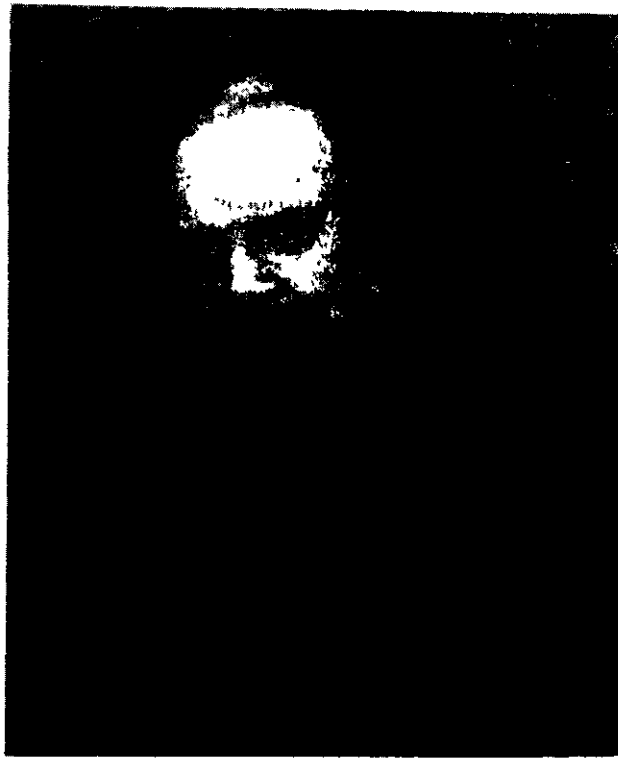
Имея в виду линии расхождений между агульским и табасаранским языками, с учетом комментариев по ходу статьи, можно было бы указать и на то, что в последнем — в противовес агульскому и лезгинскому, императив 3 лица характеризуется аналитической структурой. Подобных примеров можно привести немало. Это значит, помимо всего прочего, что бытующие в специальной литературе суждения о большей близости агульского языка к табасаранскому и противопоставленности их обоих лезгинскому языку основаны не столько на анализе фактического положения вещей, сколько на вере и внешних впечатлениях.

Рассматриваемые языки, взятые в их динамике, дают повод с определенной осторожностью утверждать, что количество морфологических наклонений обнаруживает обратную зависимость от степени распределения модально-грамматических функций по другим уровням языка: чем изощреннее и совершеннее (разнообразнее) грамматические средства и возможности языка, тем меньше в нем морфологических наклонений, к тому же явственно совмещающих в себе и признаки собственно лексических единиц (ср. содержательную нагрузку волюнтатива, прохибитива, аналитического оптатива, пермиссива и др.). В свою очередь это обстоятельство, если оно замечено верно — данные разных языков этому не противоречат, — выдвигает в качестве актуальных для современного языкознания проблемы внутриязыковой типологии, соотношения между категориями морфологии и синтаксиса и др. Подобные исследования, проводимые в исторической ретроспективе, способствовали бы вовлечению типологии в историческое языкознание в качестве полноценной и конструктивной его составляющей.

Имея в виду статус морфологических наклонений в восточнолезгинских языках, нельзя не обратить внимания и на тот факт, что нередко в их образовании участвуют не только глагольные, но и именные средства. Это хорошо видно на примере долженствовательного наклонения, генетически неотделимого от масдарных форм и посессивного аффикса. Кстати, отчетливо проявляющаяся тенденция к утрате этого наклонения лезгинским языком вполне может быть интерпретирована как одно из следствий исчезновения в нем масдара и разрушения старой системы локативных падежей. В целом же все, о чем идет речь, подводит к ранее уже сформулированному на материале падежных аффиксов и глагольных приставок выводу об изоморфизме в грамматическом строе имени и глагола в восточнолезгинских языках [7]. Если изоморфизм, поддерживая синтетизм в образовании грамматических форм имени и глагола, удерживает их в рамках достаточно жесткой системы, то прекращение действия указанного принципа ведет к перестройке важных звеньев грамматического строя и эволюции его в направлении к аналитизму, что и подтверждается современным состоянием лезгинского языка. Учет эволюционных процессов в этом последнем в сопоставлении с данными агульского и табасаранского языков, в большей степени сохраняющих архаику, позволяет предположить, что вся восточнолезгинская языковая группа движется по пути к аналитизму с неизбежными потерями и в составе наклонений. В интересах типологии — как можно подробнее описать их, не удовлетворяясь имеющимися исследованиями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Княчов Г.А.* Принципы контенсивной типологии. М., 1983.
2. *Рождественский Ю.В.* Типология слова. М., 1969.
3. Структурно-типологические исследования в области славянских языков / Отв. ред. Зализняк А.А М., 1973.
4. Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив / Отв. ред. Холодович А.А. М., 1969.
5. Эргативная конструкция предложения в языках различных типов / Отв. ред. акад. Жирмунский В.М. Л., 1967.
6. *Храковский В.С.* Взаимодействие грамматических категорий глагола (Опыт анализа) // ВЯ. 1990. № 5.
7. *Тарланов З.К.* К вопросу об изоморфизме глагольно-именных формантов в дагестанских языках // ВЯ. 1980. № 3.
8. *Тарланов З.К.* О лексико-синтаксическом изоморфизме в истории языка // ВЯ. 1989. № 1.
9. *Дирр А.* Агульский язык // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа XXXVII. Тифлис, 1907.
10. *Шаумян Р.* Грамматический очерк агульского языка. М.; Л., 1941.
11. *Магометов А.А.* Агульский язык (Исследование и тексты). Тбилиси, 1970.
12. *Тарланов З.К.* // ВЯ. 1972. № 2. Рец.: Магометов А.А. Агульский язык (Исследование и тексты). Тбилиси, 1970.
13. *Потебня А.А.* Из записок по русской грамматике. I—II. Харьков, 1888.
14. *Шахматов А.А.* Синтаксис русского языка. Л., 1941.
15. *Виноградов В.В.* Русский язык. М.; Л., 1947.
16. *Магометов А.А.* Табасаранский язык. Тбилиси, 1965.



Академику Н.И. Толстому — 70 лет: За годы служения отечественному языкознанию им созданы труды, определившие пути его дальнейшего развития в нескольких важнейших направлениях, проделана огромная научно-организационная работа. Отрадно сознавать, что свой юбилей Никита Ильич встречает в расцвете творческих сил. Редколлегия журнала горячо поздравляет своего коллегу со славной датой и желает ему доброго здравия и новых свершений.

© 1993 г.

VIR DOCTUS, VIR DOCENS

К семидесятилетию академика Н.И. Толстого

Исполнилось семьдесят лет одному из крупнейших современных славистов академику Никите Ильичу Толстому.

Доброе имя и огромный авторитет Н.И Толстой снискал своими глубокими и яркими исследованиями в самых разных областях славистики, многотрудной и неустанной деятельностью, связанной с организацией науки, заботливыми усилиями, направленными на воспитание учеников. Наука о старославянском языке и письменности, теория и история славянских литературных языков, текстология, теоретическая лексикология и семантика, проблемы балканистики, славянская диалектология и лингвогеография, диалектная лексикография, ономастика, историческая фразеология, этнолингвистика, фольклористика, этнография, мифология, культурология, история южнославянских литератур, история славистической науки, — трудно перечислить сферы исследовательских пристрастий юбиляра, в которых его творческая мысль принесла весомые плоды. Перу Н.И. Толстого принадлежит свыше 300 научных работ, появление которых всякий раз встречается с живым вниманием не только коллегами по славистическому цеху, но и специалистами в других областях филологического и исторического знания. Удивительная широта познаний, обнаруживаемая их автором, фундаментальность решения любой из привлекающих его интерес проблем, дар находить новое в хорошо, казалось бы, изученном, остро видеть розное в общем и единство в розном, исследовательский вкус и строгость анализа — качества, которые всегда будут притягивать читателя в ученых сочинениях Н.И. Толстого.

Научная и научно-организационная деятельность Никиты Ильича Толстого отмечена в 1984 г. его избранием членом-корреспондентом, а в 1987 г. — действительным членом Академии наук СССР (Российской Академии наук). Столь же велико международное признание его ученых и общественных заслуг. Он является иностранным членом Австрийской Академии наук (1979), Македонской Академии наук (1979), Сербской Академии наук и искусств (1985), Югославянской Академии наук в Загребе, Хорватия (1986), Словенской Академии наук и искусств (1987), Академии искусств (Academia imiejętności) в Кракове, Польша (1991), почетным членом Союза сербских писателей (1987), Славистического общества Сербии (1989), членом научного общества "Матица Српска", Белград (1991), почетным доктором Люблинского университета им. М. Кюри-Склодовской, Польша (1991) и др. научных организаций. В 1968 г. Чехословацким обществом международных связей Н.И. Толстой награжден золотой медалью с лентой за заслуги в деле развития дружбы и сотрудничества с тогда единой Чехословакией.

Чтобы понять себя и время, осознать пройденное и сделанное, нужно останавливаться и оглядываться назад. Семь десятилетий жизни, почти сорок пять лет в науке — достойный повод.

Никита Ильич Толстой родился 15 апреля 1923 года в городке Вршац в Сербии (Воеводине), в семье, эмигрировавшей из советской России. Он учился в Белградской I Русско-сербской мужской гимназии, где в те годы преподавали Е.В. Аничков, автор известных книг о становлении христианства на Руси, языческом фольклоре, богослов, известный историк русской культуры о. Георгий Флоровский; латинист и философ И.М. Малинин, в прошлом доцент Новороссийского университета, и др. Из стен гимназии вышло немало заметных людей, в том числе филологов, среди них, например, стиховед К.Ф. Тарановский, литературовед И.Н. Голенищев-Кутузов. На формирование личности Н.И. Толстого решающее влияние оказала семья с ее высоким нравственным и культур-

ным духом, особенно отец, Илья Ильич Толстой, в молодости морской офицер, впоследствии филолог, автор превосходного "Сербскохорватско-русского словаря", хорошо известного отечественным и зарубежным лингвистам Семейные традиции, классическое русское гимназическое образование и живая южнославянская среда дали замечательный сплав и не могли не пробудить у молодого Н.И Толстого интереса к славянству и славистике.

Сразу же по окончании в 1941 г. гимназии Н.И. Толстой оказался в круговороте военных событий, приняв участие в движении сопротивления оккупантам в Югославии. В октябре 1944 г. он вступил добровольцем в ряды Красной Армии. Стрелком-автоматчиком 34-й гвардейской Енакиевской дивизии он участвовал в боях на территории Югославии, Венгрии, Австрии. Военные заслуги Н.И. Толстого в 1946 г. были отмечены медалями "За взятие Вены", "За взятие Будапешта", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне", позже другими наградами, в 1985 г. — орденом Отечественной войны II степени

Осенью 1945 г. Н.И. Толстой приезжает в Москву, куда незадолго до этого вернулись его родители. Он становится студентом филологического факультета Московского университета, где на отделении славянской филологии специализируется в области болгаристики. На студенческой скамье Н.И. Толстой проявляет интерес к диалектологии, участвует в первых своих экспедициях — по изучению болгарских говоров на территории Бессарабии. Еще будучи аспирантом по кафедре славянской филологии на филологическом факультете МГУ (1950—1953 гг.), он начинает преподавательскую работу, ведет курсы сербскохорватского и болгарского языков в Институте международных отношений МИД СССР.

В 1954 г. Н.И. Толстой защищает кандидатскую диссертацию "Краткие и полные прилагательные в старославянском языке" (его научным руководителем был достопочтенный Самуил Борисович Бернштейн). С этого времени судьба Н.И. Толстого связана с Институтом славяноведения АН СССР, где он работал младшим, а с 1962 г. старшим научным сотрудником. В 1972 г состоялась блистательная защита докторской диссертации на тему "Опыт семантического анализа славянской географической терминологии" (часть материалов диссертации составила ранее вышедшую книгу "Славянская географическая терминология. Семасиологические этюды"). В 1977 г. Н.И. Толстой возглавил группу этнолингвистики, фольклора и славянских древностей Института славяноведения и балканистики, преобразованную в 1981 г. в сектор этнолингвистики и фольклора.

Работа в Институте славяноведения и балканистики была связана с активной экспедиционной деятельностью. С 1961 г. Н.И. Толстой становится руководителем диалектологических, позже комплексных этнолингвистических экспедиций по изучению диалектов и традиционной духовной культуры Припятского Полесья — одной из интереснейших архаичных зон Славии. К экспедициям в Полесье привлекались не только сотрудники Института, но и большое количество студентов и аспирантов различных вузов, специалисты из научных учреждений, расположенных во многих городах России, Белоруссии и Украины. За два с половиной десятилетия работы в Полесье собран огромный и бесценный материал, позволяющий в относительной полноте реконструировать архаический облик традиционной культуры этого региона. По своему объему материал, собранный в полесских селах, превосходит любой свод данных, касающихся сопоставимого региона в славянском мире. Полесские записи нашли отражение в редактированных Н.И. Толстым специальных коллективных трудах "Полесье", "Лексика Полесья", "Полесский этнолингвистический сборник", "Полесье и этногенез славян", серийном издании "Славянский и балканский фольклор" и др. Из terra incognita современной Славии Полесье, рассматриваемое Н.И. Толстым как область, чрезвычайно важная для постижения славянского этногенеза, стало terra cognoscibilis. К несчастью, полесские экспедиции были

прерваны из-за страшной Чернобыльской трагедии, принесшей бедствия не только людям, но и науке: катастрофа повлекла за собою переселение жителей загрязненных радиацией зон в другие места и резко осложнила, а во многих местностях сделала и вовсе невозможной полевую работу диалектологов, фольклористов, этнографов, археологов.

Многих добрых слов заслуживает интенсивная деятельность Н.И. Толстого по устроительству научных исследований, по созданию благоприятных условий для развития науки и у нас в стране, и за ее пределами. Будучи членом, а позже председателем Советского комитета славистов, секретарем, а с 1987 г. заместителем председателя Международного Комитета славистов, он принимал и принимает деятельнейшее участие в организации всех Международных съездов славистов, начиная с IV, Московского. Много места заняло бы перечисление всех официальных титулов и должностей Н.И. Толстого, занятие которых накладывает на него сложнейшие обязанности по координации исследовательской работы и сотрудничества ученых разных специальностей, по обеспечению культурной преемственности. Это и должность заместителя академика-секретаря Отделения литературы и языка РАН, и членство в экспертных советах ВАК, в специализированных советах по защитам диссертаций в МГУ и Институте славяноведения и балканистики, в многочисленных советах, бюро и комиссиях Академии наук, председательство в Фонде славянской письменности и культуры. Одно из последних официальных назначений Н.И. Толстого — членство в Президиуме Российской АН.

Немало сил отдает Н.И. Толстой редакторско-издательской работе. Еще в 1954 г. тогдашний главный редактор журнала "Вопросы языкознания" академик Виктор Владимирович Виноградов, сыгравший большую роль в становлении научных взглядов молодого ученого, что с неизменным пиететом и благодарностью много раз отмечал сам нынешний юбиляр, привлекает его к сотрудничеству в журнале. До 1970 г. Н.И. Толстой был членом его редакционной коллегии и ответственным секретарем. С 1987 г. Н.И. Толстой — заместитель главного редактора "Вопросов языкознания". В 1965—1987 гг. он был заместителем главного редактора журнала "Советское славяноведение". Н.И. Толстой является членом редколлегий реферативного журнала "Общественные науки за рубежом. Языкознание", журнала "Русская речь", многотомного издания "Эпос народов СССР", заместителем главного редактора "Свода русского фольклора", председателем редколлегий Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого, авторитетной издательской серии "Языковеды мира" и др. Начинается издание журнала "Живая Старина", инициатором и главным редактором которого стал Н.И. Толстой (готовы к выходу в свет два номера).

В жизни Н.И. Толстого большое место занимает педагогическая деятельность. В стенах МГУ, где на филологическом факультете с 1968 г. он числится доцентом, а с 1976 г. — профессором по кафедре русского языка, он читает курсы старославянского языка, введения в славянскую филологию, славянского фольклора. Десятки его учеников стали кандидатами наук, несколько учеников защитили докторские диссертации. В Толстом-учителе привлекает эрциклопедичность, мудрость, доброжелательство, искренняя и не считающаяся с затратами времени и сил готовность помочь начинающему исследователю в его первых шагах. Многие филологи с теплым чувством вспоминают, что эти первые шаги были сделаны ими в семинаре по славянской сравнительной и исторической лексикологии, который Никита Ильич до сих пор ведет в Московском университете.

Если пытаться определить главную, путеводную идею, вдохновляющую научное творчество Н.И. Толстого, стержневую проблему, которая сплавляет в единое целое все его исследования, каким бы конкретным сюжетам они ни были посвящены, то эту патетическую идею можно сформулировать как поиск связей между языком и культурой. В конечном счете она одушевляет даже такие

работы, имеющие дело, казалось бы, с "чисто" лингвистическими явлениями и языковой техникой, как статьи о типологии славянского члена-артикля или о неотрицательных функциях *не*, работы о семантике народных географических терминов или о противопоставленности центрального и маргинальных ареалов в современной Славии. В конце концов языковая техника существует не для себя самое, а именно как техника выражения, за чем стоит определенная система взаимосогласованностей между человеческим языком и коллективной ментальностью, способами идиоэтнического мыслительного и языкового упорядочения мира, а физиографическая диалектная номенклатура, описывая внешнюю по отношению к культуре среду, теснейшим образом переплетается с именами творений человеческих рук, демонстрируя неразрывность "природы" и "культуры".

Начало научных занятий Н.И. Толстого было связано с исследованием грамматики старославянского языка. Обратившись к изучению категории определенности/неопределенности в старославянском на материале функциональных различий между краткими и полными прилагательными, Н.И. Толстой столкнулся с необходимостью уточнения и даже пересмотра некоторых существенных представлений о первом славянском литературном языке. Им была разработана концепция древнеславянского литературного языка как наддиалектного образования, единого для ряда южнославянских и восточнославянских культурных традиций — в силу единства надэтничной и конфессиональной по характеру древнеславянской литературы. Н.И. Толстой предложил периодизацию истории древнеславянского литературного языка, которая была принята многими палеославистами. Значительное внимание было уделено анализу специфики и взаимоотношений его локальных типов и их роли в сложении и развитии отдельных славянских литературных языков. Выработанная Н.И. Толстым историческая типология культурно-языковых ситуаций является яркой страницей в науке о культурной эволюции славянства.

Общепризнанным является авторитет Н.И. Толстого-диалектолога. Ничто не ценится им в коллеге-лингвисте так высоко, как знание полевого диалектного материала и бережное, любовное отношение к тому, что составляет душу диалектологического исследования, — конкретному факту. Это, однако, вовсе не означает наклонности к чистому эмпиризму. Н.И. Толстым разработана глубокая и эффективная теоретическая модель изучения в сравнительно-типологическом плане семантических диалектных явлений. Опыты типологического анализа славянского словарного состава, теория семантического микрополя, предложенные Н.И. Толстым, резко продвинули вперед разыскания в области диалектной семасиологии, долгое время пребывавшей если и не в оцепенении, то отнюдь не в процветающем состоянии. Десятки работ самого Н.И. Толстого, посвященные географии славянской лексики, междиалектным семантическим различиям, выявили большое количество чрезвычайно важных и интересных изоглоссных связей внутри славянского мира, систематизация которых позволяет углубить представления об отношениях славянских языков в прошлом и о судьбах отдельных диалектных систем. В своих диалектологических работах Н.И. Толстой проявляет неординарное умение идти до конца и в малозначительном, на первый взгляд, семантическом факте увидеть серьезный аргумент, например, в спорах о карпатской миграции славян. Его книга о славянской географической терминологии, где это умение обозначилось с явственной силою, уже вскоре после публикации приобрела репутацию классического труда, к которому постоянно обращаются и будут обращаться не только лингвисты, но и географы, историки, археологи.

В начале 70-х годов отчетливо заявило о себе увлечение Н.И. Толстого-слависта предметами, далеко выходящими за рамки собственно лингвистической проблематики. Помимо его всегдашнего интереса к связям языка и культуры, тому есть еще целый ряд веских причин. Одна из конечных целей, к которым устремлено сравнительно-историческое языкознание, — реконструкция этноге-

неза, однако она может быть достигнута только на путях дисциплинарной интеграции, при согласованном взаимодействии наук о языке, народной словесности, народном менталитете, духовной и материальной культуре. Между тем уровень развития и теоретической оснащенности разных гуманитарных дисциплин неодинаков. Достаточно упомянуть, что при этничности и пространственной вариативности культуры, вполне аналогичных соответствующим характеристикам языка, диалектология культуры, настоятельная потребность в разработке которой ощущается давно, парадоксальным образом остается практически заповедной областью, хотя исторически диалектология является, как известно, дочерним ответвлением этнографии. Занимая в системе гуманитарного знания авангардные позиции, лингвистика с ее мощным и изощренным понятийным и методологическим аппаратом должна была, по мнению Н.И. Толстого, сделать решительные шаги в сторону желанной интеграции. Это тем более необходимо, что традиционная культура и народная словесность, если пользоваться термином кинематографистов, — "уходящая натура".

Возвращая филологии ценную традицию, связанную с именами А.Н. Афанасьева, Ф.И. Буслаева, А.А. Потебни и других отечественных ученых, Н.И. Толстой формулирует задачи этнолингвистики — интердисциплинарного направления, рассматривающего язык и культуру целостно, преодолевающую как различия самих объектов лингвистики, фольклористики и этнографии, так и расхождения методологического порядка. Представляя естественный субстрат культуры, язык пронизывает ее целиком, является важнейшим средством для организации и упорядочения действительности и единственным ключом для ее постижения. Отсюда и вполне понятный и оправданный "обратный" интерес к внелингвистическому в попытках осознания самого языка и языковых (словесных) произведений.

В настоящее время можно выделить по меньшей мере два научных направления, вокруг которых группируются ведущиеся в нашей стране работы, тем или иным образом затрагивающие этнолингвистическую проблематику. Одно из них ассоциируется прежде всего с именами Вяч.Вс. Иванова и В.Н. Топорова, другое составляют исследования Н.И. Толстого и его сотрудников и учеников. С известной долей условности эти направления могут быть определены как "этимологическое" и "диалектологическое" соответственно. первое связывается по преимуществу с постановкой и решением задач реконструкции, воссоздания древнейшей системы онтологических, космологических, социальных представлений, отражаемых "культурной" лексикой, с этимологизацией слов мифологического характера и т.п.; второе в качестве первоочередного выдвигает требование максимальной дескрипции, выявления насколько возможно полного инвентаря форм культуры, ритуалов, обрядовой лексики с преимущественным вниманием к ареальным проблемам, к диалектологии культурных феноменов, к географическому аспекту их изучения. Предметом анализа в работах Н.И. Толстого и его многочисленных учеников стали славянская народная онтология, миф, пантеоны, ритуал, календарь и другие компоненты традиционной духовной культуры славян. Им написаны десятки работ, в которых язык трактуется как источник этногенетических построений в связи с проблематикой так называемых славянских древностей, рассматриваются системы архаичных представлений в связи с их языковым выражением, функции вербальных компонентов ритуала, изучается терминология конкретных обрядовых циклов и отдельных обрядов, исследуются возможности этнографической верификации реконструкций славянской фразеологии, выясняется соотношение лингво- и этногеографического членения славянского этноязыкового континуума и т.д. Многие из этих работ созданы в соавторстве со Светланой Михайловной Толстой, которую Никита Ильич в предисловии к одной из своих книг назвал своим "строгим судией и верным помощником". Итогом усилий Н.И. Толстого и его научной паствы должен стать великолепный по замыслу "Этнолингвистический словарь

славянских древностей", первый том которого готов к изданию и появится в свет в самое ближайшее время.

Свое семидесятилетие Никита Ильич Толстой встречает умудренный опытом и полный новых идей. Пожелаем ему долгих лет жизни, благоденствия его дому и новых сил для осуществления всего им задуманного.

Журавлев А.Ф.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1993

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 1993 г. ТАТАРИНОВ В.А.

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТЕРМИНОВЕДЕНИЯ: ЭРНЕСТ КАРЛОВИЧ ДРЕЗЕН

Очевидно, что дальнейшее развитие терминоведения как самостоятельной лингвистической дисциплины становится невозможным без изучения творчества ученых, заложивших основы науки о термине (см. [1—2]). Одним из таких ученых, кто проложил новые пути в терминологических исследованиях, был, безусловно, Эрнест Карлович Дрезен [1895—1936(?)].

Научное наследие Э.К. Дрезена поистине огромно. Полной библиографии его работ пока не существует, но, по нашим предварительным подсчетам, количество статей и книг Э.К. Дрезена достигает 200 наименований. Кроме того, Э.К. Дрезен был редактором отдельных номеров журнала "Международный язык", нескольких сборников научных статей и научным редактором ряда изданий. Э.К. Дрезена отличала поразительная научная продуктивность во многих областях знания: лингвистике, эсперантологии, управлении и делопроизводстве, механике, стандартизации, терминоведении.

С не меньшей активностью Э.К. Дрезен участвовал в общественной и государственной жизни страны. Он был членом комитета и временным председателем возобновившего свою деятельность в 1913 г. общества "Espero", соучредителем [вместе с В. Розенбергером (руководитель), И.А. Бодуэном де Куртенэ, В. Чешихиным и В. Шмурло] общества "Космоглотт" в 1915 г., с 1918 г. — председателем общества "Espero", с 1921 г. с созданием Союза эсперантистов советских республик — его бессменным руководителем (с 1925 по 1936 гг. — генеральным секретарем Союза эсперантистов), членом известной группы "Языкофронт".

Государственная деятельность Э.К. Дрезена началась с должности комиссара Чусоснабарма (Чрезвычайный уполномоченный Совета труда и обороны по снабжению армии) в Петрограде. Затем он был сотрудником отдела административной техники НК РКИ, сотрудником Института техники управления и членом ВКС (Всесоюзный комитет по стандартизации). Одновременно Э.К. Дрезен преподавал в ряде учебных заведений г. Москвы (в частности, был доцентом Института народного хозяйства).

Вопросам развития и стандартизации терминологии посвящены статьи и монографии Э.К. Дрезена, опубликованные им в 1932—1936 гг. По проблемам терминологии Э.К. Дрезен опубликовал 18 работ, в том числе 4 монографии. Сейчас практически невозможно установить, почему Э.К. Дрезен, работая в весьма отдаленных от проблем терминологии областях, с таким усердием занялся терминологической деятельностью. Тем не менее имеется достаточно оснований считать, что стимулом к занятиям вопросами стандартизации терминологии явилась для Э.К. Дрезена докторская диссертация Е. Вюстера, вышедшая в Германии отдельной книгой в конце 1931 г. [3].

В советской печати информация о книге Е. Вюстера появилась в первом номере "Русско-германского вестника науки и техники" за 1932 г. [4]. В третьем номере "Вестника" за тот же год можно найти подробный реферат книги Е. Вюстера (автор реферата не указан) [5] Э.К. Дрезен оказался в букваль-

ном смысле в плену книги Е. Вюстера, давно известного Э.К. Дрезену по многочисленным работам о языке эсперанто. Если до 1932 г. в работах Э.К. Дрезена нельзя обнаружить эксплицитной терминологической рефлексии, то начиная с 1932 г. его научная деятельность немыслима без терминологических изысканий. Более того, принято считать, что с именем Э.К. Дрезена связано становление одной из отраслей терминологических исследований — прескриптивного (ортологического) терминоведения.

Первым плодом терминологических размышлений Э.К. Дрезена была его рецензия на немецкое издание книги Е. Вюстера [6]. Однако она не была статьей начинающего научного работника: ко времени ее опубликования Э.К. Дрезен уже был автором более десяти монографий по делопроизводству, механике, эсперанто и общему языкознанию (см., например [7—10]). Ознакомился Э.К. Дрезен и с первыми, но ставшими сразу же классическими работами Д.С. Лотте по терминологии, опубликованными в 1931—1932 годах [11, 12].

В своей первой работе по терминологии Э.К. Дрезен не только продемонстрировал исключительное знание актуальных вопросов стандартизации терминологии, но и весьма солидно фундировал их идеологически. С последнего момента мы и хотели бы начать характеристику терминологических взглядов Э.К. Дрезена.

Рецензия называется "Нормализация технического языка при капитализме и социализме". Как видим, Э.К. Дрезен "искусно" владеет научным стилем первых послереволюционных лет, стилем, который саркастически был определен Н.А. Бердяевым как "диалектический шабаш" (см. [13]). В духе типичной для того времени реалистической, а не гносеологической диалектики построено всё сочинение Э.К. Дрезена. Э.К. Дрезен утверждает, что Е. Вюстер "...не марксист. Его высказывания сплошь и рядом свидетельствуют, что в основном он недалеко ушел от уровня среднего европейского стандартно-интеллигентного буржуа... Но Вюстер подошел в возможной для него мере объективно и беспристрастно к исследованию области, которая сознательно игнорировалась и буржуазной социологией и буржуазными языковедами. Изучив определенные явления и факты, Вюстер оказался вынужденным сделать ряд неожиданных для буржуазной науки выводов..." [6, с. 233]. Строй мысли Е. Вюстера, по мнению Э.К. Дрезена, ведет к "неизбежности для буржуазного ученого при желании серьезно и возможно беспристрастно изучить какое-либо общественное явление — прийти к выводам, несовместимым с проплением существования капиталистической системы" [6, с. 235]. Не обошлось у Э.К. Дрезена и без пророчеств: "Но буржуазному ученому и теоретику остается мечтать и рисовать схему, осуществление которой немыслимо его классу, но которая осуществима для пролетариата и которая будет им осуществлена" [6, с. 235]. Перед тем как перейти к собственно терминологическим мыслям Э.К. Дрезена, процитируем еще одно довольно классическое место вульгарно-диалектического стиля из этой рецензии: "Вюстер желал бы взять за образец действий при утверждении интернационального языка методы действий, применяемые нормализаторами технического языка в буржуазном обществе. Несомненно в этих методах имеется много ценного и полезного, что должно быть изучено нами. Но методы нормализации языка, осуществляемые в буржуазном обществе и в интересах буржуазии, должны быть критически освоены пролетариатом при решении им проблемы его технического языка и тем более при решении проблемы всеобщего международного языка" [6, с. 237].

Э.К. Дрезен весьма однозначно, не нарушая своего стиля изложения, определяет "профессиональный" предмет рецензии: "Но именно всё то, что у Вюстера опасно, вредно и неприемлемо для буржуазии, заслуживает у нас пристального внимания, изучения и критической проработки. Под этим углом зрения нам и следует расценивать работу Вюстера" [6, с 236].

В действительности же Э.К. Дрезена волнуют прежде всего феноменальная

взаимосвязь компонентов триады "язык — национальный язык — технический язык", а также проблемы нормализации технического языка. Исходная посылка Э.К. Дрезена: «Вюстер определяет язык, как "систему звуковых знаков", копируя в этом отношении формулировку буржуазных языковедов индоевроеистов. Такое определение языка неправильно и недостаточно» [7, с. 236]. Э.К. Дрезен не соглашается и с определением языка как "орудия общения и связи". В качестве исчерпывающего определения он приводит высказывание К. Маркса и Ф. Энгельса: "Язык — это практически существующее для других людей, а значит, существующее и для меня самого реальное сознание" (Цит. по [6, с. 236]).

Технический язык определяется Э.К. Дрезеном как язык, "используемый инженерами и специалистами для выражения понятий и мыслей, относящихся к их специальным областям" [6, с. 231]. Ученому импонирует, что Вюстер занимается языком "сегодняшнего дня", а не прошлым языка или его неопределенным будущим. Он особенно подчеркивает мысль Е. Вюстера о необходимости изучения языка в его взаимосвязи с техническим развитием общества и возникающей необходимостью овладения новой техникой.

Э.К. Дрезена привлекает тот факт, что Е. Вюстер в своей книге пытается провести идею языкового нормирования, языковых стандартов и регулирования языка техники. Это позволило бы, таково мнение Э.К. Дрезена, избавить технический язык от "многомыслия" понятий и выражений, от омонимии и синонимии, неточностей в переводе, псевдоинтернациональности некоторых терминов, т.е. создало бы возможность ликвидации номинативного разрыва между возможностями системы языка и усложняющейся техникой. Э.К. Дрезен сожалеет по поводу отсутствия в книге Е. Вюстера дискуссии о социальных моментах в развитии языка. В результате он необоснованно упрекает "буржуазных языковедов" в том, что они не занимаются регулированием языка.

Разрешение вопросов нормализации научно-технического языка в социалистическом обществе должно базироваться, как считает Э.К. Дрезен, на общих тенденциях развития культур и языков — национальных по форме и социалистических по содержанию. Такое развитие приведет на завершающем этапе к общей социалистической культуре и к общему языку, которые будут уже едины и по содержанию, и по форме. Но это культурно-языковое единение — факт отдаленного будущего. А пока речь должна идти о принципе "пропорциональной интернациональности" технического языка, в чем Э.К. Дрезен полностью солидаризируется с Е. Вюстером. При этом понятие "пропорциональной интернациональности" понимается как стремление развивать национальные языки на национальной основе с одновременным установлением путей, ведущих к будущему мировому языку (мировой язык — это, конечно, эсперанто). Но в целом к "временной" интернациональности Э.К. Дрезен относится весьма положительно: «Если тот или другой термин является широко известным в пределах данного народа, то отнюдь нет нужды его обязательно заменять каким-либо новым термином, собственного, отечественного производства... Если слово "галоша" известно массам, то нет никакого смысла заменять его словом "мокроступ"...» [6, с. 237—238].

Обсуждение книги Е. Вюстера Э.К. Дрезен заканчивает мыслями о приоритетных направлениях нормализации технического языка в СССР в 30-е годы, которые звучат и в наши дни весьма актуально: 1) объединение усилий специалистов соответствующих отраслей техники и языковедов; 2) сбор и систематизация технической терминологии для выявления "многозначимости" терминов, а также для определения терминологически-понятийных лакун; 3) отбор особой комиссией терминов, рекомендуемых для всеобщего использования (омонимия и синонимия терминов исключается); 4) учет опыта международной нормализации терминологии; 5) параллельная нормализация технического языка и технической терминологии; 6) разделение работы по нормализации технического языка на два этапа: вначале — упорядочение национальных технических

терминологий, затем — принятие планового технического языка; 7) привлечение к обсуждению вопросов технической терминологии внимания общественности; 8) создание особой комиссии из представителей заинтересованных органов.

С 1933 по 1936 гг. Э.К. Дрезен публикует ряд статей и монографий по стандартизации терминов (см., например [14—20]). Одновременно им (совместно с О.И. Богомоловой, Л.И. Жирковым, А.Ф. Лесохиным и М.Ф. Маликовым) готовится к изданию на русском языке книга Е. Вюстера, вышедшая из печати в 1935 г. [21]. В качестве предисловия к этой книге Э.К. Дрезен предпосылает свою рецензию 1932 г., значительно смягчив ее в идеологическом отношении. Над изданием книги Е. Вюстера ученому пришлось много поработать. И труд этот увенчался не только успешным изданием классического произведения на русском языке. Главным результатом многотрудной работы над переводом Е. Вюстера был переход Э.К. Дрезена от терминоведения прескриптивного к терминоведению гносеологическому. Свои теоретические взгляды по онтологическим и гносеологическим аспектам терминологии Э.К Дрезен изложил во второй главе книги по стандартизации терминологии, вышедшей третьим изданием в 1936 г. [22].

Глава называется "Научно-технические термины и понятия" (см. [22, с. 13—62]). Поскольку основная проблематика исследования терминологии в 30-е годы нашла весьма представительное отражение в рубриках главы, приведем полностью названия разделов этой главы: 21. Язык и научно-технические термины; 211. Требования, предъявляемые к языку наукой и техникой; 212. Неточность выражений и научно-техническая бедность языка; 213. Техника и ученые — творцы новой терминологии; 22. Возможности и формы терминопроизводства; 221. Словоэлементы, участвующие в терминопроизводстве; 222. Нечеткость значения и изменчивость словоэлементов; 223. Нечеткость правил словообразования и терминопроизводства; 224. Перспективы установления строго обусловленных зависимостей между формами и содержанием терминов; 225. Положения, определяющие плановое терминопроизводство; 23 Обогащение научно-технической терминологии; 231. Оформление новых терминов; 232. Заимствования внешней формы терминов у других языков; 233. Заимствования внутренней формы терминов у других языков; 234. Борьба между параллельно существующими в языке синонимическими терминами; 24. Недостатки научно-технической терминологии и их следствия; 241. Требования, предъявляемые к научно-техническому термину; 242. Неудовлетворительность формы термина; 243. Неточности и неясности терминов; 244. Потери вследствие неудовлетворительной и неточной терминологии; 25. Определения научно-технических терминов; 251. Термин и его определение; 252. Пути развития понятий и определений научно-технических терминов; 253. Классификационные номенклатуры; 254. Требования, предъявляемые к определению термина; 26. Предпосылки правильного выбора термина; 261. Четкость понятия и ее предпосылки; 262. Четкая классификация понятий; 263. Плановое воздействие на язык.

Как видим, взгляды Э.К. Дрезена стали более профессиональными и взвешенными. Его подход к когнитивной сущности и гносеологическому назначению термина отличается в высшей степени реалистичностью. Во-первых, научно-технические понятия, по Дрезену, существуют в форме слов-терминов. Во-вторых, "назначение термина — воспроизводить в сознании человека возможно полнее представление о данном объекте (понятии) со всеми его свойствами и качествами" [22, с. 13]. В-третьих, "если нет термина, то невозможно или во всяком случае чрезвычайно затруднено оперирование с соответствующими понятиями..." [22, с. 14]. В-четвертых, "важно то, что язык живет и развивается так же, как развивается познание и мышление человека" [22, с. 29].

Во главу угла Э.К. Дрезеном ставится понятие точности термина. Точный термин — это такой термин, за которым стоит четкое и наиболее полно, исчерпывающе определенное понятие. Однако отсутствие в языке каких-либо тер-

минов или многозначность этих терминов Э.К. Дрезен ставит в вину языку, квалифицируя эти факты как "научно-техническую бедность языка". Таким образом, очевиден лингвоцентризм взглядов Э.К. Дрезена.

К обсуждаемой проблематике Э.К. Дрезен пытался подойти и с другой стороны. Его волновал вопрос взаимоотношения точности термина и однозначности термина. "Отсутствие абсолютно точного единого понимания значения термина, — полагает Э.К. Дрезен, — само по себе, однако, еще не означает, что термин полностью неудовлетворителен. Он, правда, может как бы маскировать, прикрывать наше незнание сущности данного понятия, но при общении людей между собой даже таковой термин будет все же играть определенную положительную роль как обозначающий некоторое еще не полностью познанное понятие" [22, с. 37].

В то же время Э.К. Дрезен весьма реалистично относится и к структурным моментам при создании новых терминов. Он пытается установить минимальный лингвокреативный элемент, с которого начинается создание термина: «В языке существуют частицы, именуемые словоэлементами, или семами (например корень — "мал", приставка — "из", окончание множественного числа в творительном падеже — "ами" или — "ями" и т.д.), которые обладают в нашем представлении определенной смысловой значимостью и дальнейшее дробление которых приводит к потере этой значимости» [22, с. 17]. Э.К. Дрезен довольно пессимистично относится к языковым ресурсам в области словопроизводства, и в особенности к его классификационным способностям: "В самом деле, каким образом отображается в формах языка тот факт, что *хвойное дерево* и *машина* являются основными (общими) понятиями, а *сосна* и *электромотор* — частными, что термин *электромотор* содержит в себе также и понятие машины, а термин *сосна* — также и понятие хвойного дерева? Эти положения приобретают значение истины для человеческого сознания на определенном уровне его развития, но во внешних формах языка соответственные соподчинения в взаимоотношении отдельных понятий никак не отражаются" [22, с. 19].

Отсюда и стремление Э.К. Дрезена рационализировать положение дел в терминообразовании: "...каждому простому элементарному понятию — свой словоэлемент и каждому производному понятию — свое сочетание словоэлементов, наиболее полно и точно выражающих это производное понятие" [22, с. 20]. Стихийность же в создании терминов приводит, по мнению Э.К. Дрезена, к такому нежелательному явлению в языке науки и техники, как синонимия.

Не оставлен без внимания Э.К. Дрезеном и вопрос о конкретных требованиях, предъявляемых к термину. В этих требованиях превалирует аксиологичность, а не концептуальность, что следует из списка слов, употребляемых ученым при характеристике требований: краткость, легкость, малое число составных элементов, общепонятность, точность значения термина, ясность каждого понятия, различимость, целесообразность, однозначность, простота, единство, экономность и др.

Главную роль в устранении недостатков терминологии играют, как считает Э.К. Дрезен, рационально построенные определения терминов. Именно они ведут к "единозначимости" термина. Определение — это один из этапов изучения понятия: "...словесное определение будет, по неизбежности, всегда только относительно полным, будет характеризовать только некоторые основные свойства и признаки данного понятия, опуская характеристику других его свойств" [22, с. 44]. Э.К. Дрезен однозначно выступает за динамизм определений: "Дальнейшие пути развития определений должны совпадать с общими путями роста человеческого познания и развития языка, когда с терминами начинает связываться всё более полное материалистическое представление о соответственных понятиях..." [22, с. 48].

Коснувшись в той или иной мере всего спектра проблем, волновавших терминологов его времени, Э.К. Дрезен заканчивает свои терминологические искания совершенно неожиданным выводом о гносеологической, а не прескриптивной сущности термина. "С точки зрения науки и техники, — утверждает Э.К. Дрезен, — главное... заключается не столько в том, чтобы улучшить форму термина, а в том, чтобы улучшить качество понятий, сделать их четкими и определенными" [22, с. 61].

Невольно возникает вопрос, почему современники Э.К. Дрезена не увидели в его трудах попыток гносеологического обоснования терминологических исследований?[1] Пока мы вынуждены оставить этот вопрос без ответа. Более того, отрицательная оценка работ, проведенных в области терминологической стандартизации, которая была дана в статье С.А. Чаплыгина и Д.С. Лотте 1937 г., надолго вывела имя Э.К. Дрезена из научного обихода: "...практическая ценность большинства произведенных и опубликованных работ была весьма низка... Первой и основной причиной является то, что не была установлена методика проведения подобных работ и не существовали сколько-нибудь разработанные принципы отбора и построения терминов" [28, с. 873]. И далее: "Момент стандартизации терминологии является далеко не решающим. Терминологические стандарты ВКС, как и следовало ожидать, дали наглядный урок того, что одним фактом стандартизации в этом деле не обойдешься" [28, с. 877].

Пора подвести некоторые итоги. В настоящей статье мы остановились лишь на основных мыслях Э.К. Дрезена о терминологии. В одной статье трудно охватить всю щедрую россыпь его суждений, поэтому и в заключение скажем только о главном. Подчеркнем еще раз, что Э.К. Дрезен не только уловил происходящее раздвоение науки о термине на (пока еще!) две отрасли — прескриптивное терминоведение и гносеологическое терминоведение[2], но и пытался в силу своих возможностей сформировать эти понятия и развести их, стремясь проникнуть в ту сферу познания, которая была отвергнута новой наукой как позитивистская гносеология. Его попытки в этом направлении можно сравнить с усилиями П.А. Флоренского осознать место термина в мыслительной деятельности человека (см. [29]).

Кроме того, в поле внимания Э.К. Дрезена оказываются и более частные вопросы терминоведения, такие, как структура технического языка и его отношение к общелитературному языку, образность в научной литературе, порядок слов в терминологическом словосочетании, особенности понятия "внутренняя форма" в терминологии, место иноязычных терминов в научно-техническом языке и, как мы уже убедились выше, многие другие проблемы.

Однако Э.К. Дрезен не смог сложить всю обсуждавшуюся им палитру вопросов в последовательную систему взглядов на сущность термина и терминологии. Концептуальная канва повествования в его работах постоянно нарушается, а терминологическое кредо вступает зачастую в противоречие с реальной терминологической действительностью. Впрочем, на данном этапе историографии терминоведения можно все-таки допустить, что за некоторой фрагментарностью терминологических размышлений Э.К. Дрезена стоит не уловленная пока концептуальность взглядов, для подтверждения которой потребуется более детальный анализ работ ученого.

---

[1] Хотя недостатка в откликах на труды Э.К. Дрезена явно не было. См., например [23—27].

[2] Стоит оговориться, что Э.К. Дрезен не оперировал, естественно, этими понятиями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Татаринов В.А.* Вопросы перевода научно-технических терминов в трудах Д.С. Лотте // Fremdsprachen. 1989. Hf. 3.
2. *Барандеев А.В.* ФН. 1990. № 4. Рец. на кн.: Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В. Общая терминология: Вопросы теории. М., 1989.
3. *Wüster E.* Internationale Sprachnormung in der Technik, besonders in der Elektrotechnik. B., 1931.
4. Русско-германский вестник науки и техники. 1932. № 1. С. 57.
5. Русско-германский вестник науки и техники. 1932. № 3. С. 51. Рец. на кн.. Вюстер Э. Международное номирование технического языка, особенно в электротехнике.
6. *Дрезен Э.К.* Нормализация технического языка при капитализме и социализме (вместо рецензии на книгу E. Wüster. Internationale Sprachnormung in der Technik besonders in Elektrotechnik) // Международный язык. 1932. Кн. 7—8; 11—12.
7. *Дрезен Э.К.* Делопроизводство. 3-е изд. М., 1925.
8. *Дрезен Э.К., Сергеев В.И., Эренбург А.Б.* Техническая механика: В 4 ч. / Под ред. Дрезена Э.К. М., 1929—1933.
9. *Дрезен Э.К.* За всеобщим языком (Три века исканий). М.; Л., 1928.
10. *Дрезен Э.К.* Основы языкознания, теории и истории международного языка. 3-е изд. / Отв. ред. Лоя Я. М., 1932.
11. *Лотте Д.С.* Очередные задачи технической терминологии // ИАН СССР. Сер. VII. Отд. общ. наук. 1931. № 7.
12. *Лотте Д.С.* Упорядочение технической терминологии // Социалистическая реконструкция и наука. 1932. Вып. 3.
13. *Строгаин С.П., Худякова Г.П.* Тупики рационализированного мировоззрения // Язык и социальное познание. М., 1990. С. 162.
14. *Дрезен Э.К.* Очередные задачи в области стандартизации научно-технических понятий, терминов и обозначений // Вестник стандартизации. 1933. № 6. С. 7—10.
15. *Дрезен Э.К.* Стандартизация научных обозначений // Социалистическая реконструкция и наука. 1933. Вып. 7.
16. *Дрезен Э.К.* О международном нормировании научно-технических терминов и обозначений // Социалистическая реконструкция и наука. 1934. Вып. 2.
17. *Дрезен Э.К.* Перспективы в области интернационального номирования научно-технических терминов и обозначений // Международный язык. 1934. Кн. 2—3. С. 71—76.
18. *Дрезен Э.К.* Стандартизация научно-технических понятий, обозначений и терминов. 2-е изд., испр. и доп. М.; Л., 1934.
19. *Дрезен Э.К.* За очищение и уточнение научно-технического языка // Фронт науки и техники. 1935. № 1.
20. *Дрезен Э.К.* Интернационализация научно-технической терминологии: История, современное положение и перспективы. М.; Л., 1936.
21. *Вюстер Е.* Международная стандартизация языка в технике / Пер. с нем. Богомоловой О.И. Под ред. Дрезена Э.К., Жиркова Л.И., Лесохина А.Ф., Маликова М.Ф. Л.; М., 1935.
22. *Дрезен Э.К.* Научно-технические термины и обозначения и их стандартизация. 3-е изд., перераб. М., 1936.
23. *Шор Р.* Печать и революция. 1927. № 2. Рец. на кн.: На путях к международному языку / Под ред. Дрезена Э.К. М.; Л., 1926.
24. *Иодко А.* Еще о "На путях к международному языку" // Международный язык. 1926/27. Кн. 7/8.
25. *Спиридович Е.* "За всеобщим языком" Э. Дрезена // Международный язык. 1928. Кн. 7/8.
26. *Спиридович Е.* // Вестник стандартизации. 1934. № 5. С. 54. Рец. на кн.: Дрезен Э.К. Стандартизация научно-технических понятий и терминов. М., 1934.
27. *Муравкин Г.Н.* Стандартизация языка в науке и технике // Социалистическая реконструкция и наука. 1936. Вып. 6.
28. *Чаплыгин С.А., Лотте Д.С.* Задачи и методы работы по упорядочению технической терминологии // ИАН СССР. Отд. техн. наук. 1937. № 6. С. 867—883.
29. *Флоренский П.А.* Термин // ВЯ. 1989. № 1. 3.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1993

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

АЛИНЕИ М

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АТЛАС ЕВРОПЫ: ПЕРВЫЕ ДВАДЦАТЬ ДВА ГОДА*

Подводя итоги более чем двадцатилетней работы, можно говорить о находящемся в стадии публикации Лингвистическом атласе Европы как о законченном труде Поэтому здесь нам представляется необходимым охарактеризовать организационную и научную структуру проекта, его историю, значение и дальнейшие перспективы.

К настоящему времени в издательстве Ван Горкум опубликованы вводный том [1], два вопросника ЛАЕ [2, 3] и четыре двойных тома [4—7] с комментариями (объемом 750 с.) и 44 европейскими картами (карты подготовлены в Институте геодезии и картографии в Германии). Поскольку новая программа ЛАЕ предусматривает публикацию примерно 150 карт в 12 двойных томах, можно сказать, что издана примерно одна треть труда.

Были картографированы и опубликованы 34 вопроса Первого вопросника: "радуга", "ласка", "береза", "ветка", "туман", "сосулька", "тополь", "дуб", "божья коровка", "огурец", "медь", "молния (сверкающая в небе)", "олово", "пруд", "лужа", "цветок", "молния (попадающая в объект)", "можжевельник", "град", "озеро", "луна", "море", "гора", "ежевика", "снег", "облако", "сосна", "свинец", "груша", "река", "кузнечик", "солнце", "гром", "ветер". Карт с комментариями опубликовано больше, чем имеется соответствующих вопросов, что зависит от четырех факторов 1) один вопрос может трактоваться или ономасиологически или мотивационно, 2) даже в соответствии с одной из трактовок материалы могут картографироваться более чем на одной карте, 3) для тесно связанных между собой карт может быть представлена структурная карта, 4) для тесно связанных между собой вопросов возможен объединенный комментарий.

Ономасиологические карты "береза", "ветка", "туман", "огурец", "медь", "молния (сверкающая в небе)", "олово", "лужа", "цветок", "молния (попадающая в объект)", "можжевельник", "град", "озеро", "луна", "море", "гора", "ежевика", "снег", "облако", "тополь", "сосна", "свинец", "груша", "река", "солнце", "гром",

---

От редакции Публикуемая статья об итогах и перспективах проекта Лингвистического Атласа Европы (ЛАЕ) подготовлена по заказу редколлегии журнала руководителем Атласа — проф Марио Алинеи С этой работой по сбору, картографированию и комментированию материала всех языков континента в пределах его географических рубежей, начатой под эгидой ЮНЕСКО еще в 1970 г, широкая лингвистическая общественность СНГ по существу незнакома. Между тем за истекший период проделана огромная работа, результировавшая в создании соответствующих картотек и в выходе в свет четырех выпусков Атласа Автор статьи объективно излагает научные принципы, историю и ближайшие перспективы этой темы международного сотрудничества, призванной сыграть определенную роль не только в развитии лингвогеографических исследований, но и в строительстве общеевропейского дома В частности, он отдает должное большому коллективу ученых бывшего СССР, активно сотрудничавшему с их зарубежными коллегами с начала работы над проектом

"ветер". Мотивационные карты: "радуга", "ласка", "ветка", "сосулька", "дуб", "божья коровка", "ежевика", "кузнечик". Ономасиологические и мотивационные карты: "радуга", "ветка", "ежевика". Структурные карты: "молния (сверкающая в небе)", "молния (попадающая в объект)", "гром". В нескольких случаях дан единый комментарий для нескольких карт — "медь", "олово", "свинец" "молния (сверкающая в небе)", "молния (попадающая в объект)", "гром"

Авторов 44 карт и соответствующих комментариев к ним в четырех опубликованных томах всего 24. Поскольку было рассмотрено 34 вопроса первого вопросника, можно сделать вывод, что 1) многие авторы сделали больше одной карты и что 2) по крайней мере некоторые авторы обработали больше одного вопроса. Действительно, состав авторов по количеству карт следующий: 1 автор с 8 картами (Алинеи), 1 автор с 6 картами (Вейнен), 2 автора с 4 картами (Крайсен, Мойман), 4 автора с 3 картами (Баррос-Феррейра, Итконен, Гееман, Хогерхейде), 5 авторов с 2 картами (Брозович, Доналзе, Каприни, Кожина, Тюайон), 11 авторов с одной картой (Аванесов Хильдебрандт, Иванов, Кальман, Петр, Сараманду, Серебренников, Стан, Шимчак и др., Течишев, Виторино). При классификации авторов по "национальной" принадлежности получим: 6 из бывшего СССР, 5 из Нидерландов, 3 из Португалии, 2 из Италии, 1 из Германии, 1 из Финляндии, 1 из Венгрии, 1 (группа авторов) из Польши, 1 из бывшей Чехословакии, 1 из бывшей Югославии Отметим большое число "советских" авторов, работавших в атласе почти с самого начала.

Первоначальное решение — полностью довериться для достижения цели национальным учреждениям, от которых требовалось участие при наличии полной свободы и автономности, без навязывания правил, которые были минимальными при технической координации, сделало возможным осуществление проекта ЛАЕ несмотря на политическую ситуацию, в которой он находился в 60-е и 70-е годы. Благодаря такому выбору мы с самого начала пользовались моральным и финансовым покровительством ЮНЕСКО По этой же причине структура ЛАЕ была по необходимости сложной, что иногда вызывало задержки в работе.

Площадь исследования ЛАЕ простирается от Атлантики до Уральского хребта, до реки Урал и до северных отрогов Кавказского хребта Эти ориентиры чаще всего используются географами для определения границ Европы, и, как будет показано ниже, такой многоязычный проект, как ЛАЕ, может иметь только географические границы, если политические и языковые должны быть отброшены. С точки зрения лингвистики, главным следствием такого решения было включение в карты ЛАЕ большого числа очень интересных языков и диалектов бывшего СССР, в основном неизвестных или малоизвестных в Западной Европе. Эта географическая граница, естественно, разделяет некоторые языковые семьи, имеющие продолжение в Азии, например, уральскую, алтайскую, кавказскую Языковые границы постоянно пересекаются заимствованными словами в обоих направлениях, и если бы мы взяли в качестве области исследования, например, межконтинентальную "Англосаксонию", пришлось бы проследить движение заимствованных слов, приходящих в ареал с соседних территорий, и в то же время учесть все английские заимствованные слова, необязательно те же самые, распространяющиеся из "Англосаксонии" на различные территории, граничащие с ней. Разумеется, лингвистическому атласу легче найти границы в рамках языковых границ, чем в пределах других, однако географическая граница не лучше и не хуже политической, и невозможность для ЛАЕ как политических, так и языковых границ не оставила нам лучшей альтернативы, чем "объективная" географическая С лингвистической точки зрения, продолжение наших языковых семей за пределами географических границ поддерживается этимологической обработкой наших материалов, связывающей Европу не только с Азией, но и с Африкой.

Если вначале основной целью ЛАЕ было создание первого интерпретатив-

ного атласа целого европейского континента на базе лексического вопросника, то со временем и с приобретением опыта, в частности, благодаря внутренним противоречиям, послужившим импульсом для прояснения и решения проблем, эта цель стала точнее: с одной стороны, к традиционному понятию ономасиологической интерпретации добавилась возможность выбора или введения мотивационной интерпретации, с другой стороны, от авторов требуется составление комментария, который, по крайней мере, в тенденции должен быть эквивалентен по структуре и качеству "статье".

Большая сложность работы над ЛАЕ, замедляющая ее темпы, заключается не столько в новых редакционных и научных требованиях, сколько в его собственной природе. Действительно, речь идет о сложности, присущей объекту, поскольку он отражает непростую европейскую языковую ситуацию (с огромными издержками для авторов), так и о внешней для него сложности, зависящей от организационной структуры ЛАЕ.

Для оценки языкового ландшафта Европы достаточно вспомнить, что в ней представлены семь языковых семей: индоевропейская, уральская, тюркская, монгольская, семитская, кавказская, баскская. В эти семь семей входят следующие двадцать две языковые группы: абхазско-адыгская, албанская, арабская, армянская, балтийская, баскская, кельтская, прибалтийско-финская, германская, греческая, иранская, калмыцкая, лапландская, нахско-дагестанская, пермская, романская, самоедская, славянская, тюркская, венгерская, волжская, цыганская.

Само собой разумеется, что помимо проблем сбора, исследования и представления столь разнородных материалов, их классификация и интерпретация, осуществляемая авторами, ставит совершенно новые и отнюдь не простые проблемы. И я говорю здесь не о мотивационной интерпретации на историко-культурном уровне, которая не отличается от интерпретации в любом историческом исследовании международного масштаба, а скорее о собственно лингвистической части (т.е. этимологической классификации и, следовательно, легенде, основе карты и каком-либо комментарии), вытекающей из общей установки какой-либо академической специализации.

Основным инструментом организационной структуры ЛАЕ, как и каждого атласа, является вопросник, содержащий вопросы для картографирования. Первый вопросник ЛАЕ изначально состоял из 546 вопросов, которые были результатом двойной сопоставительной работы: 1) всех национальных опубликованных атласов, сопоставленных между собой, и 2) этих же атласов, сопоставленных с вопросником Общеславянского лингвистического атласа, находившегося тогда в стадии подготовки. В дальнейшем число вопросов было сокращено примерно до 400, так как, часть вопросов оказалась нерелевантной для картографирования лексики. Впоследствии было принято решение сократить количество вопросов для картографирования примерно до 150 и остальные опубликовать как "сырые" материалы. Это последнее решение, принятое не без колебаний, диктовалось довольно длительными сроками производства.

Из организационной структуры ЛАЕ вытекает, что каждой стране был предоставлен свободный выбор определения национальной сетки населенных пунктов. Единственным постоянным принципом была фиксация максимальной частоты сетки — 1 населенный пункт на 2000 кв. км, максимума, которого каждая страна не была обязана достигать, но к которому могла в разной степени приближаться в соответствии со своей собственной диалектной дифференциацией. Сетка ЛАЕ насчитывает в настоящее время 2631 населенный пункт, представляющий разные диалекты. Ясно, что речь идет об огромной сетке (самой большой сетке из до сих пор опубликованных атласов), которая автоматически дает 2631 лексическую потенциально различную форму для каждого вопроса Вопросника.

Представляют интерес точные данные по составу каждой национальной сетки. При распределении 22 европейских групп языков, по мере уменьшения

числа пунктов сетки ЛАЕ получим следующее: **романская** 787 п., **германская** 779 п., **славянская** 328 п., **финская** 231 п., **греческая** 86 п., **балтийская** 78 п., **тюркская** 50 п., **волжская** 49 п., **венгерская** 46 п., **пермская** 44 п., **кельтская** 40 п., **лапландская** 34 п., **нахско-дагестанская** 26 п., **албанская** 15 п., **абхазско-адыгская** 12 п., **баскская** 9 п., **цыганская** 6 п., **иранская** 3 п., **монгольская** 3 п., **самоедская** 3 п., **арабская** 1 п. и **армянская** 1 п.

Полезно отметить, что первые две сетки, романская и германская, вместе составляют больше половины общего числа пунктов, в то время как первые четыре сетки, т.е. первые две с добавлением славянской и финской, достигают 4/5 от общего количества. Надо ли говорить, что эта статистика имеет относительную ценность, поскольку, как уже было сказано, частота каждой сетки устанавливалась на основе разных неоднотипных критериев и не может быть точно соотнесена со статистическими данными о населении, говорящем на этих языках. Однако, по мнению специалистов, это соотношение недалеко от действительности и отклонение, там, где оно заметно, во многих случаях отражает меньшую диалектную дифференциацию.

Основные различия сеток населенных пунктов проявляются в следующем: (1) Во Франции и Италии (во втором томе ЛАЕ) мы видим "открытую" сетку, которая является подразделением ареала на одинаковые квадраты, каждый из которых содержит, соответственно, все пункты сетки Лингвистического атласа Франции, французских региональных атласов и Лингвистического и этнографического атласа Италии и Южной Швейцарии, из которых французский и итальянский национальные комитеты избирают наиболее релевантные ответы на каждый вопрос. Этот метод позволил французскому комитету использовать не только материалы Лингвистического атласа Франции, но и материалы французских региональных атласов, частые сетки которых, видимо, невозможно воспроизвести на любой европейской карте приемлемого масштаба. Другие релевантные материалы каждого "квадрата" даются в списках "двойных" (т.е. дополнительных) ответов. (2) Дания также представляет скорее регионы, чем "пункты". (3) Нахско-дагестанский ареал на Кавказе выглядит примерно так, как это сделано французским комитетом, поскольку, учитывая большое число языков и диалектов в ограниченном ареале, было бы невозможно зафиксировать их все. Эти языки представлены в этом ареале настолько тесно, что было бы невозможно отметить их на карте именно там, где они расположены. Таким образом, эти пункты не совсем соответствуют своим настоящим координатам. (4) В Финляндии имеется двойная сетка: маленькая — 23 пункта для "простых" вопросов, где не следует ожидать разнообразия ответов, большая сетка (23+134 пункта) для "сложных" вопросов, которые могут предположить разнообразие ответов. Вторая частота сетки достигает размеров рекомендованного максимального уровня частоты. Тот же метод был принят для шведского языка в Финляндии. (5) Относительно низкая частота сетки в Польше, славянском ареале бывших СССР, Чехословакии и Югославии объясняется существующей диалектной дифференциацией. Их материалы были взяты из Общеславянского лингвистического атласа и, таким образом, соответствуют его сетке или ее модификации. Из славянских стран только одна Болгария построила свою сетку иначе, а именно — на основе Болгарского диалектного атласа. (6) Широкая пустая полоса от Крыма до реки Урал является следствием установки, принятой издателями Общеславянского лингвистического атласа, — не фиксировать русские диалекты, на которых не говорили в ареале до XVII в. (7) Подобный критерий был принят в Нидерландах для голландских польдеров, недавно отвоеванных у Северного моря и, следовательно, не включенных в сетку ЛАЕ. (8) В Греции, напротив, диалекты некоторых недавно иммигрировавших сообществ, учитывая их архаический характер, фиксируются. (9) Подобным образом ареалы в Польше, вновь заселенные после второй мировой войны, были включены в сетку ЛАЕ. (10) Шесть цыганских

пунктов, выбранных Международным Цыганским комитетом, размещены в правом нижнем углу бланковки, так как было бы невозможно обозначить их в их современных координатах. (11) Некоторое количество пунктов добавилось уже после начала публикации для Италии, более чем вдвое увеличившей сетку, а также для армянского, казахского, кельтских языков.

Четвертый том был последним томом, опубликованным в Нидерландах и Германии. Начиная с пятого тома публикация будет осуществляться в Италии. В первых четырех томах карты масштаба 1:10 000 000 напечатаны Институтом прикладной геодезии и картографии во Франкфурте-на-Майне с использованием четырех цветов для различения следующих уровней: I) политические границы (трех разных порядков, как в бывшем СССР, или только двух, как в большинстве других стран), столицы, большие реки и моря (серо-голубой цвет); II) горы выше 1000 м (желтый); III) количество пунктов сетки и код языковой принадлежности для каждого пункта (красный цвет); IV) символизация и текст интерпретирующей карты (черный цвет). Однако на карте-бланковке для облегчения чтения пункты сетки с их лингвистическими кодами выделены черным. Кроме того, был добавлен черно-белый вариант карты-бланковки, имеющий двойную функцию: I) для использования авторами в качестве рабочей карты; II) для использования читателями, если пункты интерпретирующей карты частично перекрыты символами.

В разных европейских странах использовались три основных метода сбора материалов, нередко в сочетании друг с другом: I. Новые полевые обследования, II. Опубликованные источники, III. Неопубликованные архивы.

Новые обследования для ЛАЕ были сделаны в следующих странах: в Албании для албанского, в Австрии для славянского, в Бельгии для нидерландского и валлонского, в Болгарии для болгарского, в Словакии для венгерского, в Финляндии (для большей части) для лапландского, во Франции для корсиканского, бретонского и баскского, в восточной части Германии (частично) для верхне- и нижненемецкого и лужицкого; в западной части Германии для верхне- и нижненемецкого и фризского; в Великобритании для английского, уэльского, шотландского и гаэльского; в Греции для греческого, в Венгрии для новых вопросов и для иноязычных пунктов, в Исландии для исландского, в Ирландии для ирландского и английского, в Нидерландах для нидерландского и фризского, в Норвегии для норвежского (дополненного опубликованными источниками) и для лапландского (обследование для финского проводилось Финляндией), в Португалии для португальского, в Румынии для румынского и для иноязычных пунктов, в Испании для испанского и каталанского, в Швеции и Норвегии для финского (обследования проводились Финляндией) и для лапландского, в Швейцарии для немецкого швейцарского, в Турции для европейского турецкого, в бывшем СССР для большей части латышских материалов, лапландского, карельского, вепсского, финского, ливского, частично для водского, для большей части ижорских материалов, мордовских языков, марийского, удмуртского, коми-пермяцкого (вместе с предыдущими обследованиями), коми-зырянского, ненецкого, венгерского, молдавского, осетинского, татского, адыгейского, абазинского, чеченского и ингушского, дагестанских языков, чувашского, чарачаево-балкарского, ногайского, башкирского, татарского (также с использованием предыдущих обследований и архивов), караимского, кумыкского, калмыцкого; в Югославии — для албанского, венгерского, итальянского и румынского; на Кипре для греческого, на Фарерских островах для фарерского и, наконец, шесть цыганских пунктов.

Этот обзор полевых обследований, выполненных для ЛАЕ, свидетельствует о масштабе вклада разных европейских стран, в особенности бывшего СССР. В нем отмечается также объем оригинальных и неопубликованных работ, которые входят в карты ЛАЕ, в публикацию "сырых" материалов и в архивы ЛАЕ, которые будут доступны для будущих исследований.

Архивы были использованы для датского, эстонского, частично для водского, для финского и шведских диалектов Финляндии (для финского были также собраны новые материалы путем рассылки вопросников), для двух финских диалектов в Швеции, для шведского, лапландского, латышского, литовского, норвежского, саксонских диалектов, славянских языков и диалектов (архивы Общеславянского лингвистического атласа).

ЛАЕ в противоположность подавляющему большинству национальных и региональных атласов, которые являются атласами "сырых" материалов, — интерпретативный атлас. Кроме того, начиная с первого тома, различались две возможные типологии интерпретации материалов, традиционная (ономасиологическая) и новаторская (мотивационная)

Во всех системах символов легенд используется десятеричная система, и в ономасиологических картах максимум в три уровня первый для этимологии, второй для основных вариантов в пределах единой этимологии которые обычно являются морфологическими (дериваты, сложные слова и пр.), третья цифра для возможных нерегулярных фонетических вариантов (в виде исключения используемых также для морфологических вариантов низшего разряда и, во второй системе организации легенды, — для форм, принадлежащих разным языковым группам, независимо от их формального возможного сходства). Так, два символа, закодированных 1.1 и 2.1, будут представлять разные этимоны; два кода, например, 1.2. и 1.3, будут в стандартных случаях выражать внутреннее морфологическое различие в рамках группы родственных форм, и два кода, таких как 1.2.3 и 1.2.4, обычно будут представлять этимологически и морфологически связанные формы, дифференцированные на каком-то другом уровне.

В названии Atlas Linguarum Europae использована латынь Язык "обрамления" публикаций (фронтиспис, заглавия, легенды) — французский, а комментарии к картам написаны на основных международных языках· английском, французском, немецком.

ЛАЕ насчитывает сегодня (после слияния двух немецких национальных комитетов и с добавлением комитетов трех балтийских стран) 43 национальных комитета, по одному в каждой европейской стране, разделенных и не разделенных на большее количество единиц, представляющих различные языковые компоненты стран со сложной языковой структурой (Бельгия, Югославия, СНГ и др.). Целью этих национальных комитетов являются 1) организация сбора данных на национальной территории и 2) их первичная интерпретация в той форме, которая называется "национальный этимологический синтез". Национальный этимологический синтез представляет собой совокупность этимологических типов, представленных на данной территории по каждому пункту Вопросника.

Национальные комитеты, принадлежащие к одной и той же языковой группе, образуют департаменты, шесть из которых имеют автономную структуру: кельтский, германский, романский, балтийский, славянский и уральский. Другие языковые группы, которые не смогли организоваться в собственные автономные объединения, были распределены по двум особым департаментам, один из которых ("другие языки на Западе"). — в Западной Европе (для албанского, баскского, греческого, мальтийского, цыганского) и другой ("другие языки на Востоке Европы") — в Восточной Европе (для армянского, кавказских, иранских, одного монгольского и тюркских). Каждый департамент или языковая группа внутри него перерабатывает этимологические синтезы, составленные национальными комитетами, группируя их в более обширные департаментские синтезы. Переработка предполагает не только этимологии более глубокого уровня, но также и выдвижение проблем, толкования, библиографические справки, отсылки и, насколько возможно, информацию, которая может быть полезна для последующей работы.

Совокупность департаментских синтезов по вопросам передается автору карты. В задачу автора входит составление окончательного общеевропейского синтеза материалов, который состоит из трех частей: 1) инструкции для компьютерного картографирования, 2) легенды карты (или карт) и 3) комментария к карте. Инструкции для картографирования и легенды поступают в издательство, где делаются рабочие карты и пробные легенды. Рабочие карты посылаются авторам для контроля и возможных изменений. Когда автор считает, что он завершил работу над картой и легендой, последние вместе с комментарием распределяются для рецензирования между членами двух комитетов: индоевропейской комиссии, состоящей из ученых с мировым именем (председатель — В.Винтер, заместитель председателя — М. Майрхофер, члены — Т. Гамкрелидзе, Э. Хэмп, Й. Койвулехто, Ф. Кортландт, Э. Поломé), для оценки обработки материалов индоевропейских языков, а также комитета рецензентов, состоящего из президента ЛАЕ, председателей департаментов и по крайней мере одного специалиста по каждому европейскому языковому ареалу, избираемого обычно внутри структур ЛАЕ. Функцией членов комитета является проверка работы автора в рамках их собственной компетенции. Замечания обоих комитетов доводятся до сведения автора, который учитывает их в тексте комментария и в карте. Окончательный вариант работы передается в Руководящий совет ЛАЕ.

Редколлегия, являющаяся основным органом ЛАЕ, созывается один раз в год и включает по крайней мере одного представителя каждой европейской нации. В настоящее время она состоит из более чем сорока членов. Цель Редколлегии — следить за работой в ее основных контурах и принимать решения, необходимые для осуществления проекта. Редколлегия делегирует руководство проектом Руководящему совету, который состоит из президента ЛАЕ, председателей департаментов и руководителей двух секретариатов. Окончательные решения, касается ли это публикаций или организационных проблем, представляются Руководящим советом для утверждения в Редколлегию.

Исторически, ЛАЕ является результатом слияния трех независимых проектов, возникших в 60-е годы у трех ученых из разных стран: проф. А. Вейнена из Нидерландов, проф. Л.-Э. Шмитта из Германии и автора этих строк из Италии. После слияния трех проектов и присоединения к проекту Общеславянского лингвистического атласа первое официальное совещание ЛАЕ состоялось в Нидерландах в 1970 г. С тех пор ЛАЕ провел множество совещаний в разных европейских странах. Перечислим только заседания Редколлегии, пленарные заседания и заседания Руководящего совета в хронологическом порядке: Неймеген 1970, Кельн 1970, Неймеген 1971, Прага 1972, Неймеген 1972, Неймеген 1973, Бухарест 1974, Марбург 1975, Страсбург 1976, Варшава 1977, Марбург 1978, Москва 1979, Амстердам 1980, Бардонеккья 1981, Копенгаген 1982, Лейпциг 1983, Оссуа 1984, Белград 1985, Эдинбург 1986, Печ 1986, Москва 1987, Гренобль 1987, Балатон-Шабади 1988, Турку 1988, Сен-Венсен (Аоста) 1989, Шелльхорн 1989, Москва 1990, Брест 1990, Варшава 1991, Флоренция 1991, Упсала 1992, Гленкольмкилль 1992.

История ЛАЕ условно делится на два периода: первый — голландско-немецкий и второй, начавшийся в 1992 г. — итало-немецкий. Президентом ЛАЕ с 1970 по 1982 г. был А. Вейнен. Благодаря неутомимой деятельности А. Вейнена, настоящего "посла" ЛАЕ, проект был организован и запущен в ход.

Если география является одной из самых элементарных форм человеческого познания и зародилась как таковая с началом письменной истории, а возможно, и раньше, то лингвистическая география, хотя и отвечает столь же элементарной потребности знать, на каком языке говорят вокруг нас, появилась лишь в прошлом веке. Для объяснения этого огромного хронологического знания необходимо учитывать, что к чисто географическому и территориальному измерению лингвистическая география, родившаяся в XIX в., должна была

добавить специфически социальное измерение. Действительно, лингвистическая география не могла ориентироваться на социальные предрассудки, поскольку задавалась целью открыть и тщательно описать языковой пейзаж данной территории. Так, можно даже сказать, что лингвистическая география в конце концов поставила в привилегированное положение носителей речи из тех социальных групп, которые в прошлом веке (а фактически до недавнего времени) считались "низшими" именно потому, что интересовалась языковыми фактами прежде всего там, где менее всего присутствовал стандартный язык. Чтобы лучше оценить эту сторону дела, было бы, наверное, целесообразно вспомнить, что Варрон, известный своими трактатами по грамматике и сельскому хозяйству, разделил сельскохозяйственные орудия на два класса — "немых" (т.е. орудий и животных) и "говорящих", т.е. рабов. Нет необходимости объяснять, почему при подобном взгляде на вещи не могла зародиться лингвистическая география. Тогда не случайно, и даже, возможно, действительно символично, что основоположником лингвистической географии стал Люсьен Бонапарт, правнук французской революции, как это справедливо утверждалось на недавнем симпозиуме (Бильбао, 21—25 октября 1991 г), посвященном переоценке его роли как главного предшественника диалектологических исследований в международном масштабе.

К осуществлению ЛАЕ нас побудило не только и столько чувство племенной или национальной принадлежности, но ощущение универсальности человека, потребность вскрыть его более глубокую идентичность при сопоставлении со всеми общностями — будь они племенными, региональными или национальными, идентичность, которая не отвергает различий, а напротив, признает их, не отрицая наряду с ними черт глубокого сходства.

Выбор общеевропейской перспективы для вскрытия этой идентичности не был произвольным или оригинальным, что подтверждается соображениями иного, более технического, порядка. Если классифицировать все до сих пор изданные лингвистические атласы по их ареалам, начиная с Лингвистического атласа Франции Жильерона 1903 г., можно получить четыре типа атласов от самого мелкого до самого крупного: 1) региональные, 2) национальные, 3) атласы группы языков, 4) континентальные атласы. Еще не существуют атласы целой языковой семьи (индоевропейской, уральской, семитской и т.д.), ни, тем более, лингвистический атлас мира. Теперь, следуя путем лингвогеографии в ее историческом развитии, мы видим противоречивость этого движения: оно началось с национальных атласов, и только после этого появилась необходимость вернуться к масштабу региона для углубления знаний, полученных с помощью предшествовавших атласов. Не случайно, что за исключением Общеславянского лингвистического атласа, задуманного раньше ЛАЕ, Романский лингвистический атлас, Кельтский и Финский атласы являются ответвлениями ЛАЕ, родившимися в недрах нашего проекта.

Имеется еще один аспект классификации разных типов атласов, связанный с критериями определения границ различных ареалов. Границами национальных атласов являются политические границы, что подразумевает искусственное прекращение описания диалектов, которые, как это имеет место в большинстве случаев, продолжаются за их пределами. В атласах языковой группы, таких, как Общеславянский лингвистический атлас и Романский лингвистический атлас, которые родились именно из необходимости исследовать языки и диалекты независимо от политических границ и восстановить картину, разбитую на куски национальными атласами, границы являются языковыми, а не политическими. Не случайно Г. Рольфс [8] в карты, посвященные Романии, часто включал данные, относящиеся к соседним странам — Греции, Албании, Германии, славянскому ареалу и т.д. Какими должны быть границы в атласах большего масштаба, поколения ЛАЕ и Лингвистического атласа Средиземноморья? Разумеется, ни политическими, ни лингвистическими, так как не су-

ществует политических границ, совпадающих с языковыми семьями, а границы языковых семей распространяются на несколько континентов. Отсюда диалектическое решение относительно географических пределов Европы для ЛАЕ, Средиземноморской зоны для Лингвистического атласа Средиземноморья.

Лингвистические атласы могут быть также классифицированы на основе их методологической типологии т.е. их целей. С этой точки зрения различаются два больших класса атласов: 1) атласы "сырых" материалов (преобладающее большинство) и 2) интерпретирующие атласы.

Интерпретация данных не является во всяком случае автоматической. Часто она происходит на другом этапе, этапе сбора еще до интерпретации уже поступивших материалов. Многие диалектологи сегодня считают, что диалектология продолжает слишком много заниматься сбором новых материалов и своими методами и слишком мало интерпретацией уже собранных материалов. В науке всегда есть тенденция оттягивать момент интерпретации и сосредоточиваться на описательных и классифицирующих процедурах. Однако история лингвогеографии ясно показывает четкую интерпретирующую линию, которая проявляется одновременно как в первых национальных атласах, так и в монографиях, особенно в 30-е годы: плодотворное направление исследования, названное одним из его первых поборников Цаунером о н о м а с и о л о г и е й, т.е. сопоставительным исследованием разных принципов номинации при обозначении одного и того же референта в лингвистически гомогенном ареале. Следует напомнить, что уже в 1952 г. Куадри мог перечислить тысячи названий ономасиологических трудов только для романских и германских ареалов. На данном этапе следовало бы включить ЛАЕ в качестве лексического проекта в это направление ономасиологических исследований на правах важного развития последнего.

Здесь невозможно упомянуть все большие заслуги ономасиологии не только перед историей и лингвогеографией, но и прежде всего перед историей культуры. Возможно, существует еще лишь одно направление исследований, имеющее такие же большие заслуги в плане связи языка и культуры, — движение, родившееся в Германии и называемое Wörter und Sachen, отражавшее значение материальной культуры для лингвистических исследований и для истории самой культуры в целом.

Значение ономасиологии для истории культуры нелегко иллюстрировать примерами. По этому случаю я избрал в свое время пример с обозначениями дней недели. При сопоставлении названий дней недели в разных европейских языках действительно можно обнаружить, что в них окаменела целая глава европейской истории и, в частности, в ее идеологических и религиозных контрастах: языческим божествам латинского ареала [Луна в *lundi* (понедельник), Марс в *mardi* (вторник), Меркурий в *mercredi* (среда), Юпитер в *jeudi* (четверг), Венера в *vendredi* (пятница)] противопоставляются языческие божества германского ареала [*Tiw* в *Tuesday* (вторник), *Woden* в *Wednesday* (среда), *Thuner* в *Thursday* (четверг), *Frig* в *Friday* (пятница)]; субботе, понимаемой как день языческого бога Сатурна (*Saturday*), противопоставляется суббота христианская (*sabato, samedi*), воскресенью как дню, посвященному языческому Солнцу (*Sunday*), противопоставляется день, принадлежащий христианскому богу (*domenica, dimanche*).

В свете карт ЛАЕ я бы добавил теперь другой пример — названия радуги, которые показывают не только это двоякое противопоставление между языческими божествами разных европейских ареалов, с одной стороны, и между языческими и христианскими божествами, с другой. Карта "радуга" показывает также третий пласт, как мне кажется, более древний, чем языческий антропоморфный, возможно, тотемного происхождения, т.е. зооморфный, в котором радуга рассматривается как гигантское животное, пьющее воду из земли и моря, чтобы воспроизвести ее в форме дождя: мифическое представление,

которое поныне проявляется в европейских фольклорных верованиях и которое засвидетельствовано уже у Плавта [9].

Действительно, одно из чудес человеческого языка заключается в том, что наши слова могут использоваться в повседневной речи "функционально", т.е. без какого-либо иного значения, кроме коммуникационного, как разменная монета, будучи в то же время и антикварной бесценной монетой. Не желая обесценивать функциональное исследование языка как средства коммуникации, на котором концентрируется сегодня такая большая часть лингвистических штудий, надо сказать, что другая сторона медали, антикварная и историко-культурная, при строгом современном изучении не менее любопытна. Я надеюсь, что ЛАЕ послужит пробуждению интереса к этому типу разысканий среди молодых лингвистов.

Самое большое новшество, введенное ЛАЕ, это, по моему мнению, так называемые мотивационные карты, которые ЛАЕ теоретически эксплицитно ввел в обиход лингвогеографии. Вспомним, что этимологическая интерпретация лексических карт всегда мыслилась как "ономасиология". В ней исходным пунктом является форма, конечным — этимология, и на ней останавливаются при картографировании, обычно посредством символов, достигнутого этимологического уровня. Наряду с ономасиологией лингвогеография располагает также семасиологией, гораздо менее практикуемой формой картографирования, но не менее интересной, при которой исходят из формы, чтобы прийти к значению[1]. Третья картографическая операция с лексикой может исходить из третьего компонента слова, т.е. мотивации[2]. По причинам теоретического характера, в которые не хотелось бы вдаваться из-за недостатка времени, исследование мотиваций не дает больших результатов в рамках одной языковой группы. Возможно, именно поэтому мотивация не привлекала внимания лингвогеографов до появления ЛАЕ. Кроме того, с теоретической точки зрения, мотивацию обычно смешивают со значением слов и, таким образом, с семантикой, что также повредило признанию важности этот понятия[3]. Однако исследование мотивации становится чрезвычайно продуктивным, как только сопоставляются разные языковые группы, что именно и имеет место в ЛАЕ. Для иллюстрации обратимся к этому новому методу и двум первым примерам, которые открыли серию мотивационных карт ЛАЕ, т.е. примерам с названиями кузнечика (Аванесов, Иванов, Донадзе [16]) и с названиями радуги (Алинеи [17]). Нужно также упомянуть среди опытов того же типа работу по обозначениям ласки (Алинеи [18]) и божьей коровки (Баррос-Феррейра, Алинеи [19]).

Прежде всего следует помнить, что в рамках ЛАЕ идея картографирования скорее мотиваций, чем формальных этимологий, одновременно и независимо пришла к Аванесову в СССР и к автору этих строк в Нидерландах. Сама по себе эта идея не нова. Финский антрополог М. Кууси, например, уже в 1956 г. картографировал мотивации названий "грибного дождя" во всем мире, составив много чрезвычайно интересных карт [20]. Нетрудно найти и более отдаленные прецеденты. Заслугой ЛАЕ является систематизация соответствующей теории и введение практики мотивационной картографии. Однако первые две мотивационные карты ЛАЕ были различны. Аванесов—Иванов—Донадзе предпочли ограничиться классификационной и описательной группировкой, не давая объяснений и историко-культурного фона разных мотиваций. Впрочем, к этому их, разумеется, подтолкнула слабая мотивационная типология, которая обнару-

---

[1] Семасиология как отрасль лингвогеографии проявлялась очень мало: после блестящего представления Яберга [10] пришлось ждать работ автора статьи [11—13], которые, однако, мало вдохновили последующие исследования.

[2] Отсылаю к моим исследованиям по теории мотивации [14, 15].

[3] Даже то определение мотивационной картографии, которое я дал во Введении в ЛАЕ I, 1 [9], несколько грешит смешением значения и мотивации.

живается в названиях кузнечика в европейских диалектах, и недостаточная ясность связи между кузнечиком и наиболее прозрачными мотивациями его обозначений. Автор этих строк, напротив, столкнулся с гораздо более явным по своему "магически-религиозному" характеру явлением и с огромным числом мифологических мотиваций типа "божья дуга", "дуга Аллаха", "пояс ведьмы" и "зуб дракона". Кроме того, более интересный аспект, который делал историко-культурную интерпретацию почти обязательной, был двояким. Прежде всего, это явный контраст между "христианскими" и "мусульманскими" представлениями, т.е. навеянными историческими религиями, и "языческими" интерпретациями, навеянными доисторическими религиями. Во-вторых, это частота и явный характер зооморфных метафор радуги, которая в разных европейских ареалах может представать как дельфин, дракон, корова, хобот, червь и т.д. Таким образом, казалось очевидным, что эти зооморфные представления о радуге предшествовали упомянутым антропоморфным, что позволило рассматривать их тотемное происхождение в рамках современной научной теории развития религий от зооморфного и тотемного представления, характерного для обществ архаического типа, к антропоморфному социально стратифицированного общества. Из этой картины, и независимо от высказанной мной гипотезы в любом случае вырисовывается широкая панорама европейской мифологии, обнаруживающая три слоя: более поздний христианский и мусульманский, предшествовавший ему языческий антропоморфный и, вероятно, самый древний, зооморфный. По-видимому, все европейские народы, разумеется, по-разному и с неодинаковыми результатами, принимали участие в этом развитии.

Такой результат кажется особенно интересным, поскольку вне ЛАЕ он не смог бы проявиться. Новая методология действительно позволила проигнорировать формальные различия между языками, чтобы сконцентрироваться на сходствах или идентичности идеологических и культурных представлений, способствуя эксплицитации и исследованию мотивационного метаязыка, общего для всех языков мира. Таким образом, родились новый тип сопоставительного языкознания, основанного на специфическом мотивационном уровне, и метод, особенно продуктивный для междисциплинарных исследований в тесной связи с культурной антропологией, этнологией, историей религий, исследованиями доисторической эпохи, археологией. Кроме того, мне казалось, что эта теория и методология могли бы с успехом применяться к другим ареалам мира и даже ко всему миру.

Другой аспект, достойный упоминания, это значение, которое может иметь ЛАЕ для исследования происхождения языков Европы и для сдвига назад лингвистических датировок.

Прежде всего полезно напомнить, что к необходимости поиска собственной идентичности почти всегда присоединяется необходимость исследования собственных корней. Достигнув европейских рамок, нельзя не задавать себе фундаментальных вопросов: почему Европа такая, как она есть? В какую эпоху и при каких обстоятельствах сформировалось это необыкновенное смешение народов и языков, характеризующее наш континент? Это вопросы, на которые пытались ответить многие поколения ученых. Но в наше революционное время широко осуществляется новаторское исследование, которое затрагивает прежде всего археологию, лингвистику, генетику и антропологию, нередко в междисциплинарных проектах, и не прекращается появление новых теорий и новых гипотез.

В лингвистике появились такие новые теории происхождения европейских народов и индоевропейских языков, как теория английского археолога С. Ренфрю, генетика К. Сфорца и советских лингвистов Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Иванова. (Гамкрелидзе, один из авторов известной теории, входит в состав нашей редколлегии.) В уралистике гипотезы о формировании народов Северной Европы, занимающих важное место в этническом и языковом ландшафте нашего континента, выдвинули археологи. Эти новые теории, которых

придерживается большинство специалистов по уральским языкам, видят появление уральских народов в местах их нынешнего проживания уже в самой глубокой предыстории

На мой взгляд, ЛАЕ также участвует в этом движении, предлагая как новые точки зрения, так и новые методы работы. Упомяну о международном проекте, организованном генетиками, которые сейчас активно занимаются поисками европейских и мировых корней. Цель этого проекта в том, чтобы посредством компьютерных программ и данных ЛАЕ, а также программ, связанных с группами крови и ДНК для всей Европы, выявить некоторые неслучайные корреляции.

Касаясь проблемы датировок и особенно необходимости их сдвига назад, хотелось бы, исходя из моей романской специализации, привести два примера того, как ЛАЕ может служить этой цели.

Первый интересный пример — это пример мотивации радуги как пьющего существа [17, 21]. Представление о радуге как о пьющем существе, которое выкачивает воду из моря и земли, чтобы воспроизвести ее в форме дождя, известно во всей Европе. В славянских странах оно так укоренилось, что в различных славянских языках вместо выражения "пьет как губка" имеется полностью аналогичное "пьет как радуга". Теперь достоверно известно, что указанное осмысление радуги является древним. Это доказывают также некоторые свидетельства из латинской литературы, среди которых самое известное – свидетельство Плавта, в отрывке из "Curculio", где персонаж говорит: "bibit arcus", т.е. "радуга пьет". Но романист, у которого не было бы иной документации, кроме нескольких романских диалектных названий радуги как обозначений пьющего существа, и приведенной выше цитаты из Плавта, сможет сделать только одно — и в этом нельзя будет его упрекнуть, — увидеть в диалектных названиях радуги как пьющего существа наследие латинской культуры. Если, напротив, с появлением ЛАЕ диалектный горизонт расширяется до пределов Европы и констатируется, что во всей Европе представление о пьющей радуге чрезвычайно распространено, то мы будем видеть вещи в ином свете. Первым следствием огромной важности является то, что латынь уже не корень дерева, а лишь одна из его ветвей. Второе следствие, возможно, еще более важное: как учит нас сравнительная мифология, мотивация радуги, которая пьет, в действительности является лишь свернутой формой определенного метафорического осмысления мира, полная форма которого — это радуга как гигантское животное, которое на самом деле пьет и производит дождь. Итак, оказывается, что не только радуга как пьющее существо сводится к примитивному видению атмосферных явлений и природы, но и само зооморфное представление о радуге, о котором мы говорили выше, также может быть связано с этим мифом. Поэтому сама концепция Плавта, что парадоксально, в гораздо большей степени выглядит скорее как поздний рефлекс этой примитивной мифологии, профильтрованный рационализирующей культурой господствующих римских кругов, чем архетип, которым оно представляется нам в свете одних только романских данных. Обусловленное появлением ЛАЕ расширение лингвистического горизонта содержит, таким образом, сдвиг датировки назад и углубление интерпретации.

Второй, более сложный пример связан с названиями ласки по именам родства, весьма многочисленными в Южной Европе, включая романский ареал. Более того, в истории разработки романских обозначений ласки прошли чередой некоторые крупнейшие романисты, и тем более интересно реконструировать его основные этапы [Алинеи [18]). Остановлюсь вначале на испанском и окситанском названиях ласки — *comadreja* и *comairela* (это название встречается также в некоторых центральных и южных итальянских диалектах — в форме типа "кумушка", — но исследование было сосредоточено на франко-иберийском ареале). Уже Р. Менендес Пидаль отметил, что ареал *comadreja* и *comairela*

делится на две части другим испанским названием ласки, также очень интересным, — *panguesa* "хлеб и сыр". В своей безупречной ареальной интерпретации испанский романист показал, что ареал типа "кума" должен быть древнее ареала "хлеб и сыр", учитывая, что первый ареал внедряется во второй и его разделяет [22]. Итак, относительная хронология ясна. Проблемы начинаются, когда речь заходит об абсолютной датировке. Если тип "хлеб и сыр" более поздний, чем "кума", к какому времени восходит первый и к какому времени второй? Менендес Пидаль об этом не говорит. К счастью, нам помогает изучение типа "хлеб и сыр", история которого все разъясняет. Во-первых, такие известные лингвисты, как Г. Шухардт и Л. Шпитцер, интерпретировали "хлеб и сыр" как простую метафору, основанную на белом и коричневом цвете ласки. Менендес Пидаль также не отходит от этого объяснения. Решающий шаг вперед был сделан Г. Рольфсом, который открыл, что "хлеб и сыр" — это также название больших и маленьких животных, цвета которых сильно отличаются от цветов ласки. Г. Рольфс, кроме того, обнаруживает, что "хлеб и сыр" — это один из многочисленных даров, которые дети преподносят ласке и другим животным, чтобы добиться их приязни или попросить об услуге с помощью некоторых типичных рифмованных строк. Наконец, Бамбек выясняет, что непосредственно в ареале названия, в Галисии, епископ Браги Мартин в VI в. нашей эры порицал крестьян своего времени, упорно преподносивших дары, среди которых присутствовал также хлеб, животным и насекомым. Итак, адекватно интерпретированное в свете антропологической документации название ласки — "хлеб и сыр", и вот строгий termine ante quem — VI век н.э. и, действительно, его датировка в дохристианскую эпоху. Но если дела обстоят таким образом, к какой эпохе восходит тип "кума", который, как мы видели, согласно Менендесу Пидалю, должен быть еще более древним? Романистика не ставит подобных проблем, возможно, потому, что не любит сталкиваться со всем тем, что нарушает стереотипную картину развития романских языков и диалектов в средние века. Действительно, такой лексический тип, как "кума", еще и сегодня можно было бы рассматривать как "шутливый" и, следовательно, совсем недавний, в противоположность выводам, к которым уже пришел Менендес Пидаль. Напротив, становится очевидным, что дает и к каким выводам позволяет нам прийти эта общеевропейская карта. Во всей Южной Европе ласка носит названия родственников: в португальском она называется *norinha* (уменьшительное от "невестка"), в Галисии, Испании, Южной Франции и южно-центральной Италии, как мы видели, "кумушка", в албанском *nuse* и варианты, т.е. "новобрачная, самая молодая невестка", в греческом *nifitza* "новобрачная", в центральных итальянских диалектах *zitola* от *zita* "супруга, новобрачная; девушка на выданье", в болгарском, македонском, сербохорватском, украинском и отсюда в румынском *nevestica* и варианты, в болгарском также *bulka* "новобрачная", в турецком и гагаузском диалектные дериваты от *gelin* "новобрачная" и "невестка", в венгерском *menyét* и варианты "невестка". Кроме того, подобные типы встречаются не только в Дании и Германии, но даже и в Северной Африке — в арабском и берберском ареалах. Действительно, речь идет о непрерывной мотивационной изоглоссе: от Атлантики до Средиземного и Черного морей, которая включает также южный берег Средиземного моря, часть центральной и северо-центральной Европы и часть Малой Азии. Что значит для нашей проблемы абсолютной датировки ареал распространения такого масштаба? Разумеется, речь не может идти о недавнем распространении, учитывая, что этот ареал включает полностью независимые языковые семьи, т.е. индоевропейскую, тюркскую, уральскую, семито-хамитскую. Разумеется, древняя датировка, уже предложенная Менендесом Пидалем для типа "кума", должна распространяться на все другие родственные типы. Действительно, если в классической мифологии мы встречаем различные антропоморфные мифы о ласке, распространенные более всего в греческом мире, в народной мифологии о ласке

находим многочисленные свидетельства ее европейского распространения и ее архаического характера[4]. Однако для проблемы датировки решающими оказываются факты венгерского языка. Венгерское название ласки — *menyét*, как мы видели, исходно обозначает "невестку". Но старое венгерское название ласки было *hölgy, helgy*, которое в современном венгерском стало обозначать "самую молодую невестку, замужнюю женщину". Это исконное *holgy* входит, однако, в группу венгерских антропонимов, в основном тюркского происхождения, которые тюркскими антропологами единодушно считаются очень древними, действительно тотемного происхождения [24, 25] речь идет о таких именах, как например, *Kartla* "орел", *Torontál* "сокол", *Kaplan* "тигр", *Kurd* "волк", *Arszlan* "лев", *Farkas* "волк", *Karoldu* "черная ласка", *Saroldu* "белая ласка", *Nyesta* или *Nyeste* "куница-белодушка", *Holgy-asszony* "самка горностая" и мн. др. Почему реальна тотемная интерпретация этих антропонимов? По двум причинам: прежде всего потому, что к такой интерпретации неизбежно подводит самая старая венгерская хроника, хроника так называемого Анонима, которая касается происхождения семьи Арпада, легендарного венгерского героя — основоположника государства, который привел венгерские племена в бассейн Дуная и Тиссы [24]. Хроника рассказывает, как *turul*, мифический орел древних венгров, овладел бабушкой Арпада Эмеше (от тур. *eme* "мать, самка животного") в то время, как она спала. Плодом этого союза был Алмош, отец Арпада. Кроме того, ввиду тюркского происхождения многих из этих венгерских антропонимов, венгерским ученым приходится относить их к периоду контактов венгерского этноса с алтайскими народами. Итак, в данном большом ареале названий ласки по типу родства у нас есть две устойчивые опоры для абсолютной датировки — романский и венгерский тип Эту датировку как род перекрестной датировки можно распространить на весь ареал

Таким образом, и в этом случае благодаря данным ЛАЕ можно представить себе гораздо более древние, чем традиционно принятые, хронологические рамки явления, к тому же — для всей совокупности европейских языков.

С другой стороны, когда были опубликованы и изучены первые тома карт ЛАЕ, то, что на первый взгляд могло показаться произвольной мозаикой говоров без взаимосвязей, при последующем анализе предстает перед нами как связное целое. Это не только результат применения к данным ЛАЕ классической теории языкового родства, ностратической теории и современных теорий языковых союзов или типологии и языковых универсалий. Это, скорее, результат структурной эпистемологии, кратко изложенной в знаменитой максиме Ф. де Соссюра: "dans une structure tout se tient", т.е в структуре каждый элемент определяет другие элементы Если что-то касается одного из элементов, касается и всего целого. В нашем случае каждый из европейских языков отличался бы от того языка, которым он является, если бы та или другая из языковых групп, существующих в Европе, здесь отсутствовала бы или была расположена в ином месте. Возможно, это самый строгий способ оценки роли ЛАЕ в его наиболее глубоком лингвогеографическом значении.

Наконец, следовало бы упомянуть о последней важной особенности ЛАЕ — как плоде международного сотрудничества Родившись еще в 60-е годы, когда Европа была жестко разделена на два противостоящих блока, ЛАЕ всегда являлся моделью общеевропейского сотрудничества. Не думаю, чтобы в области гуманитарных наук существовали или существуют другие проекты, которые могут похвалиться таким впечатляющим результатом. В связи с этим полезно отметить, что из опыта сотрудничества и дружбы, развившихся в атмосфере ЛАЕ, родилось также желание дать жизнь международной ассоциации

[4] Народная мифология ласки глубоко изучалась прежде всего для финского ареала антропологом М. Хако [23] В финской мифологии ласка несет космогонические и прародительские функции, типичные для тотемной мифологии

диалектологии и лингвогеографии (SIDG с местопребыванием в настоящее время во Флоренции), в которую входят теперь сотни членов со всего мира

С 1992 г в университете г Бамберга (Германия) располагается Центральный секретариат проекта под руководством проф В Фирека, вице президента ЛАЕ, при этом во Флоренции остается редакционно-издательский секретариат, возглавляемый Д Джакомелли

Контракт с римским издательством Полиграфико" предусматривает публикацию остальных восьми томов после четвертого (последнего, вышедшего в Нидерландах) а также публикацию нового вступительного тома и инвентаря символов в качестве внутренней публикации Пятый том находится в настоящее время в продвинутой стадии подготовки ко многим комментариям сделаны первые рабочие карты Скорее всего он будет состоять из следующих карт и комментариев М Алинеи Рождество" (1 мотивационная карта), М Барросо-Феррейра "светлячок" (3 мотивационных карты), М Контини "бабочка" (4 мотивационных карты), Н Контоссопулос "гречиха" (1 ономасиологическая карта), Н Донадзе А Васильева 'черника" (1 мотивационно ономасиологическая карта), А Дыбо 'орешник" (1 ономасиологическая карта), Э Франкони "кукуруза" (1 ономасиологическая карта), Б Кальман "собака" (1 ономасиологическая карта), Н Сараманду 'подсолнух" (1 мотивационная карта)

Новый вводный том ЛАЕ будет состоять из 1) общего введения в проект в его современном виде 2) описания 24 языковых групп Европы, которые будут составлены пятью председателями основных департаментов ЛАЕ (кельтского, германского, романского, славянского, уральского) и ответственными за языковые группы не соответствующие департаментам (албанская, армянская, балтийская, баскская кавказская, греческая, иранская, мальтийская, монгольская, тюркская цыганская) 3) иллюстрации перспектив, которые открывает Второй вопросник

Оригинальные и неопубликованные материалы ЛАЕ будут изданы в форме микрофиш специализированным голландским издательством, с которым уже подписан контракт Публикация предусматривает вначале группировку материалов по языковым группам и по европейским странам, затем, к окончанию проекта, по вопросам Вопросника Публикация оригинальных материалов, хотя и неполноценная из за их разнородности (в основном вызванной неадекватной постановкой поблемы в подготовительный период ЛАЕ), будет иметь большое значение, так как позволит научному миру получить доступ ко всем материалам и таким образом дать возможность верификации уже опубликованных интерпретаций неизданных

Второй вопросник предуматривает проведение по всей Европе новых обследований фонетического фонологического, морфологического, синтаксического, семантического и лексического характера В то время как первый вопросник — исключительно лексический зависел от сопоставления уже существующих вопросников, второй является полностью инновационным Обследования на основе нового вопросника уже проводились на большой части территории бывшего СССР Результаты были представлены на нескольких семинарах и ждут своей публикации

Ясно что новые обследования по всей Европе в настоящий момент трудно планировать но как только политическая ситуация позволит сокращение количества вопросов и пунктов сетки и использование уже существующих материалов смогут сделать это предприятие осуществимым

Таким образом ЛАЕ одновременно представляет собой как первое воплощение в жизнь, хотя и с ограниченным вопросником до сих пор не существовавших региональных или национальных атласов (Албания, Греция, Кавказ, тюркские и уральские ареалы бывшего СССР и т д), так и реализацию первого этапа не существовавших до сегодняшнего дня, за исключением Общеславянского лингвистического атласа, атласов языковых групп Перед нами

новый метод интерпретативной картографии мотивационного типа, имеющий особое значение для сравнительного исследования истории культуры ЛАЕ предоставляет еще один инструмент разработки проблемы происхождения европейских языков, а также источник вдохновения для подобных проектов, будь они атласами континентов, языковых семей, языковых групп Наконец, наш проект являет собой зрелую форму международного сотрудничества

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Atlas Linguarum Europae Introduction Assen 1975
2 Atlas Linguarum Europae Premier Questionnaire Assen 1976
3 Atlas Linguarum Europae Second Questionnaire Assen 1976
4 Atlas Linguarum Europae I 1 Cartes et Commentaires Assen 1983
5 Atlas Linguarum Europae I 2 Cartes et Commentaires Assen Maastricht 1986
6 Atlas Linguarum Europae I 3 Cartes et Commentaires Assen Maastricht 1988
7 Atlas Linguarum Europae I 4 Cartes et Commentaires Assen Maastricht 1990
8 *Rohlfs G* Romanische Sprachgeographie Geschichte und Grundlagen Aspekte und Probleme mit dem Versuch eines Sprachatlas der romanischen Sprachen Munchen 1971
9 *Alinei M* Introduction // Atlas Linguarum Europae I 1 Assen 1983 P XV—XXXIX
10 *Jaberg K* Aspects geographiques du langage P 1936
11 *Alinei M* Evaluation of semantic isoglosses with regard to Romance dialects // Verhandlungen des zweiten internationalen Dialektologenkongresses Marburg 1965
12 *Alinei M* La norma della densita semantica" nella geografia linguistica // Actele celui de al XII lea congres international de lingvistica şi filologie romanica Bucarest 1968 Bucarest 1971 P 263—265
13 *Alinei M* Semantic density in linguistic geography a study of some Romance words related to the wheel // *Weijnen A Alinei M* The wheel in the Atlas Linguarum Europae Heteronyms and semantic density Amsterdam, 1974 P 16—28
14 *Alinei M* The structure of meaning // A semiotic landscape Proc of the First congress of the Intern association for semiotic studies Milano, 1974 B 1979 P 499—503
15 *Alinei M* The structure of meaning revisited // Quaderni di semantica 1980 № 1 P 289—305
16 *Avanesov R Donadze N Ivanov V* Sauterelle // Atlas Linguarum Europae I 1 Assen 1983 P 147—170 Cartes 18 19
17 *Alinei M* Arc-en ciel // Atlas Linguarum Europae I 1 Assen 1983 P 47—48 Cartes 6—9
18 *Alinei M* Belette // Atlas Linguarum Europae I 2 Assen, Maastricht 1986 P 145—224 Carte 28
19 *Barros Ferreira M Alinei M* Coccinelle // Atlas Linguarum Europae I 4 Assen, Maastricht 1990 P 99—196 Cartes 42—44
20 *Kuusi M* Regen bei Sonnenschein Zur Weltgeschichte einer Redensart Helsinki, 1957
21 *Alinei M* I nomi dell arcobaleno in Europa una reicerca nel quadro dell'ALE//Diacronia, sincronia e cultura Saggi linguistici in onore di Luigi Heilmann Brescia 1984 P 365—384
22 *Menendez Pidal R* Orígenes del Español Estado linguistico de la peninsula iberica hasta el siglo XI Madrid, 1964
23 *Hako M* Das Wiesel in der europäischen Volksuberlieferung mit besonderer Berucksichtigung der finnischen Tradition Helsinki 1956
24 *Kalmán B* The world of names A study in Hungarian onomatology Bp , 1978
25 *Gombocz Z* Scritti vari di linguistica generale e ungherese Bologna 1973

Перевела с итальянского и английского *Донадзе Н З*

РЕЦЕНЗИИ

Баранов А.Н., Караулов Ю.Н. **Русская политическая метафора (материалы к словарю).** М.: Ин-т русского языка РАН, 1991. 193 с.

Современная лингвистика уделяет исключительно большое внимание проблеме метафоры. Метафора рассматривается не как некое образное речевое средство, которое находится на стилистической периферии языка и лишь в случае утраты своей метафоричности проникает в его структуру, формируя переносное значение слова, но как неизбежное явление человеческого мышления и человеческого языка, несущее важнейшую функцию в познании и описании мира. В основе метафоры лежит сравнение, сопоставление. И даже если сравнение и обобщение являются, как это сказал французский писатель А. Монтерлан, "двумя слабостями человеческого ума" [1], то это слабости неустранимые, превращающиеся нередко в силу. А.Н. Баранов и Ю.Н. Караулов вносят в изучение метафоры совершенно новый аспект. Во всех трудах, посвященных этому явлению, сколь бы они ни были глубоки, авторы оперируют отдельными примерами или группами примеров. Рецензируемая книга впервые дает огромный срез использования метафоры (6000 контекстов) в определенном языке, в конкретных пространственных и временных рамках. Временные рамки ограничены этапом перестройки, соотносящимся с Первым съездом народных депутатов (1989—1991 гг.), пространственные — материалами этого съезда и политическими дискуссиями, связанными с его проблематикой. Собранные авторами материалы представляют исключительный интерес как для лингвистического исследования метафоры, так и для изучения менталитета соответствующих ораторов и журналистов, а через них и всего общества в данный период времени.

В "Материалах" язык схвачен в его непосредственной жизни, это как бы съемка языка скрытой камерой. Обнаруживаются не только пути формирования метафор, но и преследуемые их употреблением цели. Порой в работах по метафоре говорится, что метафора "не орудийна". "Материалы" не подтверждают такого вывода: наглядно видно, что она зачастую используется как орудие борьбы с политическим и идейным противником. Положительной чертой книги является "всеядность" авторов: они ничего не отвергают, наряду с простыми метафорами даются и развернутые, охватывающие нередко целый абзац. Рядом с удачными продуманными метафорами читатель может найти и образчики столь характерных для "стилистически неискушенных" ораторов метафорических контаминаций, когда незаметно для самого говорящего один образ сменяется другим. Еще Флобер высмеял подобных ораторов, вложив в уста советника, открывавшего провинциальную земледельческую выставку, ставшую провербиальной фразу: "[Наш государь] твердой и вместе с тем мудрой рукой ведет государственную колесницу среди неисчислимых опасностей, коему грозит бушующее море" [2]. (Любопытно, что один из переводчиков романа, не поняв иронии писателя, заменил *колесницу* на *ладью*, см. [3].) Так и у наших некоторых ораторов можно найти примеры забвения внутренней формы метафоризируемых слов: *полнокровный механизм рынка, полнокровные граждане страны, скорострельные решения.* Приводятся в книге и умышленные контаминации, например, *старшина шестой статьи* (о Горбачеве) из *старшина первой (второй) статьи* (во флоте) и *шестая статья* (в Конституции): *стоять насмерть в очереди* из *стоять насмерть* и *стоять в очереди*

Всякая метафора представляет собой отношение между двумя наименованиями (дескрипторами). Авторы называют их сигнификативным дескриптором (он показывает, какое слово-понятие было использовано для метафорического обозначения) и денотативным дескриптором, который определяет, какая реалия получила данное метафорическое обозначение. Поэтому полный анализ корпуса метафорических номинаций требует двоякого исследования: с одной стороны, того, какие слова исполь-

зуются в метафорах для обозначения каких объектов, и, с другой, какие понятия получают метафорические обозначения и каковы они.

Поэтому словарь закономерно разделен на две части. В первой из них "Метафорические модели политической реальности" — приводятся объединенные по семантическим группам слова-метафоры, причем против каждого метафорического употребления указывается, с какой реальностью оно соотносится. Например, метафора *война* прилагается к понятиям: "политическая деятельность, законодательская деятельность, финансовая деятельность, торговля". Метафора *механизм* использована при обозначении экономики и хозяйства, рынка, финансов и биржи, государства и аппарата управления, демократии и гласности, армии, Советов, общества, перестройки, репрессий...

Если первый раздел словаря построен по семасиологическому принципу (от означающего к означаемому), то второй — в ономасиологическом плане (от означаемого к означающему). В этой части, которая называется "Мир политики в зеркале метафор", представлены элементы политической жизни, получающие метафорические обозначения. Основные разделы этой части: "Демократия", "Законодательство', "КГБ", "КПСС", "Политические лидеры", "Россия", "СССР", "Финансы", "Экономика". Материалы этих разделов имеют огромный интерес, поскольку в используемых метафорах отражается отношения между объектами и отношение говорящих к данному объекту. При этом необходимо учитывать, что многие метафорические обозначения в условиях политической борьбы представляют собой иронию, антифразу, а также носят цитатный характер. Так, например, в отношении Сталина зафиксированы такие метафорические номинации: *антихрист, бес, бог, Вельзевул, отец, старший брат, Ленин сегодня, архитектор, Великий Магистр, гвоздь (на котором все держится), горный орел, знамя, император, капитан, колода (которую надо убрать), конвоир, Главный Волкодав* и др.

В свое время немецкий лингвист Г. Шпербер установил семантический закон, согласно которому предмет, вызывающий в данном коллективе особый интерес, становится центром "метафорной экспансии", т.е. источником аналогий при описании других предметов. И хотя С. Ульман взял этот закон в его категорической формулировке под сомнение, он сказал, что эта теория интересна и заслуживает тщательной проверки [4]. Материалы рецензируемой книги подтверждают гипотезу Шпербера. Представленные в книге сферы, откуда черпаются метафорические наименования, можно разделить на несколько категорий. Прежде всего это общие явления жизни человека, его ближайшего окружения, которые образуют постоянный и универсальный источник метафор: человеческий организм, родственные отношения, растения, механизмы. Этот источник не является специфическим для метафорического обозначения политических реальностей. Но два других формируют специфические метафорические модели политической жизни. Прежде всего это модели, связанные с антагонистическими явлениями, поскольку политика в значительной мере — борьба за власть или влияние. К ним относятся семантические группировки "Война", "Игра" и "Спорт". Второй источник — "Театр". С первого взгляда это может показаться неожиданным: какое отношение имеет политика к театру? Но зарубежные социологи отмечают аналогии в этих двух сферах человеческого поведения. Французский автор Р.-Ж. Шварценберг в книге "Государство — спектакль" [5] показывает, что современная политическая жизнь включает три элемента: актеров, публику и само зрелище. Ж. Маторе в своей книге "Человеческое пространство" [6] отмечают, что в современном французском политическом языке большое распространение приобрели метафоры пространственного характера (*среда, поворотный круг, перекресток, уровень* и т.п.), обозначающие место встречи, обсуждения и т.д. Авторы рецензируемой книги подчеркивают, что в нынешнем языке российских политиков и журналистов огромное место занимают антагонистические источники метафор, прежде всего военного характера. Они видят в этом наследие и продолжение военного менталитета, который был свойственен советскому обществу.

Помимо основных двух частей словаря книга содержит другой очень интересный материал. Это введение "Как устроен словарь", которое выходит за рамки формального руководства к пользованию словарем и содержит ряд интересных соображений, касающихся политической метафоры. Эти соображения углубляются во вводной статье "Политическая метафора как объект лингвистического исследования", где показывается общая роль метафор в политической жизни общества, отмечаются важнейшие семантические миры метафор `перестройки ("строительство",

"средство передвижения", "путь" и др.). В целом, на основании анализа метафор авторы заключает, что в сознании (или подсознании) людей перестройка предстает как некий недифференцированный неподъемный объект, который надо постоянно толкать и двигать вперед, как стихийная сила, внеположенная человеку и социуму. Особенно подробно они останавливаются на концептуальном милитаризме, высвечивающемся из метафор.

В конце книги приложен очень полезный справочный материал. Во-первых, это список авторов примеров (надо сказать, что примеры даются в виде цитат-высказываний). Далее, поскольку эта публикация рассматривается лишь как материалы к словарю "Русская политическая метафора", а не словарь в целом, в приложении приводится полный список словарных статей готовящегося издания. Он имеет существенное значение. Так, при чтении книги постоянно встречаются в примерах метафоры, связанные с понятием "Дом" [*фундамент, здание, несущие конструкции* (с. 91), *дом* (с. 131), *коммунальная квартира* (с. 132), *комната* (с. 133), *угол* (с. 144), *забор* (с. 132) и др.]. Возникает вопрос, почему эти метафоры не выделены в особую модель, тем более, что строительство и жилище представляют собой частые источники метафор в различных языках. Из приложения мы узнаем, что подобная модель предусмотрена в полном варианте словаря. И наконец, в приложении дан общий алфавитный список таксонов словаря, который, соответственно корпусу словаря, делится на две части: сигнификативные и денотативные таксоны. Поскольку в корпусе словаря и те и другие группируются по смыслу, то алфавитный список их совершенно необходим для удобства пользования словарем.

Книга завершается содержательной статьей А.Н. Баранова "Очерк когнитивной теории метафоры", которая более углубленно и широко раскрывает основную идею метафоры, изложенную во вводной статье. Особый интерес представляет заключительная часть этой статьи, трактующая о прагматическом аспекте использования метафор.

Поскольку рецензируемая книга представляет собой "Материалы" к словарю, а не полностью завершенную книгу, мы считаем возможным высказать некоторые замечания и рекомендации, касающиеся отбора, распределения и интерпретации примеров.

Общеизвестно, что метафора стирается, умирает. Об этом образно сказал еще Лоренс Стерн: "Наивысшее расширение смысла, допускаемое отдельным словом, есть смелая метафора, — но, по-моему, понятие, которое с нею связано, при этом обыкновенно теряет больше, чем выигрывает; — однако, так или иначе, — если ум наш эту операцию проделал, дело кончено: ум и понятие пребывают в покое, — пока не появится новое понятие и так далее" [7, с. 343]. Стершиеся, "умершие" метафоры не побуждают ум человека трудиться, они употребляются формально, как готовые элементы речи, подчас экспрессивно окрашенные, но никак не отражающие менталитет говорящих. Поэтому вряд ли правильно их включать в общий корпус с живыми речевыми метафорами, сохраняющими полноту своей внутренней формы. По крайней мере, их следовало бы отметить особо. Между тем в "Материалах" можно обнаружить немало таких устойчивых выражений. Вряд ли *рубить сплеча* (с. 23), *принять в штыки* (с. 24) отражают "концептуальный милитаризм" говорящих: это просто расхожие выражения, имеющие в системе языка свое вполне "мирное" значение: "действовать необдуманно", "встретить враждебно". *Обойма* (с. 36) в переносном значении указывает на набор, ряд кого-чего-л.: *обойма аргументов; выпад* (с. 80); *скрестить шпаги* (с. 27) в переносном значении уже вышли из сферы спорта. Сюда же можно отнести слова *команда* (не обязательно спортивный термин: согласно словарной дефиниции это "группа лиц, выполняющая определенное задание", хотя в некоторых контекстах, когда речь идет об игре или о капитане, метафора несомненно относится к спорту), *армия чиновников* (в современном языке *армия* в этом значении утрачивает непосредственную связь с военной сферой, обозначая большое количество людей, объединенных каким-либо общим делом), *маневр* (тоже не обязательно военный термин: согласно словарям, обозначает ловкий прием).

Может быть, стоило как-то выделить особо метафоры-цитаты, столь многочисленные в современной публицистике. Например: *горный орел* (из Сталина), *Ленин сегодня* (из Барбюса), *близнецы-братья* (из Маяковского) и т.п.

Очень непросто отнести данную метафору к той или иной сфере деятельности. Нередко метафоры представляют собой словосочетания, и по каждому из компонентов их можно отнести в разные тематические группы. Например, *играть роль*

атлантов и кариатид (с. 84) обоснованно включается в раздел "Театр", поскольку *играть роль* здесь не стершееся выражение со значением "выполнять функцию", но именно обозначение театрального действия, что подтверждается контекстом. Но вместе с тем *кариатиды* и *атланты* в этом контексте несут самостоятельную метафорическую функцию, уподобляя "игроков" бессловесной опоре покачнувшегося режима, поэтому данный пример следует учесть и в разделе "Строение". В других случаях вне более широкого контекста или ситуации можно колебаться относительно тематической принадлежности метафоры. На с. 25 говорится о *колбасной "интервенции"*, причем метафора помещается в разряд "военных". Между тем слово *интервенция* в современном языке имеет и другой, вполне мирный смысл: участие банков в валютных и иных операциях (например, в русской экономической лексике: *государственная интервенция на валютном рынке, согласованные интервенции банков* и т.п.). Приводимый контекст позволяет предположить, что речь идет о метафоризации именно этого финансового значения слова «Наши кредиторы вполне разумно опасаются, что валютная помощь может быть самым банальным образом проедена. И если мы можем рассчитывать на *колбасную "интервенцию"*...». По-видимому, что здесь *колбасная "интервенция"* сопоставляется с валютной интервенцией, а не с военной.

В отдельных случаях можно отметить лакуны: представленные в примерах метафоры не учтены в соответствующих семантических разделах. Например, *Горбачев использовал тайм-аут...* (с. 54) можно было бы включить в раздел "Спорт". Многие рассыпанные по цитатам метафорические употребления слов, относящиеся к человеческому организму и болезням, не учтены в соответствующем разделе: *бельмо КПСС* (с. 99), *климакс* (с. 105), *забеременеть демократией* (с. 123), *отслоение партийной кожи* (с. 99); по аналогии с отслоением сетчатки; *обескровленный советский рубль* (с. 149) и др.

Но самый важный и интересный вопрос, связанный с анализом такого рода словаря, касается самой структуры метафоры. В предисловии метафора интерпретируется как феномен, образуемый в результате взаимодействия двух смысловых комплексов, которые авторы называют сигнификативным и денотативным дескрипторами. Соответственно и организуется и интерпретируется материал словаря. Но сам материал показывает, что метафора несводима к такому двучленному отношению. Метафоризация есть способ наименования. Однако всякая речевая номинация (а живая метафора таковой и является) основывается на выделении у объекта признака на базе которого осуществляется его наименование и который создает его внутреннюю форму. Поэтому наряду с двумя конечными элементами метафоризации (двумя дескрипторами) полный анализ метафоры предполагает выделение третьего "внутреннего" компонента: внутренней формы метафорического наименования. Некоторые лингвисты выделяют и четвертый компонент: признак предмета, название которого используется в качестве метафоры. Совпадение выделяемых признаков у двух объектов и позволяет использовать название одного из них для наименования другого. Подобное понимание метафоры представлено по сути дела у Блэка и других авторов, отражено оно в известной степени и в заключительной статье рецензируемой книги о когнитивной теории метафоры, хотя и не реализовано в самом словаре. При метафоризации слово употребляется для обозначения нового объекта лишь по одному из его признаков, сужая таким образом свой семантический объем. Быть может, именно это явление имел в виду проницательный Стерн, когда говорил, что понятие, связанное с метафорой, обычно больше теряет, чем выигрывает (см. [7]).

Учитывая природу метафоры, составители словаря значительно обогатили и упорядочили бы свой труд, если бы наряду с двумя элементами — денотатом и сигнификатом — ввели еще и указание на внутреннюю форму наименования, на признак, положенный в основу метафорической номинации. Разумеется, это сделать не просто. Метафора, как совершенно правильно указывается в завершающей статье, усиливает недискретность обозначения, так что она в ряде случаев плохо поддается дискретной интерпретации. С другой стороны, очень часто мы имеем дело с метафорически используемым словосочетанием, которое актуализирует ряд признаков метафорически обозначаемого объекта. Но несмотря на подобные объективные трудности, стоило бы предпринять попытку в этом направлении: это один из видов "слотирования" затрагиваемых фреймов. Это значительно повысило бы объяснительную силу собранного материала. Например, на с. 45 отмечается, что игра в домино привлечена для метафорического обозначения неконституционных действий. Но связь между этими поня-

тиями остается неясной. Между тем эта метафора восходит, по-видимому, к выражению *эффект домино*, обозначающему автоматическое падение одного элемента вслед за другим, как это имеет место с поставленными на ребро костяшками домино. Метафора *неконституционное домино* имеет в данном случае значение "следование одного неконституционного акта за другим". Можно было бы отметить в словаре внутреннюю форму (признак, по которому дается наименование) особым знаком, например: *игра в домино* — (падение одной косточки домино за другой) — (следование одного нежелательного явления за другим) — антиконституционные действия. При таком подходе можно было бы четче показать асимметрию метафор, при которой слова одного семантического поля используются для метафорического обозначения разных денотатов, а одни и те же денотаты могут получать метафорические обозначения с использованием слов разных семантических полей. Например, наименования разных игр часто используются с политических метафорах, но *рулетка* обозначает "случайность", *карты* и *наперсток* "обман и жульничество", *кроссворд* — "замысловатость". В статье "Игра в карты" (с. 45) указывается, что эта игра используется для обозначения политической деятельности, торговли, финансовой деятельности. Но не менее важно для семантического анализа этой группы метафор было бы отметить, что операции этой игры используются для метафорического обозначения риска (*ставить на карту*), жульничества (*передергивать, подтасовывать карты*), спекуляции на чем-л. (*разыгрывать карту*), начало процесса (*карты сданы, первый кон сыгран*). Все эти выражения приводятся в статье, хотя и без такого уточнения. При подобном подходе обнажились бы и случаи многозначности метафорических обозначений. Так, на с 70 приводится сочетание *крестный отец*, метафорически указывающее на генсека партии. Но это сочетание имеет в русском языке ряд переносных значений: "духовный наставник", "лицо, давшее имя или назначившее на должность", и, наконец, под влиянием современного фильма, — "глава организации, мафии: пахан". Введение в словарь указаний на внутреннюю форму метафорического обозначения показало бы, в каком из этих значений следует понимать данное словосочетание.

Мы говорили о проблеме "промежуточного звена" в семасиологическом аспекте, но ее следует принимать во внимание и в ономасиологическом плане, рассматривая мир политики в зеркале метафор. Мы здесь также обнаруживаем многоаспектность понятия и синонимию обозначений. Например, *демократия* представлена множеством сигнификативных дескрипторов. Но они характеризуют ее с разных сторон, как мечту (*звезда пленительного счастья*), труднодостижимую цель (*берег, до которого надо доплыть*), нечто показное (*маска демократии*), неопределенность (*открытый океан демократии*) и т.п. Равным образом, и *правительство* метафорически квалифицируется как главный руководящий орган, но и как объект нападок, как паразит, живущий за счет народа, и т.п. Подобная дешифровка метафор, как бы порой она ни казалась трудной и искусственной, может лишь еще больше подчеркнуть техническую и идеологическую сторону метафоризации. Она покажет и синонимию метафор, подчас весьма неожиданную. Например, перестройка сравнивается с растением и с самолетом (с. 105, 106). Что общего может быть у этих понятий? И тем не менее приводимые метафоры синонимичны, поскольку обе они указывают на неопределенность результатов перестроечного процесса: неизвестно, где приземлится летящий самолет, неизвестно, какие плоды будут от данного дерева.

В заключительной статье к книге правильно отмечается, что благодаря метафоре неизвестное становится известным, а известное — совершенно новым (с. 185). Быть может, именно в силу этого исследование метафор представляет такой интерес для лингвистов. Рецензируемая книга дает огромный материал для лингвистического и социологического осмысления политических метафор современного русского языка. Она явится источником многих научных исследований и несомненно будет вкладом в теоретическое и практическое изучение метафоры, одного из фундаментальных явлений языка и мышления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Montherlant.* Essais. P, 1963. P. 1141.
2. *Флобер Г.* Госпожа Бовари. М., 1971. С. 139—140.
3. *Флобер Г.* Госпожа Бовари. М., 1956. С. 145.
4. *Ульман С.* Семантические универсалии // Новое в лингвистике. Вып. V. М., 1970. С. 276 -277.
5. *Schwarzenberg R.-G.* L'État spectacle. P., 1977.
6. *Matoré G.* L'Espace humain. P., 1962.
7. *Стерн Л.* Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена. М., 1968.

Гак В.Г.

Genesis of language / Ed. by Koch W. Bochum: Universitätsverlag, 1990. 444 p.

Рецензируемая книга представляет собой публикацию материалов конференции по проблемам происхождения языка, состоявшейся в г. Бохуме в 1986 г. Не будет преувеличением сказать, что на протяжении последних 15 лет наблюдается неуклонный рост интереса к проблеме глоттогенеза, свидетельством чего является не только поток публикаций, в том числе монографического характера, но и проведение представительных конференций с последующей публикацией материалов. Эти публикации — как бы синхронный срез положения дел в данной области и впоследствии, надо полагать, будут представлять немалый интерес для историков науки. Рассматриваемая книга продолжает эту традицию. Существенно отметить, что начиная с публикации по итогам конференции 1976 г. [1], все последующие содержат материалы по таким предметным областям, как 1) коммуникация животных (приматов и неприматов) в природе и эксперименте, включая опыты по обучению антропоидов различным вариантам языка; 2) физическая антропология — с особым вниманием к эволюции вокального тракта предков человека, а также проблеме неотении и педоморфоза; 3) невербальная коммуникация в норме и патологии (жестовые языки глухонемых); 4) детская речь (причем все больше внимания уделяется этапу дословесного общения); сравнительное языкознание. Это сочетание в определенной степени отражает логику, которой руководствуются при реконструкции глоттогенетического процесса. Все эти предметные области представлены в рецензируемой книге.

В предисловии редактора и организатора симпозиума проф. Бохумского университета В. Коха, автора многочисленных работ по эволюционной семиотике и происхождению языка [2—5] констатируется, что основной проблемой глоттогенеза является континуитет и дисконтинуитет между коммуникативными средствами человека и животных. В статье, озаглавленной "Большой Взрыв II и дальнейшие модели глоттогенеза", В. Кох сравнивает появление языка человека (ЯЧ) с тем "большим взрывом", который согласно современным космологическим представлениям положил начало Вселенной.

Реконструкция глоттогенеза, по мнению В. Коха, должна опираться на два момента: 1) возникновение и эволюцию тех черт, которые и отличают ЯЧ от всех остальных коммуникативных систем (сам он использует известную схему Ч. Хоккета) и 2) использование в качестве эвристик различного рода моделей возникновения артикулированных звуков, главным образом, звукоподражаний. При этом предлагается использовать перекрестные сопоставления с данными по коммуникации приматов, онтогенезом, патогенезом коммуникации и языка, актуалгенетическими закономерностями. При этом В. Кох высказывает одну интересную мысль. Если рассматривать все живое как единую систему, то появление некоего когнитивно-коммуникативного механизма в одной из клеточек системы не может так или иначе не влиять и на все остальные элементы целого. Это в высшей степени гипотетическое явление, названное им эхогенезом, следует, как он полагает, учитывать при обсуждении проблемы континуитета — дисконтинуитета.

В статье Х. Штингера "Эволюционные уровни значения" обсуждается вопрос о природе значения и уровнях его эволюции в филогенезе. К сожалению, автор совершенно не использует ни этологический материал, ни данные генетической психолингвистики. В результате — довольно банальные выводы о том, что эволюционная специфика значений ЯЧ состоит в их высвобождении из непосредственного жизненного контекста. Интересна статья М. Фляйшера «"Язык собаки" или "язык" собаки», в которой автор обсуждает применимость термина "язык" к коммуникативным системам животных и дает анализ такой системы у домашних собак. По его мнению, применительно к поведению собаки можно говорить о коммуникативной системе, реализующейся в знаках различной чувственной модальности: ольфакторных, акустических, оптических и тактильных, часть которых обладает достаточно устойчивыми значениями. Вместе с тем ряд знаков приобретает значение только в контексте. Автор характеризует коммуникативную систему собаки как знаковую, но неязыковую, в которой: 1) значения большинства знаков уточняются в контексте других знаков и 2) комбинации знаков позволяют выражать сложные значения (*высказывания*, *Äußerungen*). Статья М. Фляйшера, несомненно, очень интересна для всех, кто интересуется эволюционной семиотикой, но с проблемой глоттогенеза она связана очень опосредованно. Несколько ближе к вопросам ге-

незиса языка статья Х. Яхона, озаглавленная "Размышления о формах и причинах изменений в невербальном коммуникативном поведении". Статья носит главным образом методологический характер — автор видит свою задачу в том, чтобы выявить причины, уровни, типы изменений знаков невербальной коммуникации (НВК) в их соотношении с ЯЧ. Заслуживает интереса вводимое им различение микро- и макроизменений НВК. К числу первых он относит изменения в парадигме НВК, вызываемые, как правило, исчезновением соответствующего социального значения, кодируемого этим знаком НВК (например, исчезновение в Германии "книксена"). Под макроизменениями он понимает изменения сложных целостных невербальных стереотипов или целых НВК — диалектов. В качестве факторов, вызывающих эти изменения, он называет функциональные, социальные, психологические и психически-перцептивные. Так, психологически обусловлены, по мнению автора, изменения в ритуале приветствия при переходе от феодальных норм поведения к буржуазным. Психо-перцептивные изменения имеют место тогда, когда восприятие имевшихся ранее знаков НВК по тем или иным причинам становится затруднительным. Сюда же автор относит изменения НВК в онтогенезе. Следует отметить, что в большинстве работ по НВК проблема изменений по сути дела не ставится и попытку автора найти некоторые "системные" детерминанты этого процесса следует приветствовать. Вместе с тем крайне "облегченные" представления автора о системности и очень упрощенные представления о психологических и социальных механизмах функционирования НВК существенно снижают ценность исследования. Тематически к этой статье примыкает работа М. Куглер-Крузе "Развитие спонтанных жестовых языков", в которой автор рассматривает в аспекте глоттогенеза развитие жестов в онтогенезе у глухих детей, а также в сообществах глухонемых в диапазоне от "спонтанных жестов до конвенционализированных жестовых систем". К сожалению, методология автора, фиксирующего в основном абстрактно-семиотические параметры знаков (индексальность, иконичность, конвенциональность) и не обращающего внимания на их психосемиотические характеристики, не позволила сделать сколько-нибудь содержательных выводов относительно глоттогенеза. Близкой по методологии, а отчасти и материалу является статья С. Фоглер "Онтогенез различения реального и воображаемого: сравнительный подход к игре". Автор, основываясь на онтогенетическом материале и привлекая этологические данные, пытается определить место игрового взаимодействия матери и ребенка (детеныша и самки) в том, что можно было бы определить как дифференциацию семиозиса. Приходится, однако, констатировать, что глубокие идеи Л.С. Выготского, А.В. Валлона и Ж. Пиаже о роли игры в становлении семиотической функции остались, по всей видимости, неизвестны автору.

Значительная часть статей посвящена собственно лингвистическим аспектам глоттогенеза. В статье У. Фитге "О происхождении языка: согласные и познание" рассматривается гипотеза такого рода: проторечь предков человека, возникшая непосредственно из вокализаций приматов и лишенная консонантизма, не могла быть эффективным средством фиксации и актуализации знаний. Появление согласных могло представлять собой "скачок" в эволюции языка как средства познания. Исходная посылка данной гипотезы — левосторонняя локализация артикулированной речи и контроля за сложными последовательностями движений и вербальным мышлением.

В статье Б. Бичакджяна "Примитивные черты протоязыка" делается попытка выделить то, что может рассматриваться в качестве примитивных черт праиндоевропейского языка в сфере фонетики, морфологии и синтаксиса. Т. Штольц в статье "Естественность в диахронической морфологии как детерминирующий фактор изменения языка" использует концепцию "естественной морфологии" В. Майерталера и делает вывод, что диахроническая лингвистика не располагает средствами и методами, позволяющими судить о начальных этапах происхождения языка. Тем не менее высказывается предположение, что в своих истоках язык должен быть гораздо более "естественным" (т.е. в более привычных нам терминах — иконичным), чем все ступени развития языка, реконструируемые в диахронической лингвистике.

Работа Э. де Грольера «К пробной "реконструкции" языка(ов) Homo sapiens sapiens. Эссэ из области глоттогенетической теории», как явствует из ее названия, посвящена методологии реконструкции наиболее ранних ступеней языков человека современного типа. Несмотря на заявленную "реконструкцию" (взятую все же в кавычки!), автор ограничивается обзором существующих методов и результатов в

данной области, равно как и призывом к сотрудничеству, адресованным лингвистам, изучающим различные языковые семьи и союзы. Такую работу намечено координировать в рамках "Общества по изучению происхождения языка" (Language origin society), одним из основателей которого является автор.

М. Йоб, рассматривая тему "Компаративная лингвистика и генезис языка", констатирует, что существующие методы реконструкции праязыков не позволяют приблизиться к гипотетической стадии "универсальной проторечи" (25 тыс. лет назад), не говоря уже о начальных этапах развития звукового языка, относимых им к периоду, отстоящему от нас на 60 тыс. лет.

Н. Боретцки в статье "Креольские языки — идет ли речь об интерференции или генезисе" приходит к выводу, что, изучая процесс креолизации, можно выявить некоторые универсальные черты эволюции языка; в частности, полагает он, креолизация показывает наличие некоторой общей врожденной способности к усвоению "универсального языка", которая, вероятно, образует лингво-когнитивную базу для языковых категорий, что делает их "взаимопереводимыми" в процессе креолизации.

Таким образом, мы видим, что тематика работ отражает практически все направления в изучении глоттогенеза. Перед авторами не стояла задача построения некоторой обобщенной модели глоттогенетического процесса, хотя в отдельных работах элементы такого синтеза намечаются (Кох, Бичакджян, Фигге, Боретцки). Здесь следует отметить, что такого рода синтез, похоже, становится все более отдаленной задачей по мере того, как обсуждение глоттогенеза в интердисциплинарном контексте делает все более явными трудности методологического и фактологического характера.

Вместе с тем сам факт подъема интереса к данной проблеме (особенно на фоне упадка интереса к ней в России) позволяет думать, что здесь будет достигнут значительный прогресс. Нельзя также не отметить, что очень многие идеи в этой области, ранее выдвинутые и обоснованные в трудах таких отечественных ученых, как Л.С. Выготский, В.В. Бунак, А.А. Леонтьев, П.Ф. Протасеня, А.Г. Спиркин, сейчас заново формулируются за рубежом и, будучи дополнены новым фактическим материалом, успешно используются в этой отрасли знания. В ряде случаев очевидно, что отечественная научная мысль намного опередила зарубежную, но отсутствие новых сил в этой области не позволяло реализовать имеющийся концептуальный потенциал. Думается, что рецензируемая книга дает возможность заинтересованному и компетентному читателю составить определенное представление о зарубежном уровне глоттогенетических исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Origin and evolution of language and speech / Ed by Harnad St Steklis H D, Lancaster J N Y, 1975.
2 Semiogenesis Essays on the analysis of language art and literature / Ed by Koch W Bern, 1982
3 *Koch W* Philosophie, Philologie und Semiotik Bochum, 1986
4 *Koch W* The dawn of language. Bochum, 1990

Портнов А.Н.

Ladefoged P. Representing phonetic structure. Los Angeles, 1989. 79 p. (UCLA working papers in phonetics. 73. April, 1989)

Монография известного американского лингвиста: фонетиста и фонолога — П. Ладефогеда посвящена актуальным вопросам соотношения фонологических признаков и фонетической структурированности речи, в частности, соотношения дифференциальных признаков фонем и характеристик работы произносительного аппарата, а также акустических и перцептивных коррелятов тех или иных звуковых явлений на материале их реализаций носителями языка. Автор, таким образом, предпринимает попытку объединить в общую область исследования фонологический и акустико-перцептивный аспекты речевой деятельности. Если задача фонетики заключается в собирании по возможности более исчерпывающих данных о материальной стороне звука, его физиологических и физических свойствах, то фонемика и фонология в их совокупности необходимы для того, чтобы применить

к анализу и классификации материала, накопленного фонетикой, строгие лингвистические критерии [1].

Рецензируемая книга состоит из четырех глав. Первая глава "Введение" включает подглавы: "Определение границ фонологии "Универсальная фонетика и фонология", "Социальное назначение языка". Вторая глава "Необходимость данного представления" включает следующие разделы: "Природа фонологических характеристик", "Необходимость рассмотрения перцептивных и акустических характеристик", "Многофакторные понятия", "Многозначные характеристики". Разделы "Иерархия артикуляторных характеристик", "Место артикуляции", "Способы артикуляции", "Назальность", "Ларингальные характеристики", "Механизмы реализации воздушного потока", "Иерархические ограничения" образуют содержание третьей главы "Способы представления артикуляторных характеристик". Заключает книгу итоговая четвертая глава "Как нам следует изучать речь?"

Первая глава содержит материал, который, по мнению автора, является необходимой предпосылкой для построения лингвистической теории фонетики. П. Ладефогед подчеркивает, что речь характеризуется многими функциями, но не все из этих функций определяются принадлежностью к языку. Соответственно, можно утверждать, что язык имеет много функций, но не все они являются речевыми. Когда исследуют фонетическое представление, то рассматривают нечто большее, чем соотношение между фонетикой и фонологией. В связи с этим основной задачей данной книги, по мнению автора, является определение содержания сферы фонологии, что неизбежно ведет к рассмотрению явлений чисто языкового плана. Ввиду этого автором описываются основные функции языка (например, такие, как связь языка и мышления и т.д.).

Очень важным во взглядах автора на фонологию является факт, что одной из функций языка в целом и речи, в частности, выступает динамика информации (или дезинформации) об окружающем нас мире. В процессе речевой коммуникации передается как содержательная, так и сопутствующая, например, социолингвистическая информация, которая жестко кодифицирована, причем не всегда на основе дискретных фонологических оппозиций. Так, с точки зрения автора, чрезвычайно трудно определять точно по различительному признаку степени дифтонгизации гласного принадлежность говорящего к тому или иному социальному слою. В то же время любой носитель языка, хорошо знающий те или иные региональные акценты, может определять территориальную принадлежность говорящего относительно просто при помощи произносительных социолингвистических маркеров. Если первое положение является не достаточно убедительным, то второе подтверждается рядом работ в данной социофонетической области, проведенных на материале английской звучащей речи. Например, [2, с. 20—22] в принятой в высшем обществе норме произношения (Received pronunciation — "RP") дифтонг [ɔə] перешел в [ɔ:]. Вследствие этого слова типа *for — four* стали омофонами. Однако в провинциальных и кельтских районах эта дифференциация сохраняется: RP *horse* [hɔ:s], шотл. [hɔrs]; RP *hoarse* [hɔ:s], шотл. [hɔərs]. Дифтонг [və] также приблизился к [ɔ:]:[uə] > [oə] > [ɔə] > [ɔ:]. В результате слова *sure, shore* и *shaw* стали омофонами: [ʃɔ:]. Эта широко распространенная форма считается признаком небрежной речи, но вместе с тем она все шире распространяется в RP. В дифтонге [ov] ядро центрировалось: [ov] > [ɔv], по А. Гимсону — [ɔv] [3]. В 60—70 годы в RP произошли следующие произносительные изменения: [ɔv] > [ɛv]. В некоторых формах RP звучит [ëv] или [ɵv], т.е. огубленный вариант ядра дифтонга центрального ряда, что отмечается в речи молодежи. Проявляется тенденция к ослаблению и потере второго элемента, в результате чего [ɔv ≈ ɜ:], как в слове *nurse*. Потенциально может быть нейтрализовано различие: *own — earn, goal — girl.*

В Эссексе, Саффолке и в Лондоне звучит [ʌv], в остальных региональных акцентах — заднеязычный огубленный звук, как в слове *nose*: RP *goat* [gɜvt]; Лондон, Эссекс и др. [gʌvt]; север [govt].

В результате "сглаживания" (smoothing) ряд дифтонгов ([eɪ], [ɔɪ], [aɪ], [ɔv], [av]) в позиции перед гласной монофтонгизируется: [eɪ] > [e:], [ɔv] > [ɔ:] > [e:]. Особенно часто происходит изменение [aɪ], [av] > [a:] > [a:] — монофтонгизация с постепенным передвижением в центрально-задний ряд. Этот процесс является факультативным, необязательным, но его распространение заметно в RP: *chaos* [keɪɔos] > [ke:ɔs], *player* ['pleɪə], *saying* ['se:ɪŋ], *going* ['gɜ:ɪŋ], *science* ['sa:ɔns]. В результате при RP могут образоваться омофоны:

tire [taɪə]
tower [tavə] [ta:]
tar [ta:]

fire [faɪə]
far [fa:] [fa:]

Аналогичное явление наблюдается в кокни, но там качество гласного может быть иным, чем в RP: RP *fire* [faə] — более продвинутый вперед, кокни [faɔ ~ ~ fɔɔ] — более задний гласный, RP *tower* [taə], кокни [tæɔ]. Следует отметить, что это явление специально не изучалось. А. Гимсон [3] писал, что омонимию типа *shire, shower* — *Shah* [ʃa:] можно рассматривать, с одной стороны, как аффектацию, а, с другой стороны, как вульгаризм кокни, но, тем не менее, она часто встречается в речи говорящих на RP. Более ограничено в употреблении явление расширения и замены ненапряженным звуком дифтонгоидов [i:] и [u:], которое также характерно для крайних точек социальной шкалы: *seeing* ['sɩ:ɪŋ], *fluent* ['flv:ɔnt], *doing* ['dv:ɪŋ], *two o'clock* ['tv:ɔ'klɔ:k], *three o'clock* [Θrɪə'klɔ:k]. Эта тенденция присуща всем классам, но в зависимости от исходного момента действие ее различно: RP *player* [plɛə], кокни [plʌɛ], Норидж [plæ:]; RP *snowing* ['snɜɪŋ], кокни ['snʌɪŋ], Норидж [snɔ:n]. Таким образом, на основе реального фонетического представления происходит пересечение фонетических характеристик и фонологических признаков.

Одно из направлений пересечения фонетики и фонологии ассоциируется с видом фонологической теории, связанной с лингвистической информацией, выраженной с помощью письменного языка. Однако, как совершенно справедливо подчеркивает автор, из письменного языка с учетом орфографических правил извлечь информацию об идентификации личности говорящего, модальности, его эмоциях, социолингвистических факторах или стиле речи, весьма затруднительно Так, мы можем установить многое относительно интонации, обращаясь к синтаксису, морфологии, порядку слов и пунктуации (точка, запятая, вопросительный знак, кавычки, вводные слова, курсив и т.д.). Семантика всего высказывания обусловливает пределы актуализации интонации, но только в незначительной степени.

Автор останавливается также на интонационном аспекте регионального произношения. Например, когда говорящие на ирландском, уэльском, американском или шотландском варианте английского языка читают текст, сразу же реализуются различия в их интонационных моделях. С точки зрения автора, эти различия не являются языковыми, т.к. содержат исключительно социолингвистическую информацию о говорящем.

Во второй и третьей главах автор останавливается на истоках фонологического описания речевых явлений. Фонология занимается описанием звуковых моделей, которые встречаются как в рамках одного языка, так и нескольких групп языков. Для того, чтобы рассмотреть звуковые модели, необходимо их классифицировать при помощи аппарата категоризации, исходя из фонологических характеристик. Фонологические характеристики, таким образом, служат двум разным целям: с одной стороны, *они* группируют звуки по определенным правилам, с другой стороны, способствуют их дифференциации. Главная идея второй главы заключается в том, чтобы показать, что существует два вида названных выше характеристик. Некоторые из них могут иметь артикуляционную основу. Другие — перцептивную и акустическую. Так, например, перцептивные характеристики признака "гравис" для группы лабиальных и велярных звуков имеют соответствие с определенными спектральными характеристиками. Такие звуки, как [p, k, f, x] образуются разными способами, но все они имеют сходное звучание, т.к. характеризуются сравнительно большим числом непериодической акустической энергии в определенной части спектра. Это сходство отражается в исторических изменениях, таких, как переход звука английского языка [x] в [f], например, в словах *rough, tough*, ср. идентичную ситуацию в датском языке, где *lugt* преобразовалось в *luft*. Подобные изменения не объяснимы только лишь с использованием артикуляционных характеристик. Фонологические чередования, включающие характеристики признака "гравис", описаны ранее. При этом автором показано, что разные аллофоны датских гласных встречаются перед низкими согласными, например, Fe? fe? Другие случаи фонологических чередований включают спирантизацию в иврите, вызванную функционированием согласных /p, b, k/. Наличие согласных с признаком "гравис" формирует целый класс соответствующих фонем.

Автор подчеркивает, что его определение звуков по признаку "гравис" не совпадает с трактовкой Р. Якобсона, Г.М. Фанта, М. Халле, согласно которой: "с акустической точки зрения этот признак (низкий—высокий. — *Л В.*) означает преобладание одной стороны значимой части спектра над другой. Если преобладающим является нижний край спектра, фонема называется низкой; если преобладает верхний край, мы называем фонему высокой" [4, с. 193]. В рецензируемой книге характеристика низких звуков практически

ограничивается шумными согласными (по возможности глухими). Их артикуляция обусловлена слуховыми впечатлениями, соответствующими преобладанию непериодических колебаний в нижней части спектра. В речи этот тип энергии встречается только у смычно-взрывных и фрикативных согласных.

Другая слуховая характеристика, служащая для группирования согласных по признаку "свистящие", укладывается в рамки традиционного употребления. Но это не точный эквивалент якобсоновской характеристики "Резкий" для звуков, отличающихся неправильной формой речевой волны. На спектрограмме такие звуки представлены случайным распределением частотных областей. Они противопоставлены звукам с более регулярной формой спектра, где признак "Резкий" употребляется для разграничения [f, v] от [ф, в].

По Р. Якобсону [4] оптимальный фрикативный является резким, тогда как оптимальный смычный — нерезким и в результате в большом числе языков противопоставление фрикативных и смычных сливается с противопоставлением резких и нерезких, например, французский язык. В ряде языков существенным является лишь противопоставление резких и нерезких, различие между фрикативными и смычными становится избыточным признаком, например, португальский язык. В добавление к резким фрикативным и нерезким смычным многие языки содержат такие классы фонем, как резкие смычные (аффрикаты) и нерезкие фрикативные, например, немецкий и чешский языки.

В противоположность вышеприведенной трактовке, автор возвращается к традиционному термину "свистящий" (сибилянт), который использовался очень давно для идентификации группы звуков [s, z, ʃ, (ʒ)].

Наиболее характерные перцептивные особенности проявляются у гласных [см., например, 5], где восприятие испытуемыми зависит от относительной картины качества последних, а в иных случаях — в большей степени от аспектов изменения (динамики) стимулов. Проблема, которая встает при обсуждении этих вопросов, заключается в том, что гласные характеризуются как артикуляционными, так и слуховыми свойствами. С точки зрения автора, пять гласных [i, e, a, o, u] при восприятии отличаются друг от друга на базе двух основных слуховых свойств. Такой парой основных слуховых свойств могут быть признаки "высокий" и "светлый". Признак "высокий" является одним из очень известных понятий, служащих для описания качества гласного, но, как подчеркивает автор, это понятие рассматривается им как простое слуховое впечатление. Главным акустическим коррелятом слухового свойства высокого гласного является частота первой форманты (F_1). Другой слуховой признак, названный "светлый", употребляется вслед за Н.С. Трубецким и позже Э. Фишер-Йоргенсен. Акустические корреляты этого признака установлены не совсем полностью. Автор считает, что этот признак соотносится с (F_2 — F_1), разностью по частоте значений F_1 и F_2.

Признаки "высокий" и "светлый" соотносятся с традиционными артикуляционными характеристиками сложным образом. Признак "Светлый" является комбинацией трех артикуляционных характеристик гласных: высокий — низкий (high — low); передний — задний (front — back); округленный — неокругленный (rounded — unrounded). Гласные высокого подъема, переднего ряда, неогубленные имеют наибольшие показатели признака "светлый", гласные низкого подъема, заднего ряда, нейтральные имеют средние значения, и гласные верхнего подъема, заднего ряда, огубленные — небольшие значения.

Следующей слуховой характеристикой, исследуемой автором, является "сонорность". Во многих языках такие звуки, как [m, n, l, r] образуют единую группу. Например, в английском языке эти звуки являются слоговыми после смычных и фрикативных в конце следующих слов: *table, tassle, sudden, prism, hidden,* но не после других сонорных, как, например, в словах *film, kiln.* Характеристика сонорности в артикуляторных терминах весьма затруднительна. Признак "спонтанная звонкость" (spontaneous voicing) для гласных, носовых согласных, латеральных и некоторых других звуков с целью объединения их всех в одну группу является не достаточным. В данном случае должно учитываться функционирование артикуляторной системы в целом. Звуки с признаком "сонорный" характеризуются определенным артикуляционным укладом: голосовые связки вибрируют, и отсутствует значительное давление воздушного потока в ротовой полости. Если утверждать, что характеристика сонорности имеет этот вид артикуляционной базы в качестве доминирующего, то можно предположить, что вибрации голосовых связок и отсутствие значительного внутриротового давления должны восприниматься говорящим. Со-

норные звуки определяются наличием периодической, хорошо обнаруживаемой формантной структуры. Они "ведут себя" идентично в рамках того или иного языка не потому, что образуются одинаково, а потому, что звучат и воспринимаются сходным образом. Все соотношения представлены автором в таблице очень подробно. Так, например, сибилянт с признаком свистящий, имеющий значение [+сибилянт], характеризуется непериодической низкочастотной энергией спектра, а сибилянт с признаком свистящий, имеющий значение [—сибилянт], характеризуется отсутствием такой энергии и т.д.

В третьей главе книги автор модифицирует модель соотношения фонологических признаков и физиологических процессов, расширяя и углубляя ее. Согласно традиционной модели каждый сегмент S имеет некоторое число признаков F, каждый из которых соотносится с определенным физическим параметром P. Автор предлагает несколько иную модель: имеются перцептивные характеристики 1 и 2, каждая из которых соотносится только с одной акустической характеристикой 3, но артикуляторная характеристика 4 также до некоторой степени связана с данной акустической характеристикой 3. Подобным образом может осуществляться первичная связь с акустическим свойством 5, и т.д. Данная модель отражает взаимосвязь между сегментом (S), признаками (F) и физическими параметрами (P).

В заключительной четвертой главе приводятся методические рекомендации в области исследования звучащей речи и соотношения этих результатов с фонологическими характеристиками на материале различных языков.

Оценивая монографию в целом, можно сказать, что в ней содержится ряд интересных положений в области интерпретации фонетико-фонологического уровня, проливающих свет на некоторые аспекты структурированности речевого континуума. Особо выделен перцептивный аспект, а также его связь с артикуляционными и акустическими характеристиками звуков речи, что приводит к созданию модификационной модели соотношения фонетических и фонологических сущностей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Якобсон Р., Халле М.* Фонология и ее отношение к фонетике // Новое в лингвистике. М., 1962. — Вып. II.
2. *Шевченко Т.И.* Социальная дифференциация английского произношения. М., 1990.
3. *Gimson A.C.* An introduction to the pronunciation of English. L., 1973.
4. *Якобсон Р., Фант Г.М., Халле М.* Введение в анализ речи // Новое в лингвистике. Вып. II. М., 1962.
5. *Ladefoged P.* A note on "Information conveyed by vowels" // UCLA Working papers in phonetics. March 1989. Los Angeles, 1989.

Потапов В.В.

Hispanica Posnaniensia. La revista internacional de la Universidad Adam Mickiewicz de Poznań dedicada al estudio de filologías y culturas del mundo hispánico 1990, № 1. 278 p.*

В Познани (Польша) вышел в свет первый номер журнала "Hispanica Posnaniensia", издаваемого отделением испанской филологии Университета им. А. Мицкевича. Главным редактором журнала является Р. Пазухин, известный испанист, в прошлом преподаватель Ленинградского университета. В состав редколлегии входят такие выдающиеся романисты, как К. Бальдингер (Гейдельберг) и Х. Людтке (Киль). В обращении редколлегии к читателям отмечается, что испанисты, португалисты и баскологи Польши и других стран Восточной Европы ведут свои исследования в значительной степени изолированно от своих коллег в романских странах, что обусловливает определенное их отставание в данной области. Настоящий журнал является первым испанистическим ежегодником, издаваемым в Восточной Европе, и по замыслу членов редколлегии должен стать международным органом, объединяющим испанистов latо sensu Запада и Востока. Публиковать свои статьи на его страницах приглашаются специалисты по испанской, португальской, окситано-каталанской, галисийской и бас-

* Поскольку номера журнала "Hispanica posnaniensia" отсутствуют в настоящее время в фондах российских библиотек, в данной рецензии мы рассматриваем содержание лишь первого номера, поступившего в редакцию журнала "Вопросы языкознания".

ской филология, а также специалисты по языкам и культурам американских индейцев. Официальными языками журнала выбраны испанский и португальский. Обращает на себя внимание требование редколлегии представлять статьи, написанные на конкретном материале, статьи же, «посвященные исключительно доказательству определенных "формальных" и "метафизических" методологий, в которых игнорируется конкретный лингвистический материал (например, статьи, написанные на основе так называемой трансформационно-генеративной теории)», приниматься не будут (с. 274).

В дальнейшем редколлегия планирует выпуск как многотемных номеров, так и номеров монографического характера, целиком посвященных, например, испанской диалектологии или баскскому языку. Первый же номер нового журнала отличается большим разнообразием тематики. Кроме статей по испанскому языку и литературе и по баскскому языку опубликован ряд рецензий на испанистические работы, появившиеся в 80-х годах и даже ранее. Хотелось бы высказать пожелание, чтобы в последующих номерах публиковались рецензии на более свежие издания и эти рецензии носили более развернутый характер. Ценным является для читателей из стран Восточной Европы раздел "Хроника и заметки", в котором сообщается о проведении различных научных мероприятий, о создании международных научных обществ, о крупных исследовательских проектах. Здесь же публикуются различного рода персоналии; так, в данном номере опубликована биография и полная библиография трудов выдающегося чешского португалиста З. Хампла (1929—1986).

Ряд статей посвящен различным вопросам грамматики испанского языка. В статье Р. Пазухина "Что такое императив?" находим заслуживающую внимания попытку решительно отделить категорию императива от таких категорий наклонения, как индикатив или конъюнктив. Автор относит формы императива к разряду вербоидов, в которых, как известно, объединены глагольные и неглагольные грамматические характеристики. Учитывая прескриптивную функцию императива в речи, можно сказать, что он объединяет в себе черты глагола и междометия. Не случайно некоторые междометия типа *¡mira!*, *¡oye!* "эй, послушай!", *¡anda!* "давай!" являются застывшими формами императива. Известную аналогию императиву представляет собой форма звательного падежа, которая в силу своей совершенно иной речевой функции выводится многими исследователями из парадигмы именного склонения. К сожалению, автор не учитывает особую иллокутивную функцию императива, когда рассматривает вопрос о категории лица в императиве. По нашему мнению, императив — это всегда 2-е лицо ед. или мн. ч., все же другие личные формы, выражающие волеизъявление (типа исп. *que él diga* "пусть он скажет"), имеют иные иллокутивные функции, нуждающиеся в подробном исследовании. В статье приводятся многочисленные сравнения с "полными" парадигмами императива в других языках мира, но поскольку реальное функционирование форм 1-го или 3-го лица не исследуется, эти сравнения теряют свой смысл.

Богатую пищу для размышлений об отношении между системой и нормой дает статья известного испанского лингвиста Ф.М. Марина "Лексикология в формировании имен числительных". Насколько нам известно, полного сравнительно-исторического анализа системы числительных в латыни и в романских языках еще не проводилось, хотя, казалось бы, такая четко структурированная область является чрезвычайно удобным полем исследования, поскольку позволяет проследить соотношение системного и регулярного в языке с несистемным и нерегулярным (лексическим, по терминологии автора) в историческом плане. Автор поставил себе целью провести такой исчерпывающий анализ, однако в данной статье изложены лишь его предварительные результаты, которые тем не менее представляют большой интерес. Основной вывод заключается в том, что, поскольку парадигма количественных числительных усваивается нами независимо от порядковых и мы фактически выучиваем не все числительные, а лишь самые употребительные из них, а остальные образуем по определенным правилам, то в целом система числительных представляет собой совокупность небольшого числа лексем и ряда простых правил. Уже в латыни наблюдалось большое различие между абстрактной системой числительных и реальным узусом; при переходе же к романским языкам произошло резкое свертывание системы, так как получили преимущественное употребление количественные числительные, а образования других разрядов числительных посредством аффиксации не произошло.

Статья известного чешского испаниста

Й. Дубского "К вопросу о лексико-синтаксической дополнительности испанского языка" является своего рода итогом многолетних исследований автора в области взаимодействия лексики и синтаксиса. В данной работе рассматривается такая существенная черта испанской грамматики, как наличие большого числа десемантизированных глаголов, выполняющих разные функции: образование глагольно-именных комплексов, соответствующих различным способам действия в русском языке, введение в коммуникацию нового субъекта действия (типа *empezar* "начаться"), опорная, или связующая функция (*las ventanas* [*que dan*] *a la calle* "окна [которые выходят] на улицу"). Несомненно, данные случаи подтверждают тесную связь семантики и синтаксиса, но представляются все же очень разнородными явлениями, нуждающимися в более углублённой трактовке.

Из других статей укажем на очень полезное в практическом плане исследование функций местоимения *mismo* Х. Гарридо (Мадрид); ряд статей посвящен истории испанского языка и испанского языкознания. В журнале помещены также две статьи по проблемам баскского языкознания. В статье М. Глонти (Тбилиси) "О некоторых названиях дней недели в баскском: четверг и т.д. Оценка этимологий" рассматривается вопрос о параллельных наименованиях "четверга" в баскском: *eguen* и *ortzegun*; анализируется их семантика, этимология и обсуждается проблема возможного их калькирования с латыни. В статье П. де Ирисара (Мадрид) "Об эволюции баскского языка" показывается одна из тенденций развития баскской грамматической системы: переход от префиксации и суффиксации к одной только суффиксации, к сожалению, никакого типологического объяснения этому явлению мы в статье не находим.

В заключение еще раз отметим важность инициативы польских испанистов в деле установления контактов между учеными Востока и Запада посредством учреждения международного журнала. Хотелось бы высказать пожелание, чтобы последующие номера были более однородны по тематике; это позволило бы сосредоточиться на узловых проблемах ибероромансской и баскской филологии и придать журналу бо́льшую теоретическую направленность, что, конечно, не исключает опоры на конкретный материал, которая провозглашена в качестве одного из принципов нового журнала.

Нарумов Б.П.

Козинцева Н.А. **Временная локализованность действия и ее связь с аспектуальными, модальными и таксисными значениями.** Л.: Наука, 1991. 144 с.

Монография Н.А. Козинцевой посвящена изучению одного из аспектов актуализации предложения как высказывания, включенного в текст. Реализация смысла опирается на весь комплекс наличных средств речевого отрезка: помимо языковой информации, важна контекстуальная, ситуативная, энциклопедическая информация, которой пользуются говорящие. Отсюда совершенно ясно, как сложно установить особенности сопряжения лексических и морфологических категориальных значений, а также способы и базу их взаимодействия.

Современная лингвистика сделала в этом направлении большой шаг вперед, поставив во главу угла функционально-семантические исследования. В рецензируемой монографии рассматриваются функционально-семантические связи морфологических категорий глагола, взаимодействующих со структурой предложения и общей семантикой высказывания. Прежде всего это категории, связанные с разнообразными характеристиками протекания действия во времени, т.е. это комплекс аспектуально-темпоральных значений, выражаемых через глагол и с помощью глагола. Автор обращается при их описании к лексической семантике глаголов (к их предельным и непредельным употреблениям), к характеристике семантических типов предикатов.

Исследование Н.А. Козинцевой опирается на значительный языковой материал двух языков — армянского и русского, причем армянский язык является непосредственным объектом изучения, а факты русского языка используются для экспликации теоретических положений автора и при межъязыковом сопоставлении, чтобы показать специфику реализации категориальной семантики в отдельных языках и модификацию по языкам семантической константы.

Используемые автором понятия получают общелингвистическое толкование, поскольку ориентированы на разработку методов создания сопоставимых описаний разноструктурных языков. В этом отношении автор привержен к тому типологическому направлению, которое связано с анализом морфологических категорий глагола и структуры предикатов, категорий, взаимодействующих с синтаксическими структурами. Это направление представлено у нас школой Холодовича — Храковского и знакомо по многим публикациям группы (ныне — лаборатории) типологических исследований Института лингвистических исследований РАН (г. Санкт-Петербург), см. [1]

Монография Н.А. Козинцевой состоит из Введения, шести глав и Заключения. Насыщенная большим языковым материалом, она характеризуется четкостью и даже лапидарностью изложения взглядов автора и комментария языковых примеров. Автор учитывает важнейшую аспектологическую литературу на русском и иностранных языках, широко представлена и арменистическая литература.

Во Введении на фоне рассмотрения типов связей между грамматическими категориями (два аспекта: системно-парадигматические связи и функциональное синтаксическое взаимодействие) автор раскрывает свое понимание содержания категории временной локализованности, входящей, по современным представлениям, в круг аспектуальных категорий. Здесь автор опирается на трактовку последних как отражающих различные преломления общей идеи времени, что показано в работах Ю.С. Маслова (с. 5—6). Ю.С. Маслов в аспектуальных значениях видел так или иначе представленный "характер распределения действия во времени" [2]. Н.А. Козинцева принимает в целом эту идею и, используя данные других аспектологов, рассматривает временной семантический компонент как общий интегрирующий сегмент в системно-парадигматических связях категории локализованности/нелокализованности (далее — Л/НЛ) и других аспектуальных категорий (вид, таксис, предельность и др.). "Наличие общего семантического компонента в семантике сопряженных категорий объясняет устойчивость связей между определенными категориями в языках различных типов и ее универсальный или фреквентальный характер", — отмечает автор книги. Здесь речь идет о семантике или о семантических категориях, связанных с языковыми системами, однако их формальная реализация в языках может быть совершенно различной. Для этого могут существовать специальные категориальные показатели (тогда в оптимальном варианте следует говорить о морфологических категориях конкретного языка), широко используются лексические средства (очень часто различные обстоятельства), эта семантика может репрезентироваться из совокупных характеристик всех компонентов высказывания (предиката, его актантов и сирконстантов), возникать из ситуации общения и пр. Применительно к фактам армянского и русского языков следует говорить только о семантической категории Л/НЛ, или смысловой константе, поскольку в этих языках Л/НЛ не является морфологической категорией глагола, и, кроме того, сопоставляются разноструктурные языки. В таком случае в каждом высказывании реализуется как бы "субкатегориальный" смысл — пространственно-временная локализация действия (точнее сказать, отдельного события или, что очень привычно, "ситуации"). Действительно, события так или иначе соотносятся в реальности с определенными пространственно-временными координатами, что и находит отображение в сфере языковой семантики (в разных языках некоторые из таких характеристик категоризируются в грамматических категориях), и неслучайно, что автор книги относит Л/НЛ к "наивной модели времени", отражаемой языковой семантикой (с. 12). Если же поставить вопрос, о каком "времени" говорят аспектологи, то окажется, что это "время" весьма неоднородно: здесь и "внутреннее время самого процесса", время хронологической оси, время соотношения событий, время—интервал между событиями и т.п. Именно поэтому в монографии Н.А. Козинцевой и дается комплексная характеристика временных параметров высказывания на фоне локализованности событий; можно иначе: временная локализованность событий сопоставляется с другими ипостасями временных смыслов через способы их отражения в цельном высказывании (через "открытые" и "скрытые" категории) (с. 13).

Центральное понятие — локализованность/нелокализованность действия события в трактовке автора опирается на два семантических признака: 1) характер участка на оси времени (это — как бы ориентированная прямая, на которой помимо дат и отрезков длительности имеется также соответствующая моменту речи подвижная точка), с которым соотносится ситуация, и 2) референтный статус имен, обозначающих участников ситуации. В локализованных ситуациях субъектная именная группа кон-

кретно референтна, определенный уровень референтности отмечается и у других именных актантов. В нелокализованных ситуациях первый признак снимается и привязанность к пунктам временной оси точно не определима, а референтный статус именных актантов позволяет выделить здесь три типа ситуаций: генерализованные, характеризующие, итеративные. И если сравнить предложенное Н.А. Козинцевой толкование Л/НЛ с пониманием этой категории Э. Копмилером, введшим это противопоставление в грамматику (30-е годы), то можно видеть, как обогатилось ее содержание благодаря усилиям многих аспектологов. В монографии Н.А. Козинцевой данная категория получает новое освещение в неожиданных функционально-семантических ракурсах. Среди последних — широкое использование понятия "точка отсчета" (время наблюдения) в связи с проявлением Л/НЛ события, когда допустимы или синхронность или ретроспективность времени наблюдения (этим связям отведена первая глава книги).

Референции имен в сфере предикатов (глагольных) корреспондируют признаки предельности и квантифицируемости, интегрированные в лексическое значение глагола. Выстраивается следующая связь: всегда только квантифицируемые предельные глаголы-предикаты передают дискретно локализованную на оси времени ситуацию, в этом случае устанавливаются достаточно жесткие связи указанных семантических компонентов в рамках высказывания (вариации зависят от видо-временной формы сказуемого). В отношении непредельных и неквантифицируемых предикатов такие связи более подвижны и характеризуются значительным числом переходных случаев, которые тонко проанализированы в книге Н.А. Козинцевой, показана также сочетаемость с разными типами обстоятельств, а также роль дейктических уточнителей типа *aha* "вот".

Проведенный в первых двух главах анализ видо-временных форм армянского глагола показал, что они, хотя и не являются морфологическими маркерами исследуемой семантической категории, достаточно четко сопряжены со смыслом прежде всего локализованности действия во времени. Так, имперфект допускает как ретроспективность, так и синхронность времени наблюдения, перфектные формы и аорист обычно ретроспективны, причем перфектные формы наблюдение фиксируют — это момент речи, а аорист указывает на его перемещение за очередными событиями. Неквантифицируемые предикаты передают недискретно локализованные ситуации: интересно, что презенс указывает на ситуацию в расширенном настоящем, для прошлого используется имперфект; ср.: "И друг друга стóят (*aržen*) моя усталость, этот рассказ, дорогая пачка сигарет" и " окно выходило (*nayum ēr*) на глубокое ущелье". Перфект же обозначает отнесенность неквантифицируемой ситуации ко всей области прошлого (плюсквамперфект дает эффект отдаленности в прошлом); ср.: "Я всегда считала себя (*hamarel em*) сильным человеком" (с 25). Аорист относит событие к конкретному моменту или отрезку времени, причем возникает семантика локализации с дополнительными оттенками начинательности [ср.: "Она вознеслась (*atec*) "] или ограниченной длительности [ср., "Вы прожили (*apreck*) без меня .."]

Многообразны связи Л/НЛ с семантикой многократности. Мультипликативность может выражаться в армянском лексически глаголами и грамматически – производными формами с суф *-at-*, *-ot-*, *-t-* и др и редупликацией корня. Имперфективные формы от мультипликативов передают процессность, аорист часто имеет оттенок начинательности или ограниченности. Особую семантику показывают временные формы от звукообразных глаголов: презенс и имперфект от них дает семантику локализованных однородных действий ["Роса капала (*katum ēr*)"; "Ветви ударяются (*zarkvum en*)" и т.п.], аорист передает семельфактивность ["Капля ударила (*mtrakec*). "] В предложениях с такими глаголами велика роль обстоятельств длительности и кратности. Признаки итеративности и Л/НЛ относительно независимы, но и они, как показано Н.А. Козинцевой, могут сопрягаться в высказывании (при обстоятельствах или в контексте). В армянском языке противопоставление "единичность/итеративность" находит грамматическое оформление только в парадигме результативных форм, в них используется вспомогательный глагол *linel* "быть бывать" ["Они всегда сидят (*en nstaç linum*) здесь"]. В таких конструкциях значительна роль референтного статуса именных групп. Вообще презенс и имперфект связаны с итеративностью, а аорист — со счетом действий.

Третья глава книги посвящена анализу проявления Л/НЛ в конструкциях с модальными значениями возможности и необходимости. Автор показывает, что Л/НЛ иерархически старше, чем модальные оппозиции (модальная рамка). Здесь также семантически сильной оказывается позиция локализованности, где проявляется достоверность высказывания. С нелокализован-

ностью связаны оттенки возможности — умение, потенциальность и пр. Оттенки необходимости менее связаны с Л/НЛ. Мы видим зависимость выбора модальности от последнего значения. Однако вопрос об иерархичности категорий глагола, поднятый в данной главе, имеет типологическую значимость, и видимо, требует проверки на материале других языков. Модальность желания рассматривается в четвертой главе монографии. Оказывается, что с признаком Л связано только конативное значение, в остальных случаях подтипы желания совместимы и с Л и с НЛ. В армянском языке они реализуются на лексическом уровне и формами желательного наклонения либо в независимом предложении, либо в придаточных условия, цели и при глаголах желания.

Большой интерес (особенно в типологическом плане) представляет анализ реализации признаков Л/НЛ в императивном высказывании, поскольку они проявляются в обоих составляющих повелительной ситуации: акте волеизъявления и акте каузируемого действия. Если акт волеизъявления локализован, то каузируемое действие может быть Л/НЛ, а если первый параметр не локализован, то действие может быть только НЛ (за счет обобщенности субъекта). В зависимости от этих комбинаций и при активном участии различных обстоятельств императивные формы армянского глагола приобретают тонкие оттенки значений, которые детально показаны автором книги, среди них назовем пермиссивность, итеративность, генерализованность, где проявляются подзначения совета, разрешения, рекомендации, призыва, запрета и пр. Сопоставляя эту главу с двумя предшествующими, можно видеть, как категория Л/НЛ флуктуирует в высказываниях, обладающих различными модальными рамками квалификации сообщаемого.

Совершенно по-новому подходит Н.А. Козинцева к описанию временного отношения между действиями, или таксисных, выраженных только грамматическими средствами (лексические в книге не рассматриваются). Автор значительно расширяет репертуар неличных форм глагола, подчиненных предикатным словам: сюда включаются также формы творительного падежа инфинитива, результативные причастия, процессные причастия (причастно-деепричастные формы). Традиционно они в арменистике рассматриваются как обстоятельственные формы. Такая трактовка представляется автору работы явно недостаточной, поскольку тогда не учитываются деривационные связи осложненного предложения (соотношения между зависимыми и независимым предикатами). Н.А. Козинцева в данной главе основное внимание сосредоточивает на характеристике зависимых таксисных отношений и их связей с семантикой Л/НЛ. Важно отметить, что причастные формы — аспектуально маркированны, а инфинитивная форма лишена этого признака: выступая в функции подчиненного сказуемого, она передает второстепенное динамическое действие с семантикой сопутствия или обусловленности как при Л, так и при НЛ ситуации. В конструкциях с причастными формами выражается одновременное состояние, предшествующее действие, обусловленность и сопутствие. В монографии дается подробный анализ реализации указанных значений, зависящей от семантики глагола, самой формы подчиненного предиката и от видо-временной формы основного сказуемого, а также лексических обстоятельств, по-разному реагирующих на значение Л/НЛ. Проделанная автором реинтерпретация морфологических форм и синтаксических конструкций способствует, несомненно, совершенствованию грамматики армянского языка.

Монография Н.А. Козинцевой служит хорошим примером анализа семантической категории в языке (или в языках — прибавляя русский язык), проявляющейся в высказывании, не имеющей при этом опорной (специализированной) грамматической категории. Здесь показано, что семантика Л/НЛ действия во времени выступает сама объединяющей основой, на которой взаимодействуют другие, прежде всего аспектуальные значения, реализуемые уже через особые категории (например, видо-временные формы, причастно-деепричастные формы и пр.), а также и через аспектуальное содержание самого глагола (предельность/непредельность). Таким образом, мы видим переплетение категориальной грамматической (морфологической) семантики, лексической семантики, некатегоризованной семантики и даже "неоязыкованного" ситуативного смысла. Представляется, что в таких условиях желательно четкое терминологическое разведение указанных семантических признаков (в общем плане — разграничение "смыслов" и "значений"). К сожалению, автор книги часто пользуется обобщенным термином "значение" (или просто "семантика"), тем самым снимается неоднородность и разноуровневость анализируемой "семантики", то, что принадлежит содержанию грамматической системы и содержанию текста (или же реальной ситуации). Нам кажется, что для

всех типологических работ подобная терминологическая точность и последовательность совершенно необходимы (хотя многие их них и страдают именно отсутствием этого). Выше уже говорилось, что хорошо бы точнее определить, что такое "наивная модель мира" и тем более "наивная модель времени". В каком сознании они родились — в индоевропейском, общечеловеческом, на каком этапе осознания мира (где циклическая временная картина мира?), так ли универсальна линейная модель времени? На эти вопросы, конечно, требуются ответы, но данная проблематика, естественно, выходит за рамки рецензируемого исследования, которое претендует занять достойное место в отечественной арменистике и демонстрирует продуктивность функционального подхода к языку и успехи сравнительной типологии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Храковский В.С., Оглоблин А.К.* Группа типологического изучения языков ЛО Института языкознания АН СССР: Теоретическая программа, исследовательские принципы, рабочие приемы // ВЯ. 1991. № 4.
2. *Маслов Ю.С.* Универсальные семантические компоненты в содержании грамматической категории совершенного/несовершенного вида // Вопросы сопоставительной аспектологии Л., 1978

Насилов Д.М

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

Идеи создания машинных языковых фондов практически стали достоянием лингвистики многих стран. Эти фонды по-разному организованы и служат разным задачам, в основном прикладным, т.е. мыслятся всегда как нечто вспомогательное для науки. Однако в предлагаемых вниманию читателя изданиях[1] представлен совершенно новый подход в машинному фонду: он является объектом собственно лингвистического исследования и проанализированным источником богатства нашей звуковой базы.

Мысль о подобном издании возникла как бы спонтанно 12 декабря 1987 г. Группа ученых из Москвы, Ленинграда (ныне С.-Петербурга) и Бохума (Германия) встретилась в Институте русского языка АН СССР (РАН), чтобы совместно обсудить создание звукового фонда русского языка и его издание. Предпосылкой этого, в частности, стали выход в Москве в 1986 г. книги Ю.Н. Караулова "Машинный фонд русского языка" и создание в Германии системы программ САП/СОНА.

Вполне естественным явилось решение о создании общего издания, обеспечивающего оптимум информации для всех заинтересованных лиц. Смысл публикации — не только лингвистический аспект собранного материала, но и отчасти рекламный — показать, что́ уже есть и на что́ может быть сделан запрос с целью получения материала для более подробных исследований.

Бюллетень выходит примерно раз в год. Редколлегия его расширяется, и уже несомненно — он нужен, и нужен гораздо большему числу лиц, чем это казалось вначале. У Бюллетеня два главных редактора: проф. Л.В. Бондарко (С.-Петербургский университет, СНГ) и проф. Х. Заппок (Рур-Университет, Бохум, Германия).

Первый выпуск Бюллетеня представляет собой как бы ответ на два вопроса:

[1] Бюллетень Фонетического фонда русского языка № 1. Июль. [Bochum], 1988, 78 с

Бюллетень Фонетического фонда русского языка № 2. Февраль [Bochum], 1989. 110 с.

Бюллетень Фонетического фонда русского языка. № 3. Февраль [Bochum], 1990. 119 с.

Русские народные говоры. Звучащая хрестоматия. Ч. 1: Севернорусские говоры: Приложение № 1 к Бюллетеню Фонетического фонда русского языка. Москва: Бохум, 1991. 245 с.

Музыкально-поэтические жанры Севера России (Архангельская область): Приложение № 2 к Бюллетеню Фонетического фонда русского языка. С.-Петербург: Бохум, 1991. 101 с

что уже содержится в Фонетическом фонде русского языка, включая и практически самый важный для лингвиста аспект — как это выполнено, и какое все это может иметь дальнейшее применение.

Для создания фонетического фонда необходим большой словарный массив. В петербургской исследовательской группе создан набор программ автоматической обработки машинных версий двух словарей: Д. Уорта (110 тыс разделенных на морфемы слов) и А.А. Зализняка (100 тыс. слов, расположенных в алфавитном порядке и снабженных грамматическими пометами)

Две статьи первого номера Бюллетеня посвящены собственно созданию машинных версий словаря морфем (Т.Н Алексеева – "Автоматическая обработка словаря морфем как основа для изучения трудных вопросов орфоэпии" и Т Н Алексеева, Т Б. Шарыгина – "Машинные версии морфемных словарей")

Остальные работы представляют собой широкий и явно еще до конца не выявленный диапазон как применения полученных машинным способом данных, так и их оптимального введения.

Базовая по своей основе статья Л В. Бондарко "Фонетический фонд современного русского языка" отвечает на вопрос, зачем нужна для лингвиста эта новая форма представления материала Здесь я сознательно избежала словосочетания "известного материала", поскольку статья показывает возможность нового решения при "озвучивании" русских словоформ Как пишет Л В Бондарко, «наличие фонетического фонда – одно из необходимых условий для создания Машинного фонда современного русского языка, поскольку именно фонетический фонд может обеспечить "озвучивание" любого из подфондов». Сведения машинного фонда необходимы для того, чтобы выйти за рамки привычной аксиоматики, основанной на ограниченном круге примеров. Далее Л.В. Бондарко сообщает о четырех блоках Фонетического фонда: 1) акустические характеристики звуковых единиц русского языка; 2) машинная версия словаря морфем современного русского языка; 3) фонетические структуры русской словоформы, 4) обеспечение возможности привлечения новых данных, представленных в виде текстов.

Другие статьи первого Бюллетеня посвящены фонетической транскрипции Фонетического фонда (Л. Бондарко и др., Н.И Гейльман и др.), принципу работы компьютера САП/СОНА (статьи Х. Заппока и М. Книпшилда), программному обеспечению для работы с речевыми сигналами (В.В. Люблинская), интонационным характеристикам русского языка (Н.Д. Светозарова) и др.

Второй выпуск Бюллетеня немного отходит от принципов первого. Он как бы совмещает в себе три типа материалов. Это статьи, посвященные Фонетическому фонду русского языка и написанные в традиции первого выпуска; это уже и чисто фонетические работы, которые, однако, могут быть применены и для прикладных задач; это и проспекты будущих фундаментальных изданий, которые за этот короткий период, к счастью, уже успели частично выйти в свет. Открывается второй выпуск как бы повторным обращением к читателям, подтверждающим необходимость и полезность Фонетического фонда. Именно к Фонду обращены статьи Р.Ф. Касаткиной, М.Я. Гловинской с соавторами (о принципах составления текстов для Фонда), статья Ю.И. Павлова и Е.В. Щигель, статья О.Ф. Кривновой и др. Представлено два проспекта будущих изданий: Р.Ф. Касаткиной – "Русские народные говоры: Звуковая хрестоматия" и М.В. Китайгородской, Н.Н. Розановой — "Русский речевой портрет: Проспект хрестоматии".

Собственно фонетические статьи — это работа Т.М. Николаевой о трех типах высказываний и иерархии интонационной нагруженности; Р.Ф. Касаткиной о позиционном варьировании аллофонов фонем во фразе, С.В. Князева об экспериментальном исследовании глухих — звонких согласных, статьи Т.Ю. Жежель и Т.Н. Алексеевой с соавторами. Таким образом, второй выпуск получился несколько менее "прикладным" и более "московским" по составу авторов.

Третий выпуск, пожалуй, в большей степени содержит материалы сотрудников из Бохума. Это статьи К. Заппока (две работы), М. Книпшильда (две работы), Б. Штреве. Здесь и интонационная транскрипция Р.Ф. Касаткиной, С.В. Кодзасова и К. Заппока, статья Н.Д. Светозаровой о представлении интонационных данных в Фонде, быстрый хроникальный отклик Л.В. Бондарко о конференции АРСО-1989.

Перечислять и анализировать статьи трех выпусков — нет смысла. Важно подчеркнуть другое – их оперативность, оперативность даже не выпуска, а оперативность научного отклика. Издателями Бюллетеня задан некий темп, и избежать

этого темпа нельзя, поэтому видно, как перекликаются сборники, отделенные как максимум одним годом.

Однако как ни удачны три кратко очерченных выпуска, при виде двух пока изданных Приложений к ним нельзя не испытать, с одной стороны, чувства радости и благодарности, что это уже издано и что добрые руки взяли на себя издание, а с другой стороны, чувства стыда, что таких изданий у нас до сих пор не было.

Приложение № 1. Русские народные говоры: Звучащая хрестоматия. Ч. 1: Севернорусские говоры (отв. ред. — Р.Ф. Касаткина) — это по существу книга, и притом книга значительная. Состав ее строго продуман. Вначале идет общее Введение о фонетической вариативности в диалектной речи, затем сообщаются принципы транскрипции предлагаемых текстов. Представлены тексты шести областей; Архангельской, где было сделано больше всего записей, Ленинградской, Карельской АССР, Вологодской области, Костромской и Кировской. Все тексты верифицированы, имеют индексы. Тексты сопровождают Комментарии. Краткая библиография и Словарь. Но самое ценное — это кассета с записью опубликованных текстов, кассета-приложение 90-минутного звучания. За это должны быть все благодарны и подготовителям текста, и издателям, и инженерам-акустикам. Ведь только теперь во многих университетах мира студенты-слависты услышат настоящую диалектную речь, которую они могут сопоставлять с записью, с комментариями, с транскрипцией.

По сходной модели организовано и второе приложение — Музыкально-поэтические жанры России (Архангельская обл.) (сост. А.Ю. Кастров, Ю.И. Марченко, К. Заппок). Записи охватывают период от 20-х до 80-х годов. Очень интересна вступительная статья В.В. Коргузалова, где прослеживаются два миграционных пути традиции эпоса на Севере. Представленные тексты — это былины, бытовые и исторические баллады, духовные стихи, притчи-небылицы. Завершается выпуск транскрибированными текстами. И здесь 90-минутная кассета, выполненная в Бохуме, обеспечивает чистоту звучания в любой точке земного шара.

Насколько можно предположить, следующий выпуск — это широкая по жанровому охвату устно-коммуникативная речь большого города.

Итак, нам есть чем гордиться: и тщательно собранным материалом, и безупречно подготовленными кассетами, и продуманностью последовательности серий, и скоростью публикаций. Есть и кого благодарить: соиздателей Бюллетеня Л.В. Бондарко и Х. Заппока. Есть и кого ругать: наше монументальное по неподвижности ВО "Наука", упускающее даже финансовые приоритеты, не говоря о научных.

Николаева Т.М.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ (ИНЖЕНЕРНОЙ) ЛИНГВИСТИКЕ

Стремительный рост научно-технических, торговых и культурных связей между различными регионами мира и особенно экономическая экспансия "тигров Азии" (Японии, Южной Кореи, Китая и государств Юго-Восточной Азии) стимулировали интенсивное развертывание практических и теоретических работ в сфере автоматической переработки деловых и научно-технических текстов — в первую очередь в области машинного перевода (МП), автоматического реферирования и аннотирования, а также в лингвистических аспектах искусственного интеллекта. Новые результаты в этих областях знаний обсуждались на многочисленных научных конференциях, имевших место в последние два года (1990—1992) в разных странах. Среди них наиболее интересными для языковедов явились следующие форумы.

1. Две конференции, организованные международным комитетом по компьютерной лингвистике (International Committee on Computational Linguistics). Первая из них (COLING-90) проходила 20—25 авг. 1990 г. в Хельсинки, а вторая (COLING-92) состоялась 20—28 июля в г. Нант (Франция).

2. Две объединенные конференции Ассоциаций "Компьютеризация литературоведческих и лингвистических исследований" (Association for Literary and Linguistic Computing — ALLC) и "Компьютеры и гуманитарные науки" (Association for Computers and the Humanities — ACH). Первая из них (ACH-ALLC-91) проходила 17—21 марта 1991 г. в Аризонском университете (г. Темпе, США); а вторая (ALLC-ACH-92) имела место 5—9 апреля 1992 г. в Оксфорде (Великобритания).

3. Международная конференция по текущим вопросам компьютерной лингвистики (ICCIC), организованная Малайзийским университетом. Она проходила 10—14 июня 1991 г. в г. Пенанг (Малайзия).

4. Международная конференция по терминологии, стандартизации и обмену технологиями (ICISI-91), состоявшаяся 2—6 июня 1991 г. в Пекине. Она была организована Китайским национальным техническим комитетом по терминологии и стандартизации.

5. 3-я конференция по прикладной автоматической переработке текста (ANLP-92). Эта конференция, организованная Трентийским институтом культуры и Институтом научно-технологических исследований Италии, проходила с 31 марта по 3 апреля 1992 г. в г. Трento (Италия).

6. Международная конференция "Инженерная лингвистика и оптимизация преподавания языков" (ИЛОПЯ), проходившая 28—30 мая 1992 г. в Самарканде (организована Самаркандским университетом им. А. Навои).

7. 4-й Международный коллоквиум по теоретическим аспектам машинного перевода "Эмпирия и радионализм" (TMI-92) был созван Канадским исследовательским центром по информатизации труда и состоялся 25—27 июня 1992 г. в Монреале

8. 8-й симпозиум "Лингвистические проблемы искусственного интеллекта" (ЛПИИ), организованный Научно-техническим обществом радиотехники, электроники и связи им. А.С. Попова и Российским педагогическим университетом им А.И. Герцена (27 окт. 1992 г., С.-Петербург).

Перечень публикаций по названным конференциям дан в конце обзора 1—11.

На конференциях обсуждался широкий круг кибернетических, программистских, психологических и социологических вопросов, многие из которых выходили за пределы теории языка и инженерной лингвистики (ИЛ), рассматриваемой как теория и практика компьютерного решения лингвистических задач. Для языковеда наибольший интерес представляют следу-

ющие четыре направления, охватившие основную массу докладов и выступлений.

I. Когнитивные и лингвистические аспекты искусственного интеллекта (ИИ). Здесь в центре обсуждения оказались проблемы:

— инженерии энциклопедических знаний, лингвистической (лексико-грамматической) компетенции, их организации и хранения в памяти компьютера, — ср. доклады Х.С. Чан (Ю Корея), И.А. Большакова (Москва) — COLING-90; Е.В. Падучевой, Е.В. Рахилиной, М.В. Филипенко (Москва), Ф. Русло и Б. Миго-Ансэ (Франция), В.Г. Андрезена, В.А. Квятковского и др. (С.-Петербург), Б. Блазер, А. Сторрер и У. Шваль (ФРГ), Д. Фарнелла, Л. Гутри, Й. Уилкса (США) — COLING-92; М. Дигэн (Великобритания), Ж. Вероннса и Н. Ид (Франция), Л.Г. Хоппертона и Н.Ж. Пробер (Канада) — ALLC-ACH-92 и TMI-92; Л. Карлсона и С. Ниренберга (США) — ANLP-92; Т.А. Аполлонской и Л.Н. Беляевой (С.-Петербург) — ИЛОПЯ, ЛПИИ;

— семантико-синтаксического и прагматического анализа и синтеза текста, включая вопросы "наивной" семантики и немонотонного (нестрого логического) вывода (подробнее см. [12]); см. проект Дж.К. Мьерса (Япония) — COLING-90; сообщения Ф. Сегона и К. Енсен (США), В. Задорожного (США) — COLING-92; А. Лавелли, Б. Магнини, К. Страппарава (Италия) — ANLP-92; В.В. Богданова и З.И. Соболевой (С.-Петербург) — ЛИПИИ;

— извлечение из текста его основного содержания (т.е. автоматическое реферирование, аннотирование или индексирование текста) — см. доклады Р.Дж. Кунса (США) — COLING-90; Б. Цой и др. (США), Л. Шмитт, Ж. Руйот, З. Оливетан (Франция) — COLING-92; Дз.С. Чанга и др. (Китай) — ANLP-92; С.П. Гришай, В.Р. Нымм и др. (С.-Петербург) — ИЛОПЯ.

II. Технологии формального грамматического анализа. Здесь внимание грамматистов привлекут доклады, посвященные использованию в работающих системах МП таких современных и плохо известных в отечественном языкознании концепций, как:

— неохомскианская грамматика управления и связывания (Government and Binding Grammar) — см. сообщения Х.Х. Ченя (Тайвань), А. Джорджи, Ф. Пьянези и Дж. Сатта (Италия) — COLING-92;

— грамматика присоединяемых деревьев (Tree Adjoining Grammar) — см. сообщения К. Харбуш (ФРГ) — GOLING-90; К. Вияв-Шанкер, И. Шабеса, П. Параубек (США) — COLING-92 и ANLP-92;

— грамматика фразовых структур (Phrase Structure Grammar) — см. сообщения Л. Аренберга (Швеция), Ф. Бланша и Ж.-И. Морена (Канада) — COLING-92, доклад Р. Кёлера (ФРГ), А. Нахимовского (США) и др. — ИЛОПЯ.

III. Перспективы создания интеллектуального лингвистического автомата (ЛА), так называемого homunculus loquens, способного осуществлять разные виды анализа и синтеза (текста). Эта проблема детально обсуждалась на нескольких конференциях. Начало было положено в ходе состоявшейся во время Хельсинкского совещания COLING-90 дискуссии по вопросам соотношения естественного языка (ЕЯ) и языка компьютера (ЯК). Выступавшие во время дискуссии Х. Карлгрен (Швеция), В. Хаан (ФРГ), Л. Гиршман, Й. Уилкс (США), Кр. Буате (Франция) подчеркивали, что создание интеллектуального ЛА связано с ослаблением барьера, отделяющего "открытый" нечетко-множественный ЕА от ЯК, характеризующегося жесткой закрытой структурой (ср. в этом плане доклад Г.А. Аполлонской и Л.Н. Беляевой, прочитанный на совещании ЛПИИ). Предлагалось использовать вероятностно-статистические приемы для ослабления этого барьера. Принявший участие в Хельсинкской дискуссии Р.Г. Пиотровский (С.-Петербург) напомнил, что вероятностно-статистические приемы, широко использующиеся уже с конца 60-х годов в советской и российской инженерной лингвистике при построении промышленных систем МП, а также систем реферирования и индексирования текста, не должны ограничиваться примитивной лексико-грамматической статистикой. Они дают ощутимый эффект, во-первых, при учете распределения лексико-грамматических единиц в тексте, а во-вторых — в сочетании с данными об информационной структуре текста и образующих его сегментов (ср. [13—15]).

Идеи Хельсинкской дискуссии нашли свое конкретное развитие на последующих форумах. Так, Дз. Цулзин (Великобритания — Япония) в своем программном докладе "Современное состояние систем МП" — ANLP-92 подчеркнул, что в современной парадигме машинно-переводческих стратегий (особенно при создании коммерческих систем) вероятностно-статистический перевод (Statistic-based MT) займет, очевидно, центральное место вмес-

ге с такими новыми подходами, как перевод по готовым образцам (Example based MT) — см. доклады Д. Джоунза (Великобритания), Х. Маруяма и Х. Ватанабе (Япония) — TMI-92 и перевод по аналогиям (Analogy-based MT). Информация о конкретном применении вероятностно-статистической методики при построении систем МП содержалась в докладах Р. Резника (США), И. Эрран и др. (Франция), Л. Иорданской и др. (Канада) — COLING-92; П. Брауна и др. (США), Х. Лемана и Н. Отта (ФРГ) — TMI-92; П.М. Алексеева (С.-Петербург) — ИЛОПЯ.

IV. Применение инженерно-лингвистических технологий и лексикограмматических формализмов к иноструктурным (в первую очередь — восточным языкам). Здесь прежде всего обращают на себя внимание следующие темы:

— использование традиционных приемов грамматического анализа (парсинга) слова и предложения в языках с внутренней флексией (арабский, иврит), в агглютинативных языках, использующих грамматики порядков, а также в изолирующих языках, — см. доклады А. Элнаггара (Египет), Г. Сатоши (Япония), Х. Эль-Шишини (Египет), К. Коскенниеми (Финляндия) — COLING-90; С. Фонг и Р.К. Бервик (США), Х.Р. Юсуф (Индонезия);

— COLING-92: M. Nagao (Япония) — ICCIC; А. Окимура, К. Мураки, К. Ямавана (Япония) — TMI-92;

— организация лингвистических баз данных и автоматических словарей, а также построение лингвистического автомата, ориентированного на восточные языки, — см. доклады Ч.Ж. Хуанг, К. Чень (Тайвань) — COLING-92; Р.Г. Пиотровского, Р.С. Минвалеева, В.Г. Шумовского и др. (С.-Петербург) — ACH-ALCC-91 и ICTST-91; Х. Ясунага (Япония) — ALCC-ACH-92, А.И. Чапли и др. (Израиль) — ИЛОПЯ.

В ходе конференций зарубежные фирмы и коллективы демонстрировали экспериментальные и промышленные системы машинного перевода. Среди представленных на этих совещаниях научных коллективов стран СНГ только группа "Статистика речи" сумела показать реально работающие системы англо- и французско-русского МП (COLING-90, ИЛОПЯ, ЛПИИ).

Особое внимание во время конференций COLING-92 (Нант), ICCIC (Пенанг), ALLC-ACH-92 (Оксфорд), ANLP-92 (Трento), ИЛОПЯ (Самарканд) и TMI-92 (Монреаль) было уделено вопросам компьютерной поддержки преподавания языков, а также машинных текстовых фондов, предназначенных для лексико-грамматических, семантико-синтаксических и фонологических исследований литературного языка и его истории, в том числе для изучения языка писателей.

Итак, лингвистическая инженерия, проникая шаг за шагом во все новые области филологии, не только расширяет экспериментальные возможности этой науки, но и стимулирует возникновение в ней новых теоретических проблем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Инженерная лингвистика и оптимизация преподавания языков. Республиканская конференция, 28—30 мая 1992 г.: Тез. докл. Самарканд, 1992.
2. Лингвистические проблемы искусственного интеллекта: Материалы VII симпозиума, 27 октября 1992 г. СПб., 1992.
3. COLING-90: Papers presented to 13-th International conference on computational linguistics on the occasion of the 25-th anniversary of Helsinki University / Ed. Karlgren H. Helsinki, 1990.
4. COLING-90: 13-th International conference on computational linguistics. August 20—25, 1990: Programme and Exhibition catalogue. Helsinki, 1990.
5. Fourteenth International conference on computational linguistics. COLING-92: Programme, 20—28 July 1992. Nantes. 1992.
6. 1991 Joint conference of the ACH and the ALLC. March 17—21 1991: Programme. Tempe (Ariz), Arizona State University, 1991.
7. 1992 Joint conference ALLC-ACH-92, 5—9 April 1992: Programme. Oxford, 1992.
8. Proceedings of the International conference on current issues in computational linguistics. 12—14 June 1991. Penang (Malaysia), 1991.
9. International conference on terminology, Standartization and technology transfer: Proc. 1991-02-02/06. Beijing, 1991.
10. ANLP-92: 3-rd Conference on applied natural language processing. Trento, Italy, 1—3 April 1992: Programme. Trento, 1992.
11. Quatrième Colloque international sur les aspects théoriques. TMI-1992: Programme préliminaire. Méthodes empiristes versus méthodes rationalistes en TA. 25 au 27 juin 1992. Montréal, 1992.
12. *Dahlgren K.* Naive semantics for natural language understanding. Boston; Dordrecht; London, 1988.
13. Статистика речи. Л., 1968.
14. Статистика речи и автоматический анализ текста. Л., 1971, 1973, 1974, 1978, 1980.
15. *Piotrowski R., Leschrin M., Lukjanenkov K.* Introduction of elements of mathematics to linguistics. Bochum, 1990.

Пиотровский Р.Г. (С.-Петербург)

МОНОГРАФИИ И СБОРНИКИ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ.

Список публикуется для возможного рецензирования поступивших книг на страницах журнала "Вопросы языкознания".
Присланные книги не возвращаются.
Книга остается у рецензента.

Вопросы кибернетики. Язык логики и логика языка. Сборник статей к 60-летию проф. В.А. Успенского / Под ред. Вяч.Вс. Иванова М., 1990. 197 с.

Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость. Санкт-Петербург, 1991. 370 с.

Akamatsu T. Essentials of functional phonology. Louvain-la-Neuve. 1992. 193 p.

Bogusławski A. Język w słowniku. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk; Łódź. 1988. 146 s.

Gložančev A. Enobesedna imena slovenskih podjetij. Ljubljana. 1991. 112 s.

Dyer D.L. Word order in the simple Bulgarian sentence. A study in grammar, semantics and pragmatics. Amsterdam; Atlanta. 1992. 161 p.

Jezikoslovni zapiski. Zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Ljubljana. 1991. 199 s.

Starý Z. Psací soustavy a český pravopis. Praha. 1991. 157 s.

Vasiliu E. Introducere în teoria limbii. Bucuresti. 1992. 114 p.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ "ОКО" (ХАРЬКОВ) В 1993 г. ВЫХОДЯТ:

Философия языка в границах и вне границ: Международная серия монографий. Т. I. 192 с.

Монография, открывающая международную серию исследований, посвящена изучению эпистемологического статуса лингвофилософских парадигм. Рассматриваются разнонаправленные соотношения парадигм философии языка и социокультурных и общенаучных стилей мышления, языковые механизмы смены культурных парадигм, связи философии языка и "философии политики".

Образ-лейтмотив: прихотливое и сложное мерцание имени в культуре и философии культуры — непрерывное движение и колебание поверхностей, игра сгибаний, порождающих переливающийся, клубящийся смысл, и в глубине этого мерцания — "имя". Как и "бытие", "имя" доказывает единство мира и смысла, но, оставаясь в теоретических границах, выступает как реликт этого единства или как указание цели.

Мартин ЛЮТЕР. "ВРЕМЯ МОЛЧАНИЯ ПРОШЛО...": Избранные произведения 1520—1526 гг. Историко-биографический очерк и перевод Ю.А. Голубкина. 352 с.

Сборником основных произведений великого реформатора средневековой Германии — Мартина Лютера (1483—1546) издательство надеется пробить брешь в стене молчания, на столетия отстранившей русскоязычного читателя от наследия этого мыслителя. В книгу вошли трактаты "К христианскому дворянству немецкой нации об исправлении христианства"; "О светской власти. В какой мере ей следует повиноваться"; "К советникам всех городов земли немецкой..."; "Могут ли воины обрести Царство Небесное".

Приложение содержит историко-биографический очерк "Из любви к истине", автор которого попытался очертить круг духовных исканий вождя Реформации, в чьей душе, как заметил Ф. Майер, возникающее боролось с уходящим и чей дух был "полем битвы двух эпох".

Адрес издательства: 310023 Украина, г. Харьков, ул. Мироносицкая, 92.
Тел. (0572) 474029, факс (0572) 477186

Технический редактор *И.В. Карандашова*

Сдано в набор 5.03.93 **Подписано к печати 13.04.93** **Формат бумаги 70×100 1/16**
Офсетная печать **Усл.печ.л. 13,0** **Усл.кр.-отт. 390,0 тыс.** **Уч.-изд.л. 15,5** **Бум.л. 5,0**
Тираж 2944 экз. **Зак. 4051** **Цена 10р. 80к**

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, телефон 201-74-42
Московская типография № 2 ВО "Наука", 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6